НФ

ISSN 0132-6783

СБОРНИК НАУЧНОЙ ФАНТАСТИКИ

ВЫПУСК 29











ВЫПУСК 29

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЗНАНИЕ»
МОСКВА 1984

ББК 84
С 23

С23 **Сборник** научной фантастики. Вып. 29. Сост. Подольный Р. Г.— М.: Знание, **1984**.—216 с.

1 р. 20 к. 100 000 экз.

В сборнике читатель найдет научно-фантастические произведения разных направлений и жанров. В нем участвуют как признанные мастера советской фантастики, так и начинающие авторы.

Зарубежная фантастика представлена рассказами П. Эша, Р. Силверберга, Т. Старджона.

В разделе «Публицистика» помещена статья, посвященная 60-летию выхода в свет романа А. Н. Толстого «Гиперболоид инженера Гарина».

Книга рассчитана на широкий круг читателей.

С $\frac{4701000000-087}{073(02)-84}$ 70—84

ББК 84
С6

■ РАЗВЕДКА МЫСЛЬЮ И ЧУВСТВОМ

(От составителя)

Фантастику часто называют разведкой мыслью. Но не стоит забывать, что это еще и разведка чувством — впрочем, как всякая литература.

Уже в древнейшем из известных человечеству художественных произведений, шумеро-вавилонском «Эпосе о Гильгамеше», его герой, Гильгамеш, отправляется (десятки веков назад) в далекий поход за травой бессмертия, побеждает чудовищ, находит друга в «диком человеке», принадлежащем, как мы сказали бы сегодня, к «иной культуре». Какие все это привычные сюжеты для сегодняшней научной фантастики! Правда, в отличие от ее персонажей, Гильгамеш отвергает предложенную ему любовь небожительницы (богини!)...

И уже этот древний герой был интересен тогдашним читателям (как интересен и сегодняшним), потому что они могли не только удивляться его приключениям и восхищаться глубиной его мыслей, но и разделять его чувства, **сочувствовать.**

Кажется, не только к мыслям, но и к чувствам читателей обращены произведения фантастов, собранные под этой обложкой. И герои их проходят испытание не только на умение размышлять, но и на способность чувствовать и вызывать сочувствие.

Единой темы у 29-го выпуска «НФ» нет. Но здесь во всяком случае отчетливо ощутим писательский интерес к проблемам путешествий во времени, возможным формам разума, наконец к тому, каким может быть контакт между несхожими друг с другом цивилизациями.

Темы очень модные, нередко пересекающиеся... но все же очень разные. Что же общего у почти всех фантастических произведений сборника? Увидеть эту сущность можно в единстве отношения авторов к человеческому в любом разумном существе — к чувствам.

Здесь придется кое-что сказать об идеях и темах произведений, очень немногое, конечно. Надеюсь, это не «перебьет аппетита» к чтению, тем более, что, по утверждению психологов, большинство людей сначала знакомится с содержанием книги, а потом уж заглядывает в предисловие (и сам я тоже принадлежу к этой категории).

Теперь, после необходимых справок и оговорок, давайте вернемся к предшествующему им разговору.

Почему герои повести Дмитрия Биленкина оказываются в состоянии справиться с кознями взбесившегося времени и проникающими сквозь

провалы этого времени бедствиями? Чем привлекает к себе рассказ Николая Блохина, собственно научно-фантастическая идея которого уже не раз встречалась в литературе, хотя бы у Зиновия Юрьева?

Отчего вместе с героями рассказа Игоря Росоховатского испытываешь стыд за их ошибку в определении того, кто же разумный хозяин новооткрытой планеты: барственно бездельничающие существа или старательные уродливые «обезьяны», принятые сначала за домашних животных?

Всюду герои держат испытания на доброту. И иногда не выдерживают их, как охотники в рассказе Бориса Руденко...

Мысль далеко завела людей, создавших модель человека, которую уже нельзя отличить от человека — и чувство ответственности, благодарности, доброта, то, наконец, что зовется совестью, идут на выручку главному герою рассказа Николая Блохина «Реплики».

У Авдея Каргина в «Этих опасных играх» вполне вроде бы добропорядочные военные западных стран «прогоняют» гостей из космоса, которые на самом деле прилетели к Земле с самыми благими намерениями. Привычка бояться всего неизвестного может оказать дурную услугу человечеству.

В «Охоте по лицензиям» и «Добрых животных» действие происходит в космосе. Но персонажи этих рассказов вполне поддаются «переселению» на Землю, скажем на некий остров, как поступил бы, приди ему в голову такая идея, почти любой фантаст XIX века. В этих рассказах перенесение событий в космос — скорее фирменный знак века космических путешествий и почти полного освоения поверхности собственной планеты. Это, разумеется, не упрек и не похвала, но только констатация факта, лишнее подтверждение, что в космос писатели уходят за решением истинно земных проблем.

Вот Полу Эшу в его «Контакте» космос необходим, и притом дальний — требовалось найти максимально далекие от земных людей существа, лишенные даже возможности непосредственного общения с землянами. И на фоне этого несходства обнаруживается сходство в главном. Обе стороны в контакте больше всего боялись как-то обидеть своих собеседников, задеть хотя бы случайно их чувства, слабости, пристрастия. Но, оказывается, не только людям тяжело дается постоянная «зажатость», не им одним трудно надолго замыкаться, таить свои мысли, скрывать все недостатки и слабости... В жизни земной мы привыкли рассчитывать на понимание со стороны окружающих, на доброту, которая дает нам силы прощать друг другу мелкие слабости. (Да, не всегда мы встречаем такое понимание и такую доброту, но потому нас это и ранит так сильно, что обманывает надежды, основанные на предыдущем опыте.) Чужие разумные у Пола Эша в своем отношении к Контакту оказываются чрезвычайно близкими людям — разведка мыслью могла бы по-

терпеть неудачу, но разведка чувством не подвела автора рассказа. И снова на первый план здесь выходит доброта, хотя прямо о ней не сказано в «Контакте» ни слова — потому что именно она может помочь одному разуму понять другой, потому что нет разума без чувства.

И против недоброты выступают в своих произведениях Роберт Силверберг и Теодор Старджон, принадлежащие к числу виднейших писателей-фантастов Америки.

«Увидеть невидимку» — рассказ о том, что социологи зовут отчуждением, а поскольку явление исследует фантаст, он находит блистательную гиперболу для передачи боли человека, чувствующего себя чужим в мире.

Старджон клеймит человека, как раз пользующегося добротой и гуманностью пришельцев из космоса, чтобы безнаказанно изображать их в своих творениях врагами человечества.

Именно добра может ждать от будущего тот, кто идет в него с добром,— ясно говорит рассказ А. Кацуры «Мир прекрасен». Сколько уж было в фантастике разговоров о путешествиях во времени, о связанных с этим проблемах и парадоксах, как математически точно доказывали порой невозможность влияния будущего на прошлое... А Кацура перевернул пирамиду доказательств, поставил ее на вершину (или, может быть, все-таки на основание?), и оказалось: будущее не может не влиять на прошлое, а поскольку это доброе будущее, то прошлое оно улучшает; тут настоящее оказывается итогом совместной работы не только того, что ему предшествовало, но и того, что за ним последует. Еще одна точка зрения писателя на время, еще одна демонстрация «преимущества» литературы над физикой, которой со временем так трудно... Фантастика присвоила себе власть над пространством при Эдгаре По и Жюле Верне, завладев африканскими дебрями, океанскими просторами и преодолев расстояние до Луны. Теперь, когда все это, давно или недавно, из ее ведения вышло, фантастика больше занимается временем — вслед за Уэллсом. Причем в фантастике наиболее ярко проявляется то свойство искусства, которому может позавидовать и сама наука. Та исследует время, но управлять им не может. Между тем литература обращается с ним весьма свободно.

Мы сейчас не удивляемся, когда писатель-реалист вмещает в одну главу своего романа два часа, а в другую — десяток лет; между тем еще в XVIII веке за этот прием, сегодня такой обычный, многие сурово осуждали английского романиста Генри Филдинга. Прозаики сегодня свободно путешествуют по времени, вспоминая и мечтая (или заставляя своих героев вспоминать и мечтать). Фантастика делает тут следующий шаг, но шаг все по тому же пути, и если при этом она опирается на науку — так именно потому, что возмож-

ности науки особенно ясно видны в нашу эпоху научно-технической революции. Снова вернусь к повести «Пустыня жизни» и рассказу «Мир прекрасен». Герои Д. Биленкина оберегают будущее от вторжения прошлого; А. Кацура утверждает, что вмешательство будущего в прошлое может быть плодотворно, и тут этот «историко-футурологический» оптимизм противостоит позиции, заявленной во множестве фантастических произведений последних десятилетий.

Надо думать, кладезь связанных с «играми со временем» идей, сюжетов и образов отнюдь не исчерпан. Может быть, фантасты еще сделают здесь художественные открытия, достойные того нововведения (относительного, правда) Филдинга, о котором здесь говорилось. И, может быть, эти литературные находки тоже станут предвидением реальных открытий науки, как случалось уже не раз.

Позволю себе напомнить слова одного из виднейших физиков XX века, с 1945 по 1951 год президента Академии наук СССР Сергея Ивановича Вавилова: «И в наше время рядом с наукой, одновременно с картиной явлений, раскрытой и объясненной новым естествознанием, продолжает бытовать мир представлений ребенка и первобытного человека и, намеренно или ненамеренно, подражающий им мир поэтов. В этот мир стоит иногда заглянуть, как в один из возможных истоков научных гипотез. Он удивителен и сказочен; в этом мире между явлениями природы смело перекидываются мосты-связи, о которых иной раз наука еще не подозревает. В отдельных случаях эти связи угадываются верно, иногда в корне ошибочны и просто нелепы, но всегда они заслуживают внимания, так как эти ошибки нередко помогают понять истину».

Фантасты в этом отношении тоже поэты. Конечно, фантастика, как и поэзия, существует не для того, чтобы служить «одним из возможных истоков научных гипотез»; но почему же фантастика тут должна непременно быть беднее той же поэзии?

Все или почти все критики и писатели, как и бóльшая часть читателей, согласны с тем, что фантастика — прежде всего художественная литература. Но открытие свежей научно-фантастической идеи или хотя бы нового ее поворота по-прежнему в цене у тех же самых критиков и читателей. Надеюсь, они увидят на страницах сборника и такие находки...

Советские авторы литературных произведений сборника — это профессиональные литераторы, инженеры, ученый-философ, юрист. Они представляют три города: Москву (Д. Биленкин, А. Каргин, А. Кацура, Б. Руденко), Киев (И. Росоховатский), Ростов-на-Дону (Н. Блохин).

Заключает сборник статья известного критика и литературоведа В. Ревича.

■ ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

ДМИТРИЙ БИЛЕНКИН

Пустыня жизни[1]

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Упорно уже который год мне снится один и тот же сон. Синий, так я его называю. Почему синий? Не знаю, скорее он черный. Всякий раз вижу скалистую чашу кратера, две луны в ночном небе, их остекленелый свет, который всему придает недвижимость старинной, без полутонов, гравюры. Вот так: два мертвенных глаза вверху, сдвоенные у подножия тени зубчатых скал, каменистая площадка кратера, куда в полном беззвучии врезается тупой клин конных рыцарей. Блестят доспехи и шлемы, блестят длинные, наперевес, копья, и эта лавина мчится на нас, прижатых к скале.

Мчится — в неподвижности. Застывший миг времени. Замер смертоносный блеск копий, не колышутся султаны на шлемах, в изломе тяжкого бега недвижны ноги коней — все, повторяю, как на гравюре.

Все это я вижу как бы со стороны. И одновременно я — среди тех, кто прижат к скале, кому некуда податься, в кого нацелены тяжеловесные копья. Для этого второго «я» движение есть, только очень замедленное. Не знаю, как согласуются оба зрения, но во сне никакого противоречия нет. Просто сначала я вижу рисунок, затем себя в нем, оказываюсь сразу и наблюдателем, и участником события. При этом тот и другой «я» с одинаково захолонувшим сердцем смотрят на громаду закованных в сталь рыцарей, их безжалостный строй, в котором нельзя различить лиц, видишь лишь чешуйчатые панцири, темные прорези забрал, щиты и шлемы. Слитность всего, шевеление тупой массы уподобляет это движение надвигу каких-то чудовищных железных насекомых, чья лавина готова подмять все и вся. И я, участник происходящего, как и мои товарищи, недопустимо медленно поднимаю разрядник, в ужасе осознаю, что выхода нет и придется бить насмерть, разить эту лавину чешуйчатого металла, а это же люди, люди! И рука замирает в последнем, таком невозможном для нас движении, и мысль колеблется — не лучше ли резануть по лошадиным ногам? Но лошади — на них почти нет металла,

[1] Сокращенный вариант повести.

они-то для нас как раз живые, и воображение тотчас рисует вспоротые мышцы, сахарный излом костей, предсмертный всхрап. А секунда, когда еще можно дать огненный, под копыта, для паники и острастки залп, уже потеряна.

Вот такими мы были в канун Потрясения. Тут сон правдив.

Поразительно ощущение безопасности, с которым мы жили. Ведь начиная с середины XX столетия, когда расколотое человечество познало ядерный огонь, дорога пошла над пропастью, а бремя мощи росло, то и дело кренясь за плечами, как громоздкий раскачивающийся тюк. Экологический, информационный, генетический и прочие кризисы никого не оставляли в покое. О каком благоденствии, казалось, могла идти речь! Но жизнь не подчиняется формальной логике. Каждая победа над обстоятельствами, все социальные, в затяжной борьбе достигнутые преобразования, которые только и могли предотвратить тот или иной кризис, которые в конце концов объединили человечество, спасли его, повсеместно утвердив высшие общественные идеалы, так изменили все, что былые времена голода, войн, угнетения, розни подернулись пеленой тумана. Конечно, старинные фантазии, в которых будущее изображалось безмятежным раем, где если и приходилось преодолевать не пустяковые трудности, то исключительно в далеком космосе, если горевать, то лишь от неразделенной любви, если страдать, то от неутоленной жажды познания,— такие книги вызывали у нас улыбку. И все же постоянство побед, долгое социальное благоденствие наложили на нас глубокий отпечаток. Мы слишком уверовали, что завоеванное непоколебимо. Что прошлое осталось позади навсегда, что немалый опыт предусмотрительности надежно гарантирует будущее... То, что произошло, надеюсь, нас излечило. В этом, быть может, единственное благо того времени, когда мы едва не лишились самого времени.

Говорят, моя история показательна. Не знаю. Мой долг рассказать о том, как все было, выводы делайте сами.

Начну с того дня, когда я нарушил запрет, что и повлекло за собой все остальное.

В то утро я патрулировал восточную границу центральноевропейского возмущения (какой гибкий эвфемизм для обозначения катастрофы; кто бы заранее поверил, что мы способны так успокаивать себя?). Всю ночь я мотался на предельной скорости полета и теперь не без удовольствия разминал ноги. Стояла редкая в ту пору тишина. День был мглистый, спокойный, чуть шелестела листва. Коммуникатор молчал. Я наслаждался коротким отдыхом, брел среди светлой весенней зелени, которой все нипочем, и старался не терять из виду Барьер.

Его сиреневое свечение разрезало мир надвое. Силовое поле бритвой прошлось по лесу, вспарывая корневища, траву и мох, ссекая

ветви. За Барьером земля казалась вздыбленной каким-то чудовищным, все кромсающим лемехом. Словно кто-то пропахал им вслепую, затем сдернул прежнее покрытие земли и на его место уложил новое, ничуть не заделав рваный грубый шов. Позади него был уже другой лес. И другое время.

Правда, здесь шов не был таким жутким, как в прочих местах. Даже неровности почвы в общем-то согласовывались, что было верным признаком малого сдвига времени. Впрочем, возраст аномалии мне и так был известен, не это предстояло установить, тут я мог спокойно наслаждаться минутами тишины.

Такими, однако, они были лишь с моей точки зрения. Барьер не достигал вершин самых высоких деревьев, и поверх него то и дело сигали белки, столь стремительно, что их длинные распушенные хвосты казались рыжими выхлопами реактивной тяги. Очутившись на той стороне, белки начинали возбужденно цвиркать и скакать с ветки на ветку. Птицы пели лишь далеко в глубине леса, здесь они проносились в молчании, а некоторые метались кругами, словно искали что-то. Еще бы! Сразу за «швом» начинался уже иной лес, и, главное, там было лето — даже сквозь зыбкое свечение Барьера я различал на кустах малинника осыпь спелых ягод. Май и июль соседствовали; белок и птиц такое озадачивало. Нам бы их заботы!

Тем не менее в ту минуту мне было не скажу легко и радостно, но светлей, чем обычно. В природе есть что-то успокоительное: рушился мир целой планеты, признаки катастрофы были прямо перед глазами, хватало и своей печали, а я вопреки всему испытывал удовольствие от ходьбы, шустрого мелькания белок, вида спелых ягод и даже от запаха вздыбленной земли. Очевидно, сказывалась и усталость от долгого нервного напряжения. Разум честно фиксировал обстановку, сопоставлял, делал выводы, однако сознание как будто дремало, и навязчивым мотивом в нем почему-то крутилась одна и та же фраза: «Пока существуют белки, пока существуют белки...»

Что я этим хотел сказать? Что пока существуют белки, еще не все потеряно?

То, что внезапно открылось за резким изломом Барьера, начисто вышибло сонную одурь. Впереди разноцветным огнем полыхала осень! Та ранняя чистая осень, когда свежи и ярки все оттенки перехода красок от темно-зеленого к багряному, когда уже наметан шуршащий покров листвы, но убор деревьев еще плотен и густ. Скупое сообщение со спутника об очередном хроноклазме, которое привело меня сюда, плохо подготовило к встрече с этой трагичной красотой. Позади осталась весна, справа было лето, впереди — осень. Все вместе составляло нечто непередаваемое — пятое время года.

И над всем простиралось грустное мглистое небо. Вдали на пригорке неопалимым костром горела куртина берез.

Осень клином подступила к Барьеру, но нигде не пересекала черту, и я было подивился расторопности полевиков, которые, выходит, успели оградить новый хроноклазм, как тут же сообразил, что дело не в этом. Ничего они не успели и успеть не могли. Просто новый сдвиг произошел в пределах старого. Отрадно! Небрежная скупость сообщения стала понятной: космическим наблюдателям хватало забот поважней, им некогда было возиться с уточнением характера и границ столь мелкого и неопасного возмущения.

Итак, какая, спрашивается, передо мной эпоха? Золотая осень, те же, что и теперь, березы, осины, клены. Явно не мезозой — геологическая современность. С одной стороны, очень хорошо, а с другой — может быть, и очень плохо.

Я пригляделся внимательней. Шов, отделяющий осень от всего остального, был куда грубее прежнего. Всюду развалины, выворотни корневищ, влажные и даже как бы дымящиеся срезы глинистых увалов, рыжая муть ручейка, который уже не знал, куда ему течь, — словом, хаос. Налицо были признаки глубокого разлома времени, так как одно дело смещение на века и совсем другое — на тысячелетия: то, что в наши дни стало ложбиной, тогда могло быть луговой гладью, даже скатом холма. И наоборот. Тут нечего было ожидать плавной стыковки рельефа. Ее и не было. Ни там, где чужая осень граничила с нашей весной, ни там, где она вторгалась в идовременное лето. Только растительность была, в общем, одинаковой. Что ей наши жалкие века и тысячелетия!

И все же — какое прошлое передо мной?

Включив гравитатор, я перемахнул через Барьер и опустился далеко за чертой хаоса. Под ногами тотчас зашуршали листья, легкие вобрали в себя щемящий запах увядания. Чувства невольно настроились на встречу с осенней прохладой, но разница температур, конечно, успела сгладиться. «Интересно, — подумал я мимолетно, — что теперь будет с листвой? Опадет или сквозь желтизну увядания пробьется свежая зелень?»

Посторонние, конечно же, мысли. Строго говоря, мне следовало поскорее взлететь и разведать все сверху. Но уже от сознания этой необходимости заныли все мускулы исхлестанного ветром лица. Успеется, решил я. Так, с маленькой поблажки себе, все и началось. Слепо я вошел в лес. Безбоязненно, как привык это делать всегда.

Я старался не чересчур удаляться от стыка с прежним хроноклазмом, так как помимо прочего надо было еще определить, стоит ли их разграничивать Барьером. Иногда это оказывалось необходимым, однако я надеялся, что здесь этого не потребуется. Плохо у нас сейчас было с энергией. Что там плохо — бедственно!

Лес густел, и как-то сразу помрачнело мелькавшее в просвете листвы небо. Мутным оно стало, недобрым. И как прежде, ни ветерка. Что меня радовало, так это чащобная захламленность леса. Нигде ни малейшего признака человеческой деятельности, всюду ломко трещащий под ногами валежник, очевидное безлюдье, а если так — нет смысла ставить новый Барьер.

Однако я не стал торопиться с выводом и правильно сделал. Впереди обозначился косогор. Подлесок расступился, открыв строй мачтовых сосен, под которыми было просторно и гулко. Вверху долгим вздохом порой прокатывался глухой шум вершин. В прогалах тускло серело небо, однако его света было достаточно, чтобы еще издали различить на косогоре какой-то темный, мерно раскачивающийся меж стволами предмет. Взад-вперед, взад-вперед, так он маятником ходил в мглистом просвете неба. Даже вблизи я не сразу понял, что это такое, как вдруг в сознании мелькнул полузабытый образ.

Зыбка! Даже не колыбель, зыбка; память почему-то вынесла наружу именно это древнее, как мой собственный род, слово.

Зачем она здесь, в лесу?

На фоне мрачнеющего неба тихо раскачивалась подвешенная на ремнях колыбель. Внизу холмиком бугрилась еще не успевшая оплыть земля.

Это сказало мне все. Могила ребенка. Над ней — его зыбка. Глубокой и печальной стариной повеяло на меня от этого обряда.

О древности свидетельствовала и сама колыбель. Ни единого гвоздя. Внутри подмокший, уже чуть прелый мех. Отполированное долгим касанием материнских рук дерево потемнело. Скорее всего верхний палеолит, время, когда покойников уже снаряжали в потусторонний мир. А что надо младенцу там, в ином мире? Только его колыбель...

Я отошел со стесненным сердцем.

Оставалось выяснить, есть ли тут сами люди. Спускаясь с косогора, я наткнулся на осклизлую, явно звериную тропу и решил ею воспользоваться. Первобытные люди умеют прятаться, и они, конечно, попрятались так, что их вряд ли сыщешь с воздуха даже инфрадетектором. А вот звериными тропами они, понятно, не пренебрегали, и здесь мог оказаться их свежий след.

Тропинка вела вниз сквозь кусты. Следопыт из меня, само собой, никакой, это умение давно стерто цивилизацией. Но тут не требовалось быть охотником, чтобы убедиться в обилии всякого зверья: сырая почва была истоптана острыми копытцами, в кустах что-то шуршало, вспархивало, а однажды вроде бы даже мелькнула бурая медвежья спина. Как всякий человек своего времени, я не испытывал ни малейшего страха перед хищниками, но разум велел остеречься,

и я на всякий случай достал разрядник. Сделав это, я странным образом почувствовал себя немного иным, чем прежде. Возможно, дело было в звериных запахах, на которые откликнулся инстинкт. Изменилась даже моя походка; я шел уже не так споро, глаза озирали кустарник, ноздри ловили далекие токи воздуха. Более того, я вдруг почувствовал, что вспоминаю и эти запахи, и эту узкую тропу как пережитое, словно когда-то шел по опавшей листве, шел настороженно, готовый затаиться, подстеречь, наброситься или, наоборот, убежать, хитро запутывая следы.

Ничего удивительного в такой перемене не было. В нашу службу подбирали людей с проблесками атавизма, потому что разведчик мог оказаться (и часто оказывался) в условиях, когда они требовались. Зачислению в разведчики еще более, конечно, способствовала моя профессия учителя. Крепче, чем нас, закаливают разве что космонавтов. И то как сказать! Во всяком случае, наша подготовка куда разнообразней, ибо мы должны быть искусниками во всем, начиная с игры в прятки, кончая популяризацией новейших космогонических гипотез. В конце концов неожиданности далеко не каждый день подстерегают космонавтов, у них из месяца в месяц все идет по программе, и в этой работе велика доля предусмотренного. Не то у нас. Наперед неизвестно, что произойдет в следующую минуту, какой фортель выкинет тот или иной подросток, что он спросит и сделает. А реакция должна быть мгновенной и точной, иначе потом не оберешься хлопот. Конечно, и здесь есть стандартные ситуации, но и в них каждый подросток неповторим, все они изобретатели, а энергию каждого надо исчислять в мегаваттах. Тут приходится держать ухо востро, уметь все, что умеют они, только лучше, быть универсалом, чтобы никакой вопрос не застал врасплох. Всегдашнюю готовность к неожиданностям, устойчивость к стрессам, мгновенность реакции — вот что в нас воспитывали годами, хотя, разумеется, не только это. Но именно это потребовалось теперь, когда стали нужны особого рода разведчики, а готовить их было некогда. Вот почему в наших отрядах оказалось так много бывших учителей.

Вильнув, тропинка вывела меня к перелеску. За редкими деревьями приоткрывалась пойма извилистой и мутной реки, которая тоже вроде бы не знала, куда ей течь. Еще недавно я сразу вышел бы из-за укрытия и, как положено властелину Земли, хозяйски огляделы бы местность. Теперь я этого не сделал. И моя осторожность была вознаграждена.

Затаившись в кустарнике, я почти сразу уловил впереди чье-то присутствие. Как это произошло, я не знаю. Ветер тянул в мою сторону, но вряд ли мое неразвитое, хотя и обострившееся обоняние могло подсказать, что я не один. Тогда, возможно, шорох? И это сомнительно, поскольку незнакомец, как я потом убедился, был бесшумен,

подобно тенн. Все же что-то сработало во мне, как сигнал. Я осторожно прокрался вперед н раздвннул мешавшне обзору ветвн.

Человек!

Прижавшись к стволу нвы, неподалеку сндела девушка, почтн подросток. На ней не было ннчего, кроме пояска нз шкур н какого-то ожерелья на шее. Волннстая грнва волос явно не знала ножннц. Я затанл дыханне. Девушка, несомненно, прннадлежала к тому же, что н я, внду «человек разумный», более того, телосложеннем она так напомннала девушек моей эпохн, что мне даже показалось, будто я ее уже где-то вндел.

Конечно, nллюзня длнлась недолго. Девушка повернула голову, н на меня глянула днкарка. Нет, ее лнцо не было нн тупым, ни свирепым. Дело в ином. Цнвнлнзация утончает чувства; эмоции у нас те же самые, что н у нашнх далекнх предков, но нх спектр разнообразней, мягче н тоньше, крайностн сглажены — сравните, напрнмер, взрослого н ребенка, н вы поймете, что я хочу сказать. Здесь богатства эмоцнональных оттенков н переходов не бы и в помнне. Обычное для людей моего временн н такое редкое в древних веках выраженне достоннства — вот что сблнжало нас н обманывало прн первом взгляде. А ведь ее дела былн хуже некуда. Шутка лн, внезапно увндеть, как померк прежннй день н занялся новый! Как одно небо в грохоте землетрясення сменнлось другнм, н в осеннем воздухе повеяло запахом весны. Вдобавок сдвнг временн, похоже, отрезал девушку от соплеменннков, что само по себе было трагедней. Особенно в ту пору, когда человек не мыслнл себя вне племенн н прочнх людей обычно считал врагамн. Ведь даже Арнстотель полагал нзначально свободнымн лишь греков, все остальные представлялнсь ему варварамн н, как следовало по его логнке, естественными рабамн.

Не потому лн девушка н не нскала укрытня, что заранее чувствовала себя обреченной? Впрочем, здесь, на открытом месте, она по крайней мере могла нздалн заметнть опасность н, оценив ее, лнбо кннуться наутек, либо нырнуть в реку, лнбо вскарабкаться на дерево. Здесь у нее былн кое-какие шансы спастнсь. Выжить, пока стоит день. Ночью, не этой, так следующей, с нею, очевндно, будет покончено. Ей это, конечно, было нзвестно.

Возможно, я последннй, кто вндит это юное, прекрасное в своей юностн н уже обреченное существо. Было легко предвидеть бесшумный прыжок нз темноты, недолгое сопротнвленне, вскрик...

Ну н ладно, подумал я, чувствуя себя подонком. Не мое это время. И вообще, чем я могу помочь, даже еслн бы нмел на то право?!

Хватнт, пора уходнть, таким трагедням сейчас несть чнсла.

Я шевельнулся, намереваясь отползтн, убраться н все забыть,

хотя такое забыть невозможно. Но бесшумного движения не получилось, я дернулся, как уж на сковороде. Две-три ветки качнулись, этого оказалось достаточно. Девушка вскочила, замерла, вглядываясь и вслушиваясь. Казалось, ее взгляд уперся в меня, вот так смотреть ей прямо в глаза было совсем невыносимо. Еще мгновение — и я бросился бы прочь, как вдруг меня поразила поза девушки. Привалившись к стволу, она опиралась лишь на одну ногу, вторая...

Да она же ранена!

Я опрометью ринулся к девушке, не осознавая, какую ошибку делаю. Она метнулась к реке, поврежденная нога подогнулась, а там был обрыв. Ни вскрика, тело глухо ударилось о песок.

В три прыжка я достиг берега. Она лежала без сознания. Окровавленная голова припала к руке, как у спящего ребенка, правая нога была неестественно вывернута в лодыжке, из полуоткрытого рта вырывались постанывающие всхлипы. Над бровью, совсем как у Снежки, темнела родинка.

К счастью, все было цело, одни ссадины и ушибы.

Став на колени, я осторожно ощупал поврежденную ногу. Закрытый перелом, тут не могло быть двух мнений. В клинике ее сразу привели бы в порядок, но о клинике нечего было и думать. Положив руку ей на запястье, другую опустив на лодыжку, я сосредоточился, впустил в себя ее боль и попытался наладить психорезонанс. Может быть, мне и удалось бы все довести до конца, но она открыла глаза. Хорошие у нее были глаза, добрые. Я боялся, что она завопит в испуге, и улыбнулся, как улыбаются детям, когда хотят их успокоить. Она не закричала, даже не ворохнулась, только зрачки расширились. Вряд ли моя улыбка была причиной такого ее спокойствия. Просто успел возникнуть слабый психорезонанс, она почувствовала, как от прикосновения моих рук слабеет боль и по всему телу разливается благодатное тепло.

— Лежи, маленькая, лежи,— сказал я, когда она попробовала приподняться.

Слов она, конечно, не поняла, но голос подействовал. Она опустила голову, и я готов был поклясться, что читаю в ее взгляде благодарность.

Тем лучше! Или, наоборот, хуже...

— Ничего, ничего,— говорил я, втирая в опухшую лодыжку биоактивную пасту.— Все будет хорошо...

Она что-то проговорила в ответ. Я потянул руку за лингвасцетом, но оказалось, что он уже вставлен в ухо, я и не заметил, когда успел это сделать. Конечно, лингвасцет ничего не перевел — в его распоряжении пока было слишком мало слов чужой речи. Наступил мой черед по тону голоса и выражения лица соображать, что именно было сказано. Кажется, ничего враждебного.

Что же, однако, делать с нею дальше? Бросить ее я уже не мог, остаться с нею — тоже. Был один-единственный выход, но тогда я вступал в конфликт с установленным правилом. Накладывая повязку, я все еще колебался. Пожалуй, только сейчас я ощутил силу дисциплины как что-то внешнее и, оказывается, не всегда справедливое. Такие понятия, как долг, обязанность, уже давно стали для нас чем-то вроде воздуха, которым дышишь. А что может быть естественней дыхания? Что может быть естественней выполнения внутреннего долга? Всегда как-то так получалось, что любой поступок совпадал с велением совести. И когда Горзах приказал ограждать древние времена барьерами, ни в коем случае не допускать проникновения людей другой эпохи в нашу, то это решение было в такой же степени его, как и моим. Не только потому, что оно основывалось на общем мнении, но и потому, что в нынешней ситуации казалось единственно возможным и верным. Не хватало еще, чтобы к общему хаосу добавилось вторжение невесть каких племен и народов!

Словом, Горзах был кругом прав. Только что же мне делать вот с этой бедняжкой? То, что издали представлялось несомненным и, конечно же, благодетельным для самих людей прошлого, теперь означало смертный приговор этой девочке. А ведь в ее беде были виноваты мы сами! Одни мы, никто больше. И то, что наша вина была невольной, ничего не меняло по существу. Наша ошибка вырвала ее из далекого прошлого и перебросила сюда. Рядом со мной оказался живой человек, которого по долгу совести и всем законам морали я должен был спасти, а из соображений высшей целесообразности и согласно приказу, наоборот, обязан был оставить там, где ее растерзают хищники. Добро бы еще мои попытки помочь встретили ужас, отталкивание, злость. Нет, она доверилась мне. Что же теперь — бросить ее и погубить?

— Не пугайся,— сказал я тихо.

Я поднял ее на руки. Она не сопротивлялась, только в глазах возник немой вопрос. Ее интуиция была поразительной! Похоже, она понимала мое состояние и верно оценила намерение, потому что стоило жестом попросить ее обнять меня и сцепить руки на шее, как она тут же сделала это с таким же доверием, с каким это сделала бы любая девушка моего времени. Я даже усомнился в верности всего, что читал о людях палеолита.

Убедившись, что она крепко сцепила руки, я включил гравитатор и полого взмыл со своей ношей. Дрожь прошла по ее телу, но она не забилась, не вскрикнула. В ее глазах застыло безмерное удивление.

Я задал такую скорость, что воздух стал упругим и нас пронизывал ветер, а защитный колпак я включить не мог, поскольку энергии едва хватало на все остальное. Мой костюм, как и подобает,

тотчас отозвался на охлаждение тела и усилил подогрев. Но девушка могла замерзнуть, и я было подумал, не остановиться ли, не натянуть ли на нее куртку. Но нет, к холоду ей, похоже, было не привыкать, недаром до катастрофы она по осенней погоде разгуливала почти голышом. Она лишь прижалась тесней. Струящиеся по ветру волосы щекотали мое лицо и руки, сквозь ткань одежды я чувствовал быстрые толчки ее сердца.

Барьер остался далеко позади, здесь была уже наша территория. Наша? Давно ли мы считали своей всю Землю... Ни в каком кошмаре нам не снилось, что ее придется делить с теми, кто жил задолго до нас. С людьми и с нелюдьми.

Хорошо, что во время прежнего полета я заприметил эту пещёрку, теперь не надо было искать убежище. Я затормозил у входа, внес туда девушку на руках, и — велика власть искусства! — в моем воображении возник образ рыцаря, спасающего принцессу от злого дракона. Я возмущенно затряс головой, настолько неуместной была вся эта романтическая чушь.

Нарвать травы и устроить девушку поудобней было делом недолгим. Не слишком удобное ложе, но вряд ли она привыкла к лучшему. Я оставил фляжку с питьем, все неизрасходованные концентраты и, быстро повернувшись к выходу, слабо помахал рукой. На большее у меня не было душевных сил. Она посмотрела мне вслед как бы в раздумье, слегка недоуменно, с тем недосказанным выражением лица, которое было свойственно Снежке. Снова меня оглушило это поразительное сходство, которое буддисты объясняли бы переселением душ, но в котором не было ни грана мистики. Ведь тип человека почти не изменился с пещерных времен, и если даже в одном поколении человек может найти своего двойника, то что же говорить о возможности сходства во множестве поколений!

И все-таки я не мог отделаться от впечатления чуда.

— Не беспокойся, я приду,— пообещал я, хотя не был уверен не только в завтрашнем дне, но и в следующей минуте.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Так я нарушил запрет и стал преступником. Может быть, это слишком сильно сказано, но чувствовал я себя погано. Даже не потому, что перенес девушку на свою территорию (тут я не сомневался в своей правоте), а потому, что не мог никому об этом сказать. Не мог, ибо в таком случае Горзах... Да, что бы сделал Горзах? Само собой, распорядился бы вернуть девушку обратно. Ведь для него она была статистической единицей, мало что значащей, когда речь идет о спасении миллиардов. Тут ничего нельзя было доказать, Горзах был бы столь же прав в своем решении,

как я в своем. Оставалось и дальше сохранять тайну. Не свою, личную, что было естественно, а такую, которая затрагивала общество, чего ни со мной, ни с моими друзьями не случалось ни разу.

С запозданием я сообщил в Центр результаты разведки и доложил свои на этот счет соображения. По делу никаких вопросов не последовало: хроноклазм был ничтожный, на такие мы уже перестали обращать внимание. Не вышли за пределы Барьера — хорошо; не возникли при этом огневики — прекрасно!

Однако мой голос, похоже, сказал больше, чем я того хотел.

— Что-нибудь не так? — этот дежурный был мне незнаком, разговор велся по радио, но я мысленно увидел его участливое лицо.

— Все в порядке,— быстро ответил я.— Немного устал.

— Тогда извини. Доброго отдыха!

— Спасибо.

Он отключился. Голос у него был с хрипотцой, тоже вымотался, бедняга. Меня кольнуло невольное чувство вины.

Мало что так рассеивает скверное настроение, как неспешный, ради отдыха, полет над непотревоженной землей, плавное скольжение над лугами и перелесками, откуда волнами накатывает запах весенних трав, свежей листвы, болотцев и терпкой хвои. Я летел по прямой, подо мной всюду была земля нашего века, которую и ребенок мог безбоязненно обойти босиком. Лишь в одном месте путь клином пересекал Барьер. Я не стал его огибать, потому что именно там должен был находиться Карл-Иоганн (а может, Фридрих-Вильгельм), который всегда приводил меня да и других в хорошее расположение духа. Конечно, за те дни, что я его не видел, он вполне мог исчезнуть вместе со своей мызой. Уже ни за что нельзя было поручиться, и, говоря кому-нибудь «до свидания!», никто не знал, увидит ли своего друга или тот канет в глубину веков, а то и миллионолетий. Думать об этом не имело смысла.

Карл-Иоганн, он же Фридрих-Вильгельм, оказался на месте. Черепичную крышу дома я заметил издали и, снизившись, нырнул в густую крону деревьев, которые осеняли мызу. Я не боялся напугать Карла-Иоганна (опыт показал, что это невозможно), мне лишь хотелось полюбоваться им без помех.

Полюбоваться было на что. Карл-Иоганн, как всегда, стоял у порога своей чистенькой мызы (возможно, домик назывался как-то иначе, но первый, кто его обнаружил, употребил слово «мыза», так и пошло). Сухопарый, уже в летах, Карл-Иоганн стоял, как на параде, его медная кираса ярко блестела на солнце, которое наконец выглянуло из-за облаков. Блестела и наклоненная к земле шпага. Рыжие усы хозяина топорщились. Словом, Карл-Иоганн-Фридрих-Вильгельм, или как его там, пребывал в своей обычной позиции.

За его спиной копошились куры, такие же чистенькие, как аккуратно подметенный дворик, как ровные кирпичи стен, как до голубизны вымытые окна, как тщательно подстриженные кусты жимолости вдоль ограды. Кур горделиво опекал огненно-рыжий осанистый петух.

И это посреди всеобщего раздора! Никто из нас не видел Карла-Иоганна в другой позиции, разве что дождь загонял его под навес. Вероятно, он отдыхал, но когда — непонятно. Ему было безразлично, печет ли солнце его седую, с хохолком на макушке голову, обычно, впрочем, прикрытую шлемом с насечкой. Похоже, так же безразличен ему был род возможной опасности, любую он был готов встретить быстрым и точным выпадом шпаги. Он стоял гордо и ничего не боялся. Кремень-старик! И какой контраст с жителями соседнего городка, которые, обнаружив неладное, подняли вой и, не знаю уж по какой причине, возможно, религиозной, экспромтом затеяли небольшую резню. Ну и дал же им Карл-Иоганн, когда они к нему сунулись!

С тех пор он и утвердился в своей позиции. Хотя нет. Это случилось раньше, когда он заприметил в небе нашего разведчика. Нисколько не удивился, но со своей точки зрения вывод сделал правильный: человек, летящий, как птица, может коршуном обрушиться на дом и семейство, а потому надо бдеть непрерывно. Что он и делал. Семейство же его, как говорили, состояло из пухлой розовощекой жены и трех весьма независимых карапузов, которые иногда прорывались во двор, за что маменька их тут же порола хворостиной. От нее мы и услышали имя хозяина. Правда, она почему-то называла его то Карлом-Иоганном, то Фридрихом-Вильгельмом.

Впрочем, это несущественно. Мужество и стойкость Карла-Иоганна вызывали уважение. Опрятность, с какой поддерживался дом, тоже. Во всем теперешнем хаосе это было, пожалуй, единственное место, где все шло, как заведено, как должно, как прежде, непоколебимо. Скала в бушующем море! Конечно, бравый воитель защищал только себя и семью, однако в этой комичной фигуре было такое достоинство и такое презрение к опасности, что на сердце становилось легче.

Странные мы все-таки существа, люди! Были, есть и, видимо, будем.

Я немного полюбовался старым чудаком. Делать мне здесь было решительно нечего, и, прошептав Карлу-Иоганну «до свидания!», я взмыл в небо.

Зона возмущений осталась позади. В небе нашего времени, как и внизу на дорогах, никакой паники, естественно, не было. Однако все, что могло двигаться, двигалось на предельной скорости. Сновали реалеты, мчались наземные машины, где-то возникали, а где-то,

наоборот, свертывались эмбриодома, сами реки, казалось, текли ускоренно. Впрочем, кто знает, может, так оно и было...

Подходы к Центру перекрывали передвижные трансформаторы массэнергии, решетчатые раструбы которых тупо смотрели во все стороны света. Могло ли их действие что-либо предотвратить, оставалось вопросом теории, но так казалось надежней. Уж лучше сомнительная защита, чем никакой. Южноазиатский региональный центр, правда, погиб, но там оборона была слабей, и оставалось надеяться, что эта выдержит. Как и за счет чего? В том-то вся и беда, что этого никто толком не знал. Работу нашего штаба, как всех прочих, на всякий случай дублировал Космоцентр. Но и там было неспокойно. В общем, ко всему стоило относиться с хладнокровием Карла-Иоганна и грести, пока руки удерживают весло.

Сам Центр располагался в средневековом замке, от грубых стен и башен которого веяло спокойствием и мощью. Казалось, ничто не может поколебать кладку массивных, понизу замшелых каменных блоков, башни свысока взирали хмурым прищуром бойниц, могучие контрфорсы словно противостояли самому времени. Замок пережил сотни бурь, выдержал десятки войн и осад, у его подножия тявкали мортиры, рвались авиабомбы, а он стоял все так же насупленно и горделиво.

Это впечатляло. Пожалуй, выбор его в качестве Центра был оправдан психологически. Конечно, древняя кладка стен уступала в прочности материалу современных эмбриодомов, тем не менее она могла противостоять урагану любой силы, даже землетрясению, а большего не требовалось, так как против хроноклазма ничто не могло устоять. Тут по крайней мере всякий ощущал за своими плечами Историю, несомненную, как бы материализованную в облике этих башен и стен, требовательно взирающую на нас.

Была еще одна причина, почему Центр обосновался в замке, и тоже скорей психологическая. Развитая в нас способность к сомышлению и сопереживанию оставалась благом, но резкий, как сейчас, всплеск психической деятельности мог опасно срезонировать там, где сгущались силовые линии ноосферы, и нарушить работу Центра. Толстый камень стен ослаблял психополе, а главное, он действовал успокоительно, поскольку сознание привыкло связывать тишину с укромностью, мощь стен с безопасностью, замкнутость с отъединенностью.

Опускаясь на щербатые плиты внутреннего дворика, где у подъезда были различимы протертые колесами экипажей колейные выбоины, я физически ощутил эту двойственность. Все вокруг внушало спокойствие, однако мысли, чувства вдруг заспешили, я даже слегка промазал и при посадке больно ударился пятками. Слишком многие сейчас с надеждой и нетерпением думали о Центре, мысленно взы-

вали к нему, это эмоциональное напряжение отозвалось во мне, как шелест невидимого, но близкого пожара. Что делать — чем гуще ноосфера и сильней ее возмущения, тем отчетливей они для нас. Уже в двадцатом веке наиболее чуткие люди подметили, что даже в тихих на вид коридорах крупных редакций, телецентров и министерств их охватывает напряженность, сходная с той, которая пронизывает человека в насыщенной электричеством атмосфере.

В гулкой прохладе замка мне сразу полегчало, хотя работа была в разгаре и каждый встречный, разумеется, спешил. Но то была несуетливая спешка. Никто не сбивался с ног, не метался в растерянности, усталые лица были спокойны, сдержанно невозмутимы, все делалось как бы само собой, быстро, четко, красиво, никто из встречных не забывал приветливо кивнуть, даже если при этом прыжком одолевал пролет, чтобы, не теряя плавности хода, тут же скрыться из виду.

Какой контраст с тем, что мне довелось наблюдать в иных веках! Никогда прежде мы не видели себя в зеркале далекого прошлого и толком не представляли, насколько изменились люди. Да, физический облик, в общем, остался прежним, исчезла лишь грубоватость лица и телосложения. И чувства не претерпели существенных перемен. Тем не менее мы как будто столкнулись с другим человечеством. Все, что для нас стало нормой, там, в глубине веков, было исключением — неуязвимое здоровье, развитый ум, сама собой разумеющаяся сила, красота гармонично сложенного тела, гибкая пластика движений. Но дело было не только в ужасающем обилии нищих, больных, полуголодных, не только в быстром и всеобщем старении, которое так безжалостно уродовало людей прошлого, что при виде повальной, годам к пятидесяти, дряхлости нас брала оторопь. Различие оказалось куда более глубоким и тонким, оно коренилось в сознании. Шаткость психики, мгновенный переход от униженной покорности к ярости, от молитв к жестокостям, от трезвой, в быту, рассудительности к безумию фанатизма — вот что потрясало сильнее всего.

Не верилось, что это наше, исторически близкое, прошлое. Что люди, лобызающие руку свирепого хозяина, падающие ниц перед раскрашенными досками и статуями, сбегающиеся на публичные пытки и казни, как на праздник,— наши не столь уж далекие предки. Да как же все это вышло и утряслось за немногие столетия, которые разделяли нас? Не усилиями же редких мудрецов и подвижников! Что могли одиночки?..

Все преобразуется согласно законам социального развития, события движутся поступками людей, вот этих, никаких других. Чего-то мы не успели или не смогли разглядеть в тех толпах, знание исторических закономерностей не наполнилось живым содержанием, мы содрогнулись — и только.

Во многом, как мне кажется, это и предопределило наше решение все и всех изолировать Барьерами.

А ведь если вдуматься, то еще вопрос, кто и от чего должен был содрогнуться. Все предки, начиная с этой девочки из палеолита, вправе были спросить нас: вы-то, умудренные и могучие, вы-то как могли дойти до жизни такой, что уже в который раз поставили под удар само будущее земли?!

На лестнице мое движение затормозилось, ибо с верхней площадки в плотном кольце свиты спускался Горзах. Его круглая костлявая голова мелькала в им же созданном водовороте движения лиц, поверх то и дело просверкивал быстрый, физически ощутимый взгляд его маленьких, глубоко посаженных глаз. Нисходя по ступеням, Горзах одновременно слушал, просматривал бумаги и отдавал распоряжения. Говорил он не повышая голоса, тем не менее его слова легко перекрывали шум. «Понятно, действуйте!.. В этой схеме есть уязвимое звено — вот здесь... Пустяки, человек может все, даже то, чего он не может,— если хочет... Промедление — худшее из решений, отстраняйте тех, кто этого до сих пор не понял!.. Что? Ну, это закон бутерброда; спокойно намазывайте другой кусок, вот и все...»

То, что делал Горзах, было верхом организаторского мастерства. Его мысль с ходу проникала в суть любого вопроса, сверкала, как остро заточенный клинок, мгновенно рубила узелки проблем. Секунда — решение, секунда — решение, так без устали, словно играючи, и непреодолимое вдруг становилось преодолимым, темное просветлялось, сомнительное оказывалось бесспорным, неуверенность сменялась решительностью, каждый словно получал заряд бодрящей энергии. Молодые, вроде меня, смотрели на Горзаха с обожанием.

Я прижался к стене, пропуская свиту великого Стабилизатора, который сейчас, подобно Атланту, удерживал на плечах весь накренившийся мир. Все мы его поддерживали, но на широкие плечи Горзаха, конечно, ложилась наивысшая ответственность.

Проходя, он еще успел кивнуть мне. Трудное это было мгновение, но все обошлось — Горзах ни о чем не догадался и тут же перевел взгляд. Пространство за ним очистилось, я взбежал и свернул в коридор. Пронесло!

Не было дозорного, который после разведки не поспешил бы к Хрустальному глобусу. Ни на что не опираясь, он висел в центре зала, где некогда пировали рыцари и копоть факелов еще темнела на стенах. Мягкий, льющийся изнутри свет выделял все складки материков, все западинки океанских равнин, изгибы хребтов, над которыми прозрачно голубела вода, а к югу и северу, сгущаясь, белели поля вечных льдов. Только при взгляде на Хрустальный шар общее положение дел становилось по-настоящему зримым.

Ко мне, едва я направился к шару, устремился кибер с каким-то

аппетитным блюдом в клешне манипулятора. Многие вот так перекусывали на ходу, но мне сейчас было не до этого, я досадливо отмахнулся, и кибер так же бесшумно, как и возник, исчез в чреве огромного камина.

Облик Хрустального шара мало изменился за последние сутки. Земной шар казался изъязвленным. Ало горели оспины глубоких провалов времени, которых, к счастью, было немного, хотя никто не мог понять, почему. Преобладала желтая, розовая, оранжевая сыпь. Лихорадило все континенты, планету трясло от полюса до полюса.

Я легко отыскал место, где только что побывал. Так, едва заметное желтоватое пятнышко...

— Любуешься?

В дверях, чуть наклонив голову и улыбаясь, стоял Алексей Промыслов, просто Алексей, длинный, нескладный, зеленоглазый, рыжеволосый. Похоже, что никакие события в мире не могли стереть с его продолговатого лица эту слегка ироническую усмешку.

«Мы, рыжие, все такие,— любил он пояснять.— Потому и уцелели в обществе нормальноволосых». И самый близкий друг почему-то не мог назвать его Алешей; он, сколько я его знал, а знал я его с детства, всегда и для всех был Алексеем.

— Что нового? — вырвалось у меня.

— А что может быть нового? — Он рассеянно взглянул на шар. Красноватые у Алексея были глаза, невыспавшиеся, и говорил он, словно позевывая.— Все обычно. Природа жмет на человечество, на нас, теоретиков, жмет Горзах, мы жмем на природу, так все и уподобляется кусающей собственный хвост змее.

— Мало на вас жмет Горзах!

— А ты ему подскажи что-нибудь из опыта прошлого... На хлеб и воду посадить, например. Очень, говорят, способствует медитации, и как раз в духе Горзаха. С него станется...

— Что ты взъелся на Горзаха? Он свое дело знает.

— Кто спорит! Отличный руководитель. Только он человек из другого века.

— Как это?

— А так. Тебе никогда не приходило в голову, что можно родиться не в своем веке? Скажем, Леонардо да Винчи или Роджеру Бэкону куда более соответствовала бы наша эпоха. Ну, а Горзах... — Алексей вяло помахал рукой.— Он прирожденный полководец. Войн нет, нашел себе другое применение. Природовоитель, специалист по кризисным ситуациям. Что, однако, было у нас до сих пор? Микростабилизация отдельных участков геосфер, доосвоение Марса, вакуумполигоны и тому подобная рутина. И вот, наконец, дело по плечу!

Всемирная катастрофа. Тут надо действовать масштабно, решительно, если потребуется, беспощадно, и лучше Горзаха здесь трудно кого-нибудь сыскать. Ум, опыт, воля, энергия, авторитет! Все правильно, все неизбежно, шторм требует беспрекословного повиновения капитану, иначе все пойдем ко дну. Но, милый, тем самым психологически мы скатываемся в далекое прошлое. Вот кто ты теперь?

— Как кто? Дозорный наблюдатель, разведчик.

— Солдат ты, мой милый, солдат. А Горзах — фельдмаршал И я солдат. Ничего другого сейчас быть не может. Но мы-то не привыкли, мы из другого теста. А Горзах знает, кем мы обязаны стать, и лепит нас железной рукой. Опять же все правильно, только восторгаться здесь нечем, а кое-кто уже восторгается Горзахом, видит в нем надежду, оплот, чуть не спасителя. Короче, в нашем сознании ожили и наливаются соком свеженькие пережитки прошлого. Хотя это неизбежно, ликовать мне почему-то не хочется.

— Ты преувеличиваешь. Наша мораль, традиции, воспитание, психосимбиоз...

— Знаю. И тем не менее. Мне здесь видней. Ладно, у тебя-то как?

Я отделался парой общих фраз. Алексей тотчас уловил неладное, но не сказал ничего, наоборот, сменил тему, заговорив о работе своих теоретиков. Им приходилось несладко, ибо если с деятельностью Горзаха связывалась надежда предотвратить худшее, то от теоретиков ожидали кардинального решения. А что они могли сделать за короткий срок? Положим, они быстро выявили связь между последней серией опытов по трансформации космического вакуума и внезапным нарушением структуры времени. Ну а дальше? Каким способом можно было прекратить эти «времятрясения», когда целые куски настоящего проваливались в бездны прошлого, а на их место выпирали совсем другие эпохи?

Действие опередило предвидение. На этом человечество уже много раз обжигалось, и нам даже казалось, что впредь ничего подобного случиться не может. Однако случилось.

Может быть, так, хотя Алексей был несколько иного мнения. Случайную ошибку предвидения он считал глубоко закономерной. Мы всегда окружены неведомым, говорил он. Мы всегда знаем гораздо меньше, чем следовало бы знать. Иначе не может быть, потому что никогда, ни при каких обстоятельствах мы не способны достичь абсолютного, решительно во всех областях знания. Этот краеугольный вывод диалектического материализма так же верен в нашем столетии, как и в девятнадцатом, когда он был впервые сделан. Отсюда следует, что любое движение вперед всегда сопряжено с риском и никакое предвидение не гарантирует полную надежность. А цена ошибок растет. «Чем дальше в лес, тем крупнее волки,— добавлял он, переиначивая старинную пословицу.— А волков

бояться — на печке лежать. Ну, а на печке лежать — бока отлежать. У нас, понимаешь, просто нет выбора».

В глубине души Алексей был пессимисто-оптимистом, сколь ни противоестественно такое сочетание. Пессимистом, потому что не слишком верил в свободу воли и полагал, что обстоятельства повелевают нами с той же жестокостью, с какой давление и температура обращают воду в лед или в пар. Оптимистом же он был потому, что не видел в этой зависимости ничего страшного, ибо «кто предупрежден, тот вооружен» — это во-первых, а во-вторых, условия, в которых мы оказываемся, все более зависят от нашей собственной деятельности. Поэтому не надо быть дураками, только и всего. Логически он тут противоречил сам себе. Он это признавал, но ничуть не смущался, поскольку считал, что всякая новая, прежде неведомая нам истина обязательно парадоксальна, а так как подобных истин должно быть бесконечно много, то без парадоксов и противоречий в рассуждениях не обойтись и не стоит из-за этого нервничать — все объяснится в свое время или несколько позже.

— Вообще,— говорил он, щурясь на глобус,— так ли уж очевидно, что всю эту катавасию вызвали опыты с вакуумом? «После этого» не обязательно «вследствие этого», сие было известно задолго до расцвета наук. Приходится думать над параллельными вариантами. Тебе известно, откуда взялись огневики и что они такое?

— Если бы! — Я махнул рукой.— Но при чем тут огневики?

— Они не вписываются ни в какую картину прошлого Земли. И еще. Хроноклазмы есть, время крошится, а причинность какой была, такой и осталась. Не странно ли? Добавлю, что хроноклазмы... какие-то они все аккуратные.

— И что же?

— Так, небольшая бредовая идея... Помнишь историю Суэты?

Конечно, я ее помнил. Кто же ее не знал? Безжизненная, вполне заурядная планета у Ригеля. Она перестала быть заурядной после того, как исчезла. Совсем. Вторая экспедиция не обнаружила Суэту. Ее не было на орбите, ее не было нигде. Там, где она прежде находилась, осталось лишь облачко пыли, словно планету слегка обдули, прежде чем взять, как это делают с предметом, который слишком залежался на полке.

— Не понимаю, какая тут связь,— сказал я.

— Возможно, никакой.— Алексей стоял, покачиваясь на носках, и рассматривал светящийся хрусталь земного шара, словно прикидывая, можно ли его обернуть платочком и сунуть в карман.— Но, видишь ли, я кое-что сопоставил. Исчезало ли что-нибудь и в Солнечной системе? Да. Мы за последнее время распылили не один астероид.

— Верно.— Я попытался уловить дальнейший ход его мысли.—

Мы виртуализируем астероиды, а кто-то подобным образом проэкспериментировал с Сузтой? Логично, только ведь это давняя гипотеза.

— Есть и кое-что новое...— В немигающих глазах Алексея дрожал теплый отсвет Хрустального шара.— Понимаешь, те опыты с вакуумом, которые мы сочли первопричиной хроноклазмов, в них, строго говоря, не было ничего принципиально нового. Мы трижды все перепроверили — ни-че-го! Рутина, стандарт, обыкновенность. Откуда же такие последствия?

— Чашу переполняет капля...

— Ты дослушай! Гибель Сузты, как и полагается, вызвала в вакууме своего рода ударную волну. Так? Так. Рассуждаем дальше. Волна возмущений, само собой, катится со скоростью света, тогда как наши звездолеты опережают свет. В результате мы заранее узнаем о гибели Сузты и обретаем возможность сложить дважды два. Но не делаем этого, ведь все произошло так далеко от нас. Что нам Ригель, это же за тридевять земель! А ударная волна меж тем приближается. Все как в задачке для твоих детишек. Расстояние до Ригеля известно, скорость известна, время исчезновения Сузты можно прикинуть; спрашивается, когда примерно волна должна была докатиться до нас? Прикинь-ка в уме...

Я прикинул, и мне стало не по себе. Получалось, что волна возмущения накрыла нас где-то перед катастрофой!

— Ты уверен?!

Алексей слабо пожал плечами.

— Пока я уверен в одном. До сих пор мы жили и действовали так, будто кроме нас во Вселенной нет никого. Мы, как последние идиоты, убедили себя, что контакт между цивилизациями ограничен посылкой сигналов или материальных тел. А он может быть косвенным, опосредованным, вот в чем штука... Боюсь, что этого до поры до времени не учитывают и другие цивилизации. Слепота космического эгоцентризма. Делаю, как мне удобно, что хочу, то и ворочу, о других и мысли нет... так поступаем мы, и ту же ошибку, возможно, допустили те, у Ригеля. С той разницей, что их эксперименты пограндиозней. Они, надо думать, приняли должные — с их точки зрения должные! — меры предосторожности и бабахнули подальше от своего дома. А тряхнуло нас.

— Но почему же тогда...

— Почему пострадали именно мы? Да потому, очевидно, что больше нигде не экспериментируют с вакуумом. В установках что-то, вполне возможно, вошло в резонанс, усилило слабые колебания — и пошла цепная реакция!

— Слушай...— Волнение сорвало меня с места, ноги сами понесли вокруг Хрустального шара.— Слушай, ведь это очень се-

рьезно! Тут цепь косвенных доказательств... Ты говорил с Горзахом?

Взгляд Алексея стал сонным. Сколько лет я его знал, а все равно он частенько ставил меня в тупик. Только что гневался, доискивался до первопричин, объяснял,— и вот равнодушный взгляд из-под полуприкрытых век, откровенное выражение скуки, едва сдерживаемая зевота.

— Все знают те, кому это необходимо знать,— пробормотал он.— Все может оказаться простым совпадением... Или чем-то совсем иным. Огневики-то почему и откуда? Ты с ними сталкиваешься, пригляделся бы. Может, они того, посланы... Засланы...

Он качнул рукой и, сутулясь, побрел к двери. Я не стал его удерживать, это было бесполезно, уж таков Алексей. При всех обстоятельствах он чувствовал себя свободным, как ветер, возможно, это-то и позволяло ему так раскованно мыслить.

Напоследок он все-таки обернулся.

— Кстати, уверен ли ты, что Горзаху моя идея придется по вкусу?

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Если Алексей хотел меня сразить, то он своего добился. Казалось, под черепом, сопя и толкаясь, зашевелилась добрая семейка ежей, которым срочно потребовалось свести счеты друг с другом.

Это было уже чересчур, мне вполне хватило бы и утренних переживаний. Настолько чересчур, что я бессмысленно воззрился на закопченные стены, которые, надо полагать, видывали и блеск оружия, и свадебные пиры, и придворные интриги, а теперь равнодушно смотрели на, может быть, и неглупого, но вконец обалдевшего парня в тяжелой амуниции хроноразведчика. Сколько подобных парней, должно быть, стояло в этом темном и обширном зале!

«Хватит!» — прикрикнул я на себя. Алексей ни секунды не тратит на пустое, ничего не говорит просто так, но часто впадает в ошибку, предполагая в собеседнике равноценный ум, и потому смысл его слов остается темным. Все, как в построениях иного гениального математика: «Из данного преобразования со всей очевидностью вытекает, что...» — и все промежуточное, для него и в самом деле очевидное, пропущено, а ты изволь прыгать через пропасть. Ну что же, ну что ж... Время есть, сейчас все спокойно обдумаем, авось, прояснится.

Ничего я не успел обдумать.

— Конечно, где он еще может быть?

Этот голос я бы узнал из тысячи, и, хотя судьба свела меня с Феликсом Текао совсем недавно, на душе сразу полегчало. Карие, с золотистым ободком, глаза Феликса смотрели мягко, даже застенчиво, но я-то знал, сколь неполно это впечатление. Та сила,

которую излучал Горзах, была и в моем командире, только в его присутствии вас не пронизывал ток нервной энергии. При знакомстве с Феликсом почему-то ни у кого не возникало вопроса, умен ли этот человек, красив ли, добр; иное поглощало внимание — редкость характера. Ведь характер потому легко прочитывается, что душевные качества сочетаются не как попало и наличие одного предполагает присутствие другого, либо родственного, либо, наоборот, полярного свойства. Но есть маловероятные, даже, казалось бы, запрещенные сцепления; вот они-то как раз и составляли склад Феликса. Глубокая и постоянная самоуглубленность противоречит открытости, рационализм ума враждебен художественной эмоциональности, всегдашняя задумчивость препятствует решительности. А в Феликсе все это гармонировало отнюдь не по закону полярности! В прозрачной капле росы переливаются все краски мира; все понятно и просто, когда есть солнце. Но видеть такое при любом освещении?

Впрочем, в Феликсе ничто не блистало ярко. Физически, возможно и психологически, в нем смешались едва ли не все человеческие расы, над его обликом потрудились многие нации, и невозможно было сказать, кто он — европеец, азиат или полинезнец. Так же нелегко раскрывался и его духовный облик. Задумчивый и рассеянный взгляд карих, с золотинкою, глаз, тонкие, кажущиеся хрупкими плечи — попробуй угадать в таком лидера, бойца, командира! И все-таки это чувствовалось. Настолько, что едва наш отряд сформировался и оставалось выдвинуть командира, как мы дружно избрали Феликса, хотя он не был ни космонавтом, ни учителем, ни тем более стабилизатором; он был уже известным художником-видеопластом.

Тем не менее мы не ошиблись.

— Общий сбор,— сказал Феликс.— Ты как?

— Разумеется!

— Тебе положен отдых.

— Это не важно, я не устал.

Иногда голос значительней слов. Если бы я мог воспроизвести не только слова Феликса, а их звучание, мне уже нечего было бы пояснять. Еще минуту назад мой ответ был бы ложью. Но не теперь. Не знаю, откуда взялись силы, только призыв словно открыл какие-то шлюзы, я подтянулся, я снова был бодр и свеж, меня охватила радость, что во мне нуждаются, что все нелегкие размышления можно отложить, что с этой минуты я уже не принадлежу себе, мое дело действовать, как скажут, действовать хорошо, как надо, как я уже привык, не в одиночку — и это прекрасно. Трубили трубы, под окном бил копытами горячий конь, неважно, что никакого коня не было, да и быть не могло, важно, что трубы трубили сбор.

— Я готов!

— Не торопись. Это упреждающий поиск.

— Что? — У меня пересохло горло.— Огневики?

— Они самые.

— Ясно,— сказал я.— Тем более...

В действительности ничего ясного не было, скорее наоборот. Огневики еще не возникли, им еще только предстояло возникнуть, пока существовала лишь уверенность Феликса, что так будет. Уверенность, строго говоря, ничем не обоснованная. Просто у Феликса на них чутье. Сверхинтуиция. Так бывало не всегда, но достаточно часто: он предугадывал время и район их появления. Предчувствовал хроноклазмы, которые должны были выбросить огневиков. Как — этого он и сам не мог объяснить. Многих это поражало, многих, только не Алексея, который находил эту способность Феликса весьма интересной, безусловно полезной, но, в общем, тривиальной. Будущее, говорил Алексей, всегда отбрасывает тени, всегда дает о себе знать, это давно известно. В принципе, добавлял он, все предельно просто; хотя наш мозг в силу чисто эволюционных причин настроен преимущественно на восприятие настоящего, есть люди более чуткие, особенно среди художников. Они-то подчас и улавливают для всех еще незримые тени будущего. Угадывают же пчелы по осени, какой будет зима! А разве их информационный аппарат сравним с нашим? От человека надо ждать гораздо большего, потому что его мозг неизмеримо сложней. И точка, и все... Нет, не все. Дар Феликса бесценен, в нем, быть может, таится самый важный для нас секрет. Так почему, черт побери, вы даете Феликсу рисковать собой?! Это варварство, дичь!

Однажды он это сказал при Феликсе, и тот ему ответил так, что Алексей — Алексей! — смутился. С тех пор он обходил Феликса стороной.

Меж тем, если кто-нибудь что-то и знал об огневиках, то именно Феликс.

— Я не стал связываться с тобой по информу,— сказал он, когда мы двинулись по коридору.— Не люблю этих крикалок. Ты что-то хотел обсудить наедине, не так ли?

Я невольно замедлил шаг. Проницательность Феликса меня не удивила и не обескуражила; уж если незнакомый диспетчер что-то уловил в моем голосе, то друг тем более мог почувствовать неладное.

Именно Феликс был тем человеком, которому я мог, даже обязан был довериться, ему я и хотел рассказать о своем проступке, рассказал бы, наверное, если бы не известие об огневиках. Тут у меня все прочее вышибло из мыслей. А у него нет. Это меня встревожило. Значит, мелькнула догадка, дело серьезней, чем я думаю. Нехитро ощутить беспокойство друга и поспешить к нему, когда ты

свободен, и совсем другое, готовясь к схватке, пойти его разыскивать, лишь бы поговорить с ним наедине.

Сбивчиво я пересказал ему всю историю. Феликс, не перебивая, слушал.

— А что мне оставалось?..— выкрикнул я под конец.— Не было, понимаешь, не было другой возможности спасти эту девочку...

Феликс приостановился.

— И это все?

— Разумеется!

— Тогда почему это тебя тяготит?

— Как почему? — Мне показалось, что я ослышался.— Ведь я нарушил приказ!

— И правильно сделал,— невозмутимо ответил Феликс.— Если приказ допускает гибель человека, он должен быть нарушен.

— Но его утвердило человечество!

— Тем самым отменив совесть? — Золотистые глаза Феликса потемнели.— Сообрази, о чем говоришь! Человечество думает, обязано думать о самосохранении, так. Тут надличностная забота, иной счет, в этих координатах приказ Горзаха верен, и мы обязаны его соблюдать. Но если одновременно не беспокоиться о судьбе каждого отдельного человека, во что тогда выродится забота о миллиардах? В бесчеловечность!

Лицо Феликса стало жестким.

— У того же Горзаха,— добавил он уже спокойно,— нет возможности думать о каждом в отдельности. У нас таких возможностей больше. Вообще: если кто-то может спасти человека, но не делает этого, кто он тогда? Убийца.

Он энергично тряхнул головой. Его волосы разметались, как от ветра, звук шагов чеканил каждое слово, в последних мне даже послышался звон брошенного в ножны меча. Но разве перед ним был противник?

— Да,— проговорил он, упреждая мою догадку.— Наихудший наш враг — мы сами. Не только ветряные мельницы могут прикинуться великанами, но и великаны — мельницами, потому что мы все, к счастью или к несчастью, немножечко донкихоты. Уж я-то знаю, как это бывает с призраками собственного воображения... Чудак!

Он обнял меня на ходу. Наверное, он чувствовал гораздо больше того, что мог и хотел сказать. Ход сузился, рука Феликса упала. Где-то над бойницей, мимо которой мы проходили, пищали ласточки, очевидно, в расшатанной кладке стен было их гнездо. Стертые ступени вывели нас к башне, где некогда коротали время дозорные замка. При нашем приближении массивная дверь распахнулась, и я увидел всех наших ребят.

О, они подготовили встречу! Давно замечено, что ожидание

опасности подстегивает грубоватый юмор. При виде Феликса все вскочили, изображая выкативших грудь служак, бравых солдатушек и прочих удальцов-молодцов. Раскатилась выбитая ложками по днищу тарелок дробь. «Смир-р-рна! — рявкнул чей-то бас.— Отец-командир идет! На кра-ул!» Гигант Нгомо даже попытался щелкнуть каблуками, только у него не получилось, видимо, тут был свой давно утерянный секрет.

— Вольно! — скомандовал Феликс и так живо изобразил в ответ надутого спесью генерала, что грянул хохот.— Все сыты, преисполнены долга,— и как с боеприпасами?

— Братцы,— сказал я умоляюще.— Нет ли чего поесть?

Сам не знаю, почему я это сказал. Есть мне, правда, хотелось, но, очевидно, дело было не только в еде, иначе я давно воспользовался бы услугами кибера.

Ко мне сразу со всех сторон потянулись руки. Руки, а не захваты манипуляторов. На огромном дубовом столе мигом очутились хлеб, помидоры, сыр. Я ел, надо мной подшучивали, я, как мог, отбивался и чувствовал себя так, словно не было ни горя утрат, ни бессонной ночи, ни загадок, которые мне задал Алексей, ни близкой опасности, ничего. Это не было изменой памяти, нет. Посреди лютой стужи, которая морозила сердца тревогой, нас грел костер братства, его незримый отблеск играл на лицах, и надежней этого тепла не было ничего. Он был обещанием. Обещанием, что все изменится к лучшему, что иначе не может быть, когда вокруг столько друзей, столько сильных умов и рук, и так везде, на всей планете. Что нам разверзшийся ад! Мы молоды, мы крепки, мы все одолеем.

Как бы двойным зрением вижу я тесную караулку, узкие просветы окон, потертый кирпич стен, заваленный оружием и снаряжением дубовый, на приземистых ножках, стол, деловую сумятицу вокруг аппаратуры, проворно нарезающие ветчину и хлеб руки Жанны, всех, с кем меня свела судьба. Мы смеемся непритязательным шуткам, не знаем, что будет с нами завтра, каждый готов выложиться без остатка, все былые заботы отпали, осталось главное — жизнь, товарищество, хлеб. Неуверенность в будущем обострила миг настоящего, все стало примитивным, зато ярким, как никогда.

На краю смерти — иллюзия бессмертия. За маской веселья — горе и ярость, которая ищет выхода. А где разрядка? Трудно возненавидеть природу, с хроноклазмом не схватишься врукопашную, проблеме не снесешь голову. Всю неистраченную ярость можно обрушить лишь на огневиков. Ожесточение и усталость сузили нас, боя мы ждем, как освобождения, он пугает нас своей опасностью и все же пьянит. Наконец-то конкретный враг! Так мы к нему относимся, не можем не относиться. Все просто и ясно: или он тебя или ты его. Иное — в сторону! Редкая свобода безмыслия, и, как

странно, она нам по душе, точно и не было веков цивилизации. То есть, конечно, былая культура не исчезла совсем, наедине каждый размышляет о многом, но таких минут все меньше. Стоит нам собраться по сигналу тревоги, как мы становимся тем, чем и обязаны быть,— мечом человечества. А меч не должен знать вопросов, сомнений и колебаний. И тот, кто его опускает, тоже. Сомнения и колебания могут быть до или после, но не во время удара. К несчастью, у человечества не было никакого «до», разить пришлось сразу.

Мелькают проворные руки Жанны, постукивает нож, мой пример оказался заразительным, всех вдруг одолел голод, мы едим, говорим и смеемся, это веселье на тонком льду, мы длим эту минуту, упиваемся ею, но ход событий неумолим, одно слово Феликса «подъем!» — и все обрывается.

Теперь слышен лишь топот башмаков, лязг в общем-то бесполезного оружия, от стен веет внезапным холодом, он уже внутри нас самих.

Все быстро, четко, привычно, говорить больше не о чем, мы понимаем друг друга без слов. Трудно поверить, что еще недавно никто никого не знал, что Феликса волновала красота мира, Нгомо лечил детей, а Жанна колдовала над ароматом «снежных яблок», чей вкус, как говорят, обещал затмить все ранее известное. Мы взбегаем наверх и строем планируем с башни. Наши реалеты ждут нас за парком. Внизу мелькает пруд, который так плотно охвачен густыми ветлами, что вода в нем всегда кажется темной. Сейчас небо хмурится, вода черна и по-осеннему усыпана желтыми листьями. Откуда их нанесло? Неужели оттуда, где я был утром?

Возможно. Теперь все возможно.

Все по местам. Мы стартуем в зенит. Машины клином рассекают облачность, и через четверть часа мы оказываемся над непогодой, которая быстро движется к замку.

Непогода — это мягко сказано. То, что мы видим сверху, вряд ли даже соответствует урагану. Это иное. Ведь что бы раньше ни происходило возле земли, в высях стратосферы, где мы летаем, всегда был хрустальный покой ясного солнца. Теперь и эти небеса не узнать.

Мы летим, а снизу, теснясь, напирают оплетенные молниями громады туч. Их мрак охвачен жгучим блеском, порой он разверзается палящим, как из жерла вулкана, огнем, тогда все мчится на нас клубящейся жутью атомного взрыва, грозного своей тьмой и ленивой неспешностью, с какой надвигаются эти сверкающие молниями горы мрака. Реалет колышет, как бумажный кораблик на волнах, подернутое фиолетовой дымкой солнце глядит с зенита воспаленным глазом циклопа. Кажется, еще немного — оно не выдержит, лопнет, прорвется, все прожжет и испепелит. Либо, наоборот, мутнея,

угаснет тлеющим угольком, и на нас опустится бесконечная ночь. Хуже всего, что так может быть; никто же не знает, затронут ли хроноклазмы Солнце и каким огнем оно вспыхнет тогда. Вспыхнет или, напротив, канет в дозвездную тьму.

Точно сам гнев природы глядит на нас сквозь иллюминаторы, а мы, притихнув, глядим на него. Сейчас нам явлено то, что мы предпочитаем утаивать и скрывать друг от друга,— наше ничтожество перед безумием природы. Вот она, правда. Вот к чему мы пришли после стольких побед, после обуздания всех бурь и землетрясений. Мы снова отброшены назад, беззащитны, как у порога пещер, если не хуже...

Ярость стихий завораживает, я с трудом отвожу взгляд. Лица серы какой-то минеральной пепельностью и все повернуты к иллюминаторам. Нет, не все. Жанна вяжет. Вызовом всему мелькают спицы, их короткий взблеск бросает на упрямое девчоночье лицо острые, как от бритвы, отсветы. Губы Жанны чуть шевелятся, узкие, обычно насмешливые глаза напряженно следят за движением пальцев. Гневу природы она противопоставляет свое уютное и домашнее занятие. Так ведет себя едва ли не самая неукротимая из нас, девушка, которая пришла к нам в отряд, села на пол и заявила, что выставить ее можно только силой. Но и тогда она все равно вернется, так что нам лучше принять ее сразу.

Теперь наша Жанна д'Арк вяжет свитер, легко догадаться, кому. Вот только знает ли об этом Феликс? Истово мелькают спицы, бросая на худое лицо быстрые отсветы-порезы.

Человек создан для борьбы, возможно, и так. Но борется он, чтобы обрести покой. Правда, когда покой затягивается, нам снова хочется бурь и побед.

Подняв голову, Феликс обвел всех нас долгим взглядом. Лицо Жанны встрепенулось. Нгомо, чьи стиснутые в кулак руки каменели на подлокотниках, встретив взгляд Феликса, яростно, словно его душили, мотнул головой. Он потянулся к карману, в его руках мелькнул стереоролл; с тем же яростным усилием Нгомо вдавил клавишу, и грянула музыка, так внезапно, что все вздрогнули.

Она гремела, наполняя собой раскачивающийся реалет, подавляя все прочие звуки. «Память памяти» Снегина. Я не любил эту вещь, считая, что музыка прошлого хороша сама по себе и незачем ее переосмысливать, тревожа тени великих классиков. Но сейчас, в фиолетовом отсвете смятенного неба, все звучало иначе. У меня даже перехватило дыхание. Споря с тем, что было вокруг, музыка утверждала свое, вела ритм тысячелетий. Рядом, в нас, гармонировали безмятежные пасторали и боевые звуки тамтамов, над тревожной поступью Седьмой симфонии Шостаковича небесной зарей всплывали мелодии Баха, бетховенская патетика странно и удивительно слива-

лась с откровениями «Звездного хода» Магасапсайя, все крепло, мужало, возвышалось памятью дерзких, мятежных, неустроенных веков с их ужасом кровавых бнтв и устремлением к надвечному, падением в тоску н трепетным порывом к звездам всечеловечности. Все великое в музыке было теперь с нами, здесь, сейчас, в это мгновенне готовой разразиться н все поглотнть катастрофы.

Все подалнсь вперед, казалось, ожил сам воздух. Порывисто, чуть не брезгливо, Жанна отбросила вязанье. Нгомо еще выше поднял свой стереоролл, такой крохотный в его черной лапище. Сквозь зыбкий свет и подкатывающуюся мглу нас мчала упругая скорость реалета. Лишь Фелнкса не затронуло общее движение. Его приннкшее к иллюминатору лнцо теперь было повернуто ко мне в профнль. Слышал лн он музыку, ощущал ли ее, как мы? Наверное. И все же он был далеко от нас. Не отрываясь и не мигая, он всматривался в ужас неба, какого еще не видывала земля.

Он был с ним наедине. Он вбирал то, от чего мы отводнлн взгляд. Неподвнжный и бледный, он сам был подобен стихии, так страшно она его переполняла, так он с ней спорил, так его дух торжествовал над ней. Или, наоборот, прнмирялся? Я даже похолодел. Так вот что значит быть художннком, глазом человечества! Пропустнть через себя даже то, что способно всех погубить, не забыть нн одной краскн, ни одного переживания, вчувствоваться в гнев природы, как в свой собственный, стать им.

Стать нм... Да. Все пропустить через себя, все! Вобрать. Уподобиться. Пережнть. Быть может, залюбоваться тем последннм взмахом косы, которую занесла над тобою смерть, во всяком случае запомнить, как блещет эта сталь... И не закрыть при этом глаза.

Наоборот! Во взгляде Феликса, каким он смотрел, читался вызов. Ты, безмозглая, готовая затушнть солнце, собнраешься уничтожнть меня? А я тем временем изучаю тебя, проникаюсь тобой, ненавнжу тебя, восхнщаюсь тобой, ты уже в моей памяти, и когда ты нсчезнешь, лишь я могу воссоздать твой образ. Ты разрушаешь, я созидаю, ты несешь мне смерть, я дарую тебе бессмертне. Нет, мы не равны и никогда не будем равны...

Музыка смолкла. Словно в ответ последнему аккорду, просияло яркое свободное солнце. Черно-огненные тучи внизу стали понемногу рассасываться, то лн выдохлнсь сами по себе, то лн их наконец одолели метеоустановки. Реалет перестало колыхать, под нами приоткрылась земля, все задвигались, шумно заговорили. Феликс, жмурясь и протирая глаза, прошел к пилотам.

Сколь велика власть наглядного! Стоило небу утихнуть, как рассеялось и ощущенне неотвратимой беды. А ведь погодные катаклизмы были далеко не худшим злом, современным поселкам и зданиям они вообще не могли причинить серьезного ущерба. Но,

вглядываясь в подступающий к солнцу мрак, вряд ли кто-нибудь из нас думал, скажем, о древних вирусах и микробах, которые, попав в наше время, возможно, несли с собой куда большую угрозу. Эту опасность устраняли где-то там, в тишине лабораторий, она не имела ни вида, ни цвета, редко кто вспоминал о ней. Нас тревожило осязаемое и конкретное. Дымящаяся разломами хроноклазмов земля. Погода. Огневики. Люди прошлого. Потопы. Из морских глубин выныривали «атлантиды», и тогда на побережья обрушивались цунами. Мобильным постройкам нашего века это опять же мало чем грозило, получив предупреждение, их свертывали и перебрасывали в глубь континента. Но что было делать с бережно хранимыми кварталами старых городов, с архитектурными памятниками Лиссабона и Токио, Бомбея и Нью-Йорка? Участившиеся землетрясения нередко удавалось подавить в зародыше, бури — ослабить, но океанским волнам мы могли противопоставить лишь дамбы и силовые поля, которыми нельзя было перекрыть все.

Над побережьем, куда наконец вырвалось звено наших реалетов, не оказалось туч, и, пролетая над одним из старых городов, мы все увидели воочию. Все снова притихли, когда эта панорама раскрылась. На земле, в спешке, которая была заметна и с воздуха, машины и люди возводили дамбы, ставили заслоны силовых полей, которые мерцали вдали радужными отливами. В топкой грязи предместий муравьями копошились киберы, над ними мошками вились люди. Город уже подвергся атаке, кое-где вода сверкала прямо на улицах. Простертый от белых зданий набережной простор океана был безмятежен, как в добрые старые времена, но его искрящаяся солнцем гладь в любой час могла вздыбиться, рушась на эти дамбы, на эти здания, на всех, кто этому обвалу противостоял. Люди, конечно, успели бы отлететь, но каково им было бы увидеть мутный водоворот там, где был город, который они не смогли защитить? Нет, что ни говори, наша работа по сравнению с этой была благодатью, хотя и считалось, что именно мы находимся на переднем крае.

Реалет качнуло в крутом развороте, море, кренясь, отвалило назад. Строй грузовых машин в точности повторил маневр.

— К оружию, граждане, к оружию! — объявляясь в дверях пилотской, провозгласил Феликс.— Спутник передал засечку, идем на сближение!

— Сколько их? — быстро спросил Нгомо.

— Врагов не считают, а уничтожают.— Луч солнца косо перечеркнул лицо Феликса, его искрящиеся глаза смотрели возбужденно и весело.— По штуке на боевую машину, довольны?

— Ого! — воскликнул кто-то.

— И мы, как обычно, первые? — уточнил Нгомо.

— Естественно, другие не успеют, мы ближе всех.

— Значит, в одиночку с копьем на льва,— задумчиво подытожил Нгомо и, еще немного подумав, кивнул: — Можно.

— Нужно! — звонко выкрикнула Жанна.— Феликс прав, врагов не считают, а уничтожают!

— Это не я,— мягко поправил ее Феликс.— Это было сказано много столетий назад.

— Тем более!

Феликс неодобрительно покачал головой, Жанна вспыхнула, не отводя от него глаз. Зря она, конечно, все это говорила, вернее, так говорила, дело предстояло серьезное. Каждый понимал, чего стоит промедление, и каждому было ясно, что это такое — схватка один на один. С копьем на льва, вот именно, с копьем на льва... Мало-помалу шум голосов затих, каждому хотелось остаться наедине и внутренне приготовиться к тому, что нам всем предстояло.

Феликс уселся рядом со мной и, не торопясь, развернул на коленях карту. Тем временем гул моторов стал резче, от призрачно мерцающих плоскостей реалета потекли голубоватые струи уплотненного воздуха, земля внизу заскользила быстрей.

Задумчиво, по-детски постукивая светокарандашом по губам, Феликс долго вглядывался в испещренную какими-то отметками карту, затем решительно провел длинную черту.

— Странно,— пробормотал он.— Что же их ведет по ниточке?

Он сказал это, видимо, для себя, так тихо, что услышал лишь я один.

— Ты о чем? — В моей памяти ожил вопрос Алексея.

— Об этом.— Феликс щелкнул карандашом по карте.— Огневики всегда движутся по прямой. Всегда.

Я кивнул, это было всем известно, такая особенность перемещения огневиков помогала с ними бороться.

— Мы сразу их давим, сразу,— так же задумчиво проговорил Феликс.— Никто не спрашивал себя, что было бы, если бы им дали... погулять.

Карандаш рассек воздух.

— Погулять! — Я покрутил головой.— Об этом страшно подумать.

— Верно. Но так же верно другое. Сегодня ночью мне приснился гадостный сон. Будто меня не то допрашивают, не то экзаменуют рыжие, похожие почему-то на спрутов, только безглазые, огневики,— он поморщился.— Впрочем, не это важно. Но там был один любопытный вопросик... Словом, проснувшись, я сделал одну простую вещь. Я проэкстраполировал движение всех, какие были, огневиков. Вышло что-то несуразное: на линии их движения позже всегда возникали хроноклазмы.

— Ничего себе! — Я присвистнул.— И как это понимать?

— Не знаю. Мы уничтожаем огневиков, но мы их не понимаем. Не по-ни-маем! — Феликс ударил кулаком по колену.— Что они такое? Откуда берутся? Их выносят хроноклазмы, но лишь в одном случае из двух. Что кроется за этой статистикой? Чем больше огневиков, тем слабее хроноклазм. О чем говорит эта закономерность? Почему,— может быть, это самое главное,— огневики всегда устремляются к будущим очагам? Тысяча и одно «почему», а мы знай себе палим из мортир.

— У нас нет выбора,— сказал я.

— Это у камня нет выбора — падать ему или лежать.

— Ты думаешь?

— Я ищу.

— И?

— Теоретик лучше понимает камень, пчелу и цветок, когда от них удаляется. У меня все наоборот. Чем я ближе к огневикам, тем, кажется, лучше их понимаю. Но с ними приходится драться, вот в чем беда! А чтобы драться, надо озлобиться.

— Еще бы!

— И это тупик. Мы все смотрим сквозь призму своих представлений и своих эмоций. Двойной светофильтр! Вся наша умственная работа сводится к попытке сорвать эти очки и взглянуть на мир непредвзято. Иногда это почти удается. Есть во мне сейчас ненависть, злоба?

Он вопросительно посмотрел на меня.

— Нет.— Я покачал головой.— Нисколько.

— Возможно. Зато есть предвзятость. Эх, хоть на минуту почувствовать бы себя огневиком!

Он говорил вполне серьезно. Я содрогнулся.

Его лицо замкнулось, напомнив мне тот миг, когда он вглядывался в бурю, только сейчас взгляд был обращен внутрь, к себе, то золотистое, что было в глазах Феликса, потухло и потемнело. О чем он думал в эту минуту?

Но это длилось недолго. Лицо Феликса вздрогнуло, как от толчка, он поспешно взглянул на наручный курсограф.

— Бэдленд,— донесся до моего слуха удовлетворенный голос Нгомо.— Удачное место выбрали огневики, дурной земли не жалко.

— Всякую жалко,— возразила Жанна.

Я не прислушивался к их спору. Руки сами искали занятия, я вынул, разобрал и снова собрал разрядник. Взгляд же следил за бурой пустыней внизу. «И вот нашли большое поле, есть разгуляться где на воле...» — с навязчивостью молитвы всплыли в памяти с детства знакомые строчки стихов. С бесцветного неба наплыла свинцовая мгла, степь потемнела, заволоклась. Рокот двигателей притих,

тело на миг сделалось невесомым, реалет камнем пошел вниз.

Нас встретила тишина безветрия. Небо было мглистым и каким-то плоским, вдали оно незаметно смыкалось с такой же плоской и безвидной землей, только степь была побурей, она остро пахла пылью, и на ней всюду топорщились колючки. Однообразие нарушала лишь глинистая, с неровными скатами, ложбина; на дне ее поодаль пасся меланхоличный верблюд, которому, видимо, так надоела всякая, в том числе сыплющаяся с неба техника, что наше прибытие он не удостоил вниманием.

Жанна умчалась прогонять верблюда, а мы занялись разгрузкой севших за нами машин. Каждый украдкой поглядывал на восток, откуда должны были появиться огневики и где теперь Жанна сражалась с двугорбым упрямцем, который был явно рассержен тем, что ему не дают спокойно отобедать лакомыми колючками. Пока только эти две фигуры маячили на горизонте.

Мы должны были успеть, Феликс не мог ошибиться в расчете времени встречи, однако меня познабливало, я тоже поглядывал на восток, делал все проворно и механически, ибо мыслями был уже там, где находился враг. Барьеры останавливали людей и животных, но не огневиков; под их натиском силовые поля лопались, как пленки мыльных пузырей. Единственное, что достоверно было известно об огневиках, так это то, что они — сила. Иногда они принимали облик, схожий с обликом живого существа, отчего и возникла гипотеза, что до биологической жизни на Земле развивалась какая-то иная, плазменная, нам неведомая, может быть, протопланетная или даже звездная. Но все эти догадки немногого стоили, так как чаще всего огневики походили лишь на самих себя, то есть вообще ни на что. Ничего не удавалось понять, да и времени не оставалось, чтобы присмотреться,— огневики перли, сметая все, леса вспыхивали, реки вскипали при одном лишь их приближении. Их надо было сразу остановить, иначе всю планету испещрили бы шрамы пожарищ. Выход был только один — немедленное уничтожение.

Легко сказать! Настоящего оружия против огневиков, в сущности, не было. Тоже парадокс. Уж если в прошлом что совершенствовалось, так это оружие. Но когда с войнами удалось покончить, оно стало ненужным. И мы мало что могли противопоставить огневикам. То есть, конечно, спешно изготовленные и опробованные термоядерные бомбы разносили их в клочья. Но это было лекарство худшее, чем сама болезнь, нам хватало и того генетического ущерба, который испытания ядерного оружия нанесли в свое время человеку и биосфере,— последствия давали знать до сих пор. Даже в нашем отряде был человек, которого они коснулись: Жанна. Да, она перенесла геноперацию еще тогда, когда ее сердце билось под сердцем матери.

Оставались лишь те средства разрушения, которые применялись в горных работах и в космосе. Но ими трудно было одолеть этих тварей (если это действительно были твари). Сами сеющие огонь, чудовища стойко противостояли нашей технике. Конечно, они были уязвимы, конечно, гибли, но какая мощь, какая невероятная живучесть и какой напор! Земля содрогалась, когда они шли.

А Алексей еще просил к ним приглядеться...

Все эмиттеры-«черепахи» уже съехали по откидным пандусам, развернулись цепью, все скуггеры взмыли вверх и рассыпались строем. Каждый из нас занял свое место у борта машины. Последней примчалась раскрасневшаяся Жанна, которая, наконец, справилась с верблюдом, прогнала упрямца далеко в степь и теперь на ходу оттирала с куртки зеленоватую жижу его презрительных плевков. Мы с трудом подавили улыбки, Феликс погрозил ей. В ответ она с вызовом вскинула голову и королевской походкой прошествовала к «черепахе». «Смейтесь, смейтесь,— говорил ее весело-дерзкий взгляд.— Сколько мужчин — и хоть бы один... По-вашему, раз скотина, значит, гибни?!»

Феликс, крякнув, снова уткнулся в свой визор, по которому со спутников нас информировали о перемещении огневиков.

Потянуло ветром, у наших ног закрутилась пыль. Было не по себе вот так стоять под мглистым небом на плоской невзрачной земле, зная, что ничего этого скоро не будет.

— По машинам! — взмахнув рукой, закричал Феликс.

Последнее, что я увидел: Жанна, белкой скользнувшая на броню, Нгомо, чье посеревшее лицо оскалилось улыбкой (он помахал мне), Феликс, который, широко расставив ноги, продолжал стоять и смотрел, как мы исчезаем в люках.

Все, люк захлопнулся.

Теперь я на все глядел сквозь перекрестье прицела. Вокруг расстилалась та же мирная степь, слева и справа горбились другие «черепахи», над нами уже дрожал столб перегретого воздуха. В щитках эмиттера уныло посвистывал ветер. Едва не касаясь мглистой облачности, в небе застыли скуггеры, похожие на диковинных крылатых ежей.

Для разминки я несколько раз взял их на прицел. Повинуясь взгляду, черное перекрестье скользило по глади ветрового спектролита и замирало точно на скуггере. Все действовало исправно. За доли секунды я мог поразить все, что находилось в пределе видимости, хоть крохотный бугорок на горизонте, хоть всю степь сразу. Тем не менее меня била дрожь. По опыту я знал, что это пройдет, но заранее справиться с ознобом мне ни разу не удавалось.

О приближении огневиков возвестило облачко. Воздушное и

невинное, оно возникло на горизонте и тут же вытянулось строчкой белых барашков, словно там, вдали, парил и мчался допотопный паровоз. Гряда облаков стала быстро заволакиваться рыжеватой пылью, расти, и все это далекое, мутное, теперь уже дышащее, как хриплая громоносная труба, покатилось на нас.

Я включил инфразвуковую защиту и стронул «черепаху». Степь поплыла, колыхнулась, тесная коробка машины наполнилась сдержанным гулом мощных двигателей.

— Павел! — В наушниках плеснулся радостно-возбужденный голос Феликса.— Слушай, я, кажется, догадался! Сообразил, что такое огневики!

— Ну? — сиденье подкинуло меня.— Ну?..

— Эх, некогда объяснять! Олухи мы, олухи... В энергии, дело в энергии! Ладно, извини, не утерпел. Поздно, действуй, все!

В наушниках щелкнуло.

Я увеличил скорость, размышлять было некогда. Черт побери, молодчина Феликс! Все будет хорошо, все и так прекрасно, если сначала Алексей, затем Феликс... Надо только побыстрей со всем этим там, на горизонте, управиться.

Там все уже было клубящимся хаосом и мутью сотен смерчей. Мы разворачивались наперерез. Инфралокатор наконец выделил семь тепловых, в разбросе друг от друга, очагов, движением взгляда я тут же перевел прицел на ближайший. Едва различимые скуггеры кружили над фронтом теперь близкого, взрывом распухающего громоносного вала.

Цель!

Сделано, перекрестье стоит, как влитое.

Максимум!

Перекрестье налилось алым светом.

Огонь!

Мысленная команда не заняла и секунды. От других эмиттеров, точно так же, как от моей «черепахи», вдаль протянулись лиловобледные на сумрачном фоне полосы. Синхроиио с неба ударили скуггеры.

Что-то ахнуло в глубинах пыли и пара, багрово засветилось внутри. Автоматика работала безупречно, плазменное лезвие вонзилось точно в центр того теплового сгустка, в котором скрывался огиевик, и било, полосовало, рвало. Энергии было достаточно, чтобы уже минуту спустя почва там потекла лавой, но по опыту прошлого я не тешил себя надеждой. Можно было подумать, что вся эта лавина огня для противника так, освежающий ветерок. Мерзкие исчадья, не знаю уж какого ада, не только не разлетелись в клочья, не только не пустились наутек, а, наоборот, ринулись в атаку.

Начиналось главное — то, чего не могли сделать киберы. «Отставить автоматику! — мысленно крикнул я.— Ручное!»

Теперь держись... Тяжелее всего заставить себя ослабить луч, подпустить огневика на ближнюю дистанцию, точно подгадать, когда потребуется вся мощность, и уж тогда врезать наверняка.

Я уменьшил импульс.

Багровое, осветленное, клубящееся рванулось в зенит, надвинулось, точно прыжком. Вихрь на мгновение разорвал тучи, в просвете мелькнул кровавый шар солнца, казалось, он мечется в небесах. Все тут же скрылось. В спектролит брызнули струи песка. То был первый предвестник бури, смерча, самума такой силы, что рушились все привычные представления о возможном и невозможном. Вот так, пока мы ничего не знали об огневиках, и гибли первые отряды — машины сметало, как щепки, камни таранили непробиваемую, казалось бы, броню, и ворвавшийся жар спекал все внутри.

Но теперь мы были научены.

— Семь, внимание! — крикнул я в эфир.— Готовлюсь!

— Пятый, слышу,— хрипло отдалось в наушниках.— Я, седьмой, готов!

— Я, шестой, вас понял! Бейте!

Сжав ручку фиксатора, я до упора вогнал в почву манипуляторы. Выждал одну, самую долгую в своей жизни секунду. По спектролиту уже чиркали камешки, молотом били по броне.

— Максимум! — заорал я и в то же мгновение переместил луч со своего огневика на соседний.

То же самое сделал седьмой, через один от меня. На этот раз, как было заранее договорено, все брали на себя мы, нечетные.

На уже близком огневике разом скрестились молнии пятого, шестого, седьмого эмиттера. В максимуме!

И огневик, как положено, взорвался.

С ним вместе взорвался весь белый (нет, теперь уже багровый) свет. Я слышал, как скрежещут до упора вогнанные в землю манипуляторы моей машины. Пламя снаружи, жалобный скрип металла — все это было не так существенно. Важно было немедленно, сразу, повторить маневр теперь уже с моим огневиком. Мамочки родные, да как же мне его нащупать? Прицел ослеп. Да и у соседей, должно быть, тоже...

Если бы у нас было побольше «черепах»! Как все было бы спокойно и просто при трехкратном превосходстве... Кто мог, однако, предполагать, что эти уникальные, предназначенные для далеких и трудных планет машины потребуются на Земле, да еще в таком количестве?

Я бил вслепую, вгонял луч туда, где по моим расчетам должен был находиться огневик. Не легче приходилось соседям, правда, им-то

угрожала меньшая опасность, ведь с их противниками уже было покончено. Никакая автоматика тут уже не могла помочь, надо было чувствовать соседа, угадывать движеиие его луча, чтобы одновремеино могли сложиться хотя бы два импульса. Хотя бы два! Чтобы точка в точку... Киберы этого не могли, в их бессилии мы убедились еще в первом сражении, когда все наивно полагали, что с огневиками можно расправиться, сидя в безопасности перед обзорным экраном.

Теперь от проворства и интуиции друзей зависела моя жизнь. Я бил и бил лучом, если что и ощущая, то скользкий бег мгновений, каждое из которых десятикратно умножало опасность.

Я ждал, что очередная секунда грянет взрывом, который встряхнет машину, как погремушку, оторвет, покатит, я повисну на ремнях вниз головой, и это будет последнее, что я запомню. Предвестником ожидаемого просвистел пробивший спектролит камешек. Щеку обожгла струя горячего воздуха, глаза заслезились. Теперь от меня уже мало что зависело, мое дело было, ни на что не взирая, бить лучом в крутящуюся завесу охваченного огнем мрака, что я и делал.

Все чувства так огрубели и сузились, что я не удивился, когда в просвете мелькнул силуэт другой «черепахи». Значение этого факта я оценил с бесстрастностью автомата: кто-то понял, к чему все идет, и вывел свою машину к моей, чтобы увидеть направление моего луча и подстроиться к нему. Единственное, что меня тогда поразило, и то смутно, это само перемещение машины в условиях, когда под напором вихря моя собственная едва держалась. Такое если и было возможно, то чудом. Так положиться на удачу, так сманеврировать в бушующих потоках мог разве что Феликс.

Мощь наших залпов слилась.

Все побелело беспощадным запредельным светом, которого не мог смягчить никакой светофильтр. И тут же словно чья-то мягкая нога пнула мою машину. Из-под меня со стоном рванулось сиденье. Падая, я ухватился за что-то. Новый толчок, затем боль и тьма.

Очнулся я в горячей и мутной тишине. Я висел вниз головой и, тряся ею, долго не мог понять, зачем нахожусь в такой неудобной позе,— именно зачем, а не почему. Еще я никак не мог сообразить, откуда такая пылища и что за железка у меня в руке. Ах, да, это обломок фиксатора, который, само собой, не был обломком, когда я за него ухватился.

Все кое-как стало на свои места. Сквозь душную мглу откуда-то снизу пробивался тусклый свет аварийной лампочки. Горло словно продрали наждаком, рот полон песка. Ленивое удовлетворение (все-таки прикончили огневика!) сменилось тревогой. Закончен ли бой? Цела ли машина? В порядке ли я сам?

Вроде бы да. Я неловко расстегнул ремни и сполз, вернее, плюхнулся вниз. Тело нигде не отозвалось болью, но повиновалось так, будто мускулы заменили ватой.

Взгляд перемещался как-то рывками, не удавалось ни сосредоточиться на предмете, ни увидеть все сразу. Цепляясь за торчащую над головой спинку сиденья, я кое-как приподнялся. В висках резануло болью, однако зрение прояснилось. Внутри машины, если не считать сломанной рукоятки, все было цело. Наконец отыскался и запор донного люка. Порядок, люк не заклинило.

Ничего особенного снаружи не было. Горячая муть. Ветер резал глаза, кожу больно кололи песчинки. Все было терпимо.

Все терпимо, когда проходит вялое онемение тела, когда возвращается боль, а с нею жизнь. Никаких огневиков — и жив, жив!

Отворачиваясь от жалящих порывов ветра, я спустился на опаленную землю и сделал несколько куцых неуверенных шагов, затрудненность которых после всего пережитого меня не удивила.

Откуда-то из ветра и мглы вынырнули две фигуры, в которых я едва признал друзей — такими черными были их лица. Оба кинулись ко мне молча, вскрик радости был в самом их молчании, нет, не радости, скорей облегчения. И даже не так, я не сразу понял, что означало это молчание.

Они зачем-то обхватили меня за плечи, повели так, словно помогали калеке.

— Что это вы, бросьте...— начал было я, но, перехватив их взгляд, тут же уставился на свою странно подвернутую, волочащуюся ногу.

Как я мог вылезти, даже идти, ничего не заметив! Зато теперь, когда мне открылась истина, ногу пронзила такая боль, что я обвис на руках друзей. «Ну вот,— тупо шевельнулось в мыслях.— Тогда была правая, сейчас левая... Хотя нет. Тот перелом был не у меня и очень давно... Как давно? Утром же было...»

— Подождите,— сказал я, когда меня уже подтащили к машине.— Где Феликс?

— Нет Феликса,— беззвучно ответил Игомо.— Феликс погиб.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Память лечит и память калечит. Хотя горький смысл этой истины открывается лишь с годами, мне уже было что вспомнить даже из раннего детства. Всего однажды я перепугался до ужаса, это было на кладбище, куда я случайно забрел.

Не помню, что меня, малолетнего, туда привело. Был ослепительно солнечный, безветренный день, на белом песке дорожек лежала недвижная тень листвы, я брел без цели, ставя одну ногу в тень, другую — на солнце, чтобы босыми ногами чувствовать сразу жар и

прохладу. Такая ходьба развлекала, не мешая с любопытством поглядывать по сторонам и примечать старинные памятники из мрамора, чугуна и гранита. Я знал об их назначенин, знал отвлеченно, с детским снисхождением к тому, что было давно и меня не касалось. Взгляд то задерживался на необычной скульптуре, то равнодушно скользил мимо массивных постаментов, обелисков, крестов, никак не отзываясь на имена, даты и надписи, которые были выбиты на века, но уже мало что могли сказать даже моему поколению из-за архаики языка, каким все было написано. С куда большим вниманием я высматривал, нет ли где малинника. Вот именно! Очевидно, за зтим я и забрел сюда, кто-то из приятелей уже лакомился тут, а я чем хуже? Всем известно, что нет ничего лучше ягод с куста, с иими не сравнится никакая роскошь синтетики, которая, может быть, и слаще, да ие тобой добыта.

Малину я углядел, тут же свернул с аллеи в кусты и больше уже ни на что не обращал внимания. Ягода была ранняя, редкая, и, двигаясь в зарослях от добычи к добыче, я не заметил, что облик памятников изменился. Поэтому я даже отпрянул, когда из-за куста на меня вдруг глянул старик. Неподвижный, как все вокруг, он в упор смотрел на меня с постамента, не мигая, ие шевелясь, пронизывая взглядом влажных выцветших глаз, и, что самое жуткое, в широких и темных зрачках не было дневного блеска, хотя солнце светило ему в лицо!

Сердце ухнуло. Не в силах бежать, я смотрел иа старика, а он своим неподвижным, влажным, таким нечеловеческим взглядом — на меня. Конечио, я знал, что такое голография и голографическая скульптура. Но прошла не одна секунда, прежде чем я понял: зтого старика нет ни среди живых, ни среди мертвых, зто лишь образ когда-то бывшего человека, бесплотная реальность, тень, фантом.

Я попятился, не сводя с него взгляда, точно он мог броситься за мной и настичь. Наконец его скрыли кусты.

Но тогда стали видны другие фантомы. Я был окружен ими. Большие и маленькие, так похожие на людей, они многолико смотрели из-за кустов, такие же безмолвные и неподвижные, как застывшее в небе солнце. Меня обступала мертвенность. Она была в сухом блеске песка, в неподвижности теней, в раз и навсегда замершем взгляде, каким смотрели так похожие на людей нелюди, в самом воздухе, которым я дышал.

Я не закричал, не мог.

Избавлением донесся звонкий детский смех. Смеялись неподалеку, совсем рядом. Я ринулся к зтому смеху, помчался, не разбирая дороги, тем более не догадываясь, что меня ждет.

Смех оборвался, когда я приблизился и замер на краю поляны.

Тут засветка. Память отказывается воспроизвестн то мгновение,

его я могу реконструировать лишь по схожим, более поздним впечатлениям. Так я снова вижу солнечный прогал поляны. Посередине застыла девочка в белом платьице, ее беззвучно смеющееся лицо обращено ко мне вполоборота, белозубый рот приоткрыт. Поодаль — скамья, там женщина с окаменелым лицом. Вдруг — смех! Девочка срывается с плиты, на которой стояла, раскинув руки, бежит к женщине...

Бежит, не оставляя на песке следов.

Это мать позвала своего ребенка...

Память недаром отбрасывает эту сцену. Наука сделала возможным некогда, казалось бы, невероятное. Чего проще установить на могиле аппарат воспроизведения давно снятого мгновения жизни, заставить изображение ребенка бежать и смеяться так, как он бежал и смеялся в тот счастливый день! Технически все несложно. Но как непостижимо, как странно, надрывно такое желание матери... Пусть всего одной из миллионов. А может быть, не так уж странно? Ужасно, самоубийственно, но не странно? Перед этой загадкой отступили психологи. Не помог и порыв общественного осуждения: кое-кто все равно продолжал ставить и такие памятники. Что ж... Право матери свято. Даже такое.

К чему это вспомнилось?

Мы распоряжаемся памятью, но и она распоряжается нами. Особенно ночью, когда сна нет, когда ты один, когда в мире нехорошо, когда смерть настигает твоих близких, а ты никому ничем не можешь помочь и, более того, обречен на бездействие.

Зря я отсыпался целые сутки, теперь сон не идет, а память похожа на минное поле. Невозможно не думать о Феликсе, но это невольно тянет за собой память о Снежке, о многих и многих, вплоть до той неизвестной мне девочки, чей призрак бежал тогда по кладбищу. От окна дует, за ним холодный и плотный мрак. И тишина.

В руке палка, шаг, шаг, еще шаг... Нога успела срастись и уже повинуется, ее надо разминать. Это болезненно и это хорошо, потому что перебивает непрошенные мысли. Мы с детства росли в убеждении, что товарищество одна из высших ценностей жизни. Детский, затем юношеский опыт подтверждал это на каждом шагу, только он умалчивал о другом: чем шире круг дружбы, тем вероятней потери, а каждая из них — горе.

Нет, об этом сейчас нельзя! Нельзя расслабляться, плакать нельзя, утром ты должен быть свеж и бодр, потому что утром снова борьба. Память о Снежке, память о Феликсе мучительны как раскаленное железо, и я стараюсь думать о другом. О том, успеют ли к утру починить мою «черепаху», залечится ли нога, кого теперь избрать вместо Феликса...

Опять!

Почему гомеровские герои могли рыдать и рыдали, а мы себе это запрещаем? Другие заботы? Другая ответственность? Ах, да и не все ли равно...

Присев, я уже в который раз включил информ.

Что изменилось за последний час? От натиска моря удалось отстоять Бангкок (это я уже слышал, все равно молодцы). На Мадагаскаре внезапно выпал снег (бедняги лемуры, сейчас, увы, не до вас...). В малоазиатском анклаве попавшие в наше время крестоносцы помолились богу (еще бы, ночь вдруг сменилась днем!) и продолжают резаться с мусульманами (спятили они, что ли?). На юге Африки динозавр смог преодолеть силовой барьер, но был вовремя оттеснен в свой мезозой...

И по-прежнему никаких известий о новых хроноклазмах. Уже сутки как тихо. Нигде ничего. Самое приятное, что можно услышать! Может быть, прав Алексей? Ведь если дело в резонансе, то колебания постепенно должны затухать. И если те сутки, что я провалялся, прошли спокойно, то это, возможно, свидетельствует...

Увы, это пока ни о чем не свидетельствует, такие дни бывали и раньше.

Я дослушал передачу и выключил информ. Больше дел нет. Выскользнуть наружу, долететь до ангара, помочь ребятам с ремонтом? Прогонят. Мое дело — выполнять врачебные предписания. Выздоравливать. Покой, отдых, сон.

В окно застучал дождь. Смолк. Я встал. Будь что будет, мне нужно дело, и оно у меня есть. В конце концов, это тоже мой долг, надо только решиться.

Я быстро собрал сумку, натянул на себя походную амуницию, потуже затянул капюшон, раскрыл окно.

Ветер гнул и раскачивал едва различимые в темноте ветви деревьев, гулко ходил в их вершинах, плескался дождем. Где-то рядом мокрые листья шуршали о стену замка. Я дал глазам привыкнуть, учел поправку на ветер и, чтобы не задеть близкое дерево, взмыл вверх. Резкий порыв ветра попытался прижать меня к стене, но это ему не удалось. Огоньки окон отклонились в сторону и ушли вниз, под ногами мелькнули зубцы башен. Завершив этот маневр, я тут же нырнул и полого прошел над смутной массой деревьев парка. Высь меня не манила: чтобы не привлекать внимания, я заранее выключил маяк-ответчик, и теперь следовало избегать трасс, которыми мог воспользоваться любой реалет.

Бреющий полет в темноте — не самое приятное занятие, зато никаких посторонних мыслей тут быть не может, а этого я и хотел. Лицо нахлестывал дождь, тело ласточкой рассекало воздух, всякая минута требовала предельного внимания. За рельефом земли следил сблокированный с расчетчиком локатор, я заведомо не мог врезаться

ни в холм, ни в здание, но кроны деревьев давали размытый сигнал, тут приходилось полагаться на инфраоптику и быть настороже. Особенно из-за шквалистого ветра, порывам которого надо было противостоять. Конечно, я уже мог включить ответчик и уйти в вышину, благо поодаль от замка никто ни о чем не стал бы расспрашивать, но толика сумасшедшинки и риска иногда полезней благоразумия.

Разгоряченный полетом, я опустился возле пещеры и по инерции шагнул так, словно кто-то другой еще час назад ковылял с палочкой от окна к кровати. Нога тут же напомнила о себе, и это меня отрезвило. Щебень у входа был мокрым и скользким. Я зажег фонарь. Тьма раздалась, отпрыгнула в глубь пещеры, в ярком конусе света забелели острые сколы щебня, проступил серый известняк холма, выделилась темная зелень редких пучков травы. Не только дыхание, но и одежда курилась паром. Пригнувшись и выставив вперед фонарь, я протиснулся в пещеру. Захлюпала грязь, на стенах вдоль трещин заблестели капли. Вот это новость! То, что я посчитал сухим и надежным убежищем, первый же дождь превратил в грязную и сырую нору.

Девушка, очевидно, спала. Внезапный и резкий свет заставил ее привскочить; в расширенных зрачках метнулся красноватый отблеск, какой изредка бывает и у людей. Но сейчас на меня смотрел именно звереныш, сжавшийся, насмерть перепуганный, готовый отчаянно драться, ощетинившийся.

— Не бойся, это же я,— кляня себя за поспешность, сказал я как можно мягче.

Голос она, похоже, узнала; зрачки сузились, впились в мое лицо, огоньки в них погасли. И это все, чего я добился. Тот же оскал готовых рвать и кромсать зубов, худое угловатое тело напряжено, как перед прыжком, в правой руке зажат камень, который она готова метнуть, и только это, пожалуй, в ней человечье. Нет, еще выражение страха. Еще бы! Внезапно и ярко озаривший пещеру свет, черно и смутно выросшая за ним фигура — такое, да еще спросонья, могло насмерть перепугать кого угодно.

Я поспешил сорвать очки, убавил свет, отключил терморегуляцию, чтобы одежда перестала куриться, отступил на шаг, давая девушке время опомниться и узнать меня.

— Ну вот, ты вглядись, никакой я не бог, не дух, не оборотень, такой же, как и ты, человек, не надо меня бояться, не надо... Ты меня узнаешь, узнаешь?

Я говорил без остановки, спокойно, важны были не слова, которых она, разумеется, не понимала. В тот раз все было куда проще! Кем я был для этого существа теперь? Божеством? Нет; понятия бога эти люди, кажется, еще не выработали. Злым, явившимся из темноты духом? Призраком ночи? Кем-то еще?

Праздный, в общем, вопрос. Она для меня была и осталась человеком, а я, бьющий врагов молниями, летающий и повелевающий светом, был для нее, надо думать, чем-то потусторонним. И ладно, мне от нее ничего не нужно. Накормлю, подлечу, а уж как выглядит человек одной эпохи в глазах своих далеких предков, пусть этой проблемой терзаются историки.

Звук моего голоса наконец дошел до нее. Лицо смягчилось, оскал исчез, зверька больше не было, но, хоть убей, я не мог понять ни одной ее мысли! Пульс у нее, верно, был бешеный, я видел, как под кожей ходят ребра, как вздрагивает грудь, как вся она напряжена, но это смятение чувств никак не отражалось на замурзанном, осунувшемся лице, вернее, отражалось нечитаемо.

Сколько времени так прошло? Дыхание девушки выровнялось, стиснувшая камень рука разжалась, взгляд расширенных глаз ушел внутрь, они угрюмо и темно отражали свет. Похоже, она свыклась со мной, как перепуганный котенок свыкается с присутствием нового хозяина. Что ж, этого достаточно...

Продолжая говорить, я шагнул к ней. Мне казалось, что я готов ко всему. К тому, что она сожмется в комочек или внезапно полоснет мою руку ногтями или, наоборот, распластается ниц. Но к тому, что произошло в действительности, я оказался не более подготовленным, чем она к моему светозарному появлению в пещере.

При первом же моем шаге ее взгляд метнулся удивлением. Забыв обо всем, она в недоумении уставилась на мою поврежденную ногу.

Хромота! Ее поразила моя хромающая походка. Но почему?

Я остановился в растерянности. Теперь она смотрела на меня так, будто силилась что-то понять или вспомнить. Ее взгляд уже не был ни взглядом попавшего в ловушку звереныша, ни темнонепроницаемым взглядом грязнолицего сфинкса, это был взгляд человека, который срочно должен решить что-то очень важное для себя.

— Хо'ошая...

Хотя я отчетливо видел движение ее губ, до меня не сразу дошло, что я слышу ее голос, а не эхо собственных слов.

Наконец истина проникла в сознание.

— Что?! Что ты сказала?!

— Хо'ошая... Эя хо'ошая...— Она ткнула себя в грудь.— Хо'ошая,— повторила она.

Но теперь ее палец указывал на меня!

Все перевернулось. Теперь она владела собой, тогда как я... Летающий, повелевающий и все такое прочее, я стоял с разинутым ртом.

— Ты... ты говоришь по-нашему?!

— Хо'ошая,— повторила она мне, как неразумному.— Эя хо'ошая...

По-детски оттопырив губу, оиа троиула больную иогу, затем показала иа мою и гримасой изобразила боль.

— Нет хо'ошая... Нет хо'ошая...

Я так и сел. Куда лингвасцету до зтой замурзанной пещерной девчоики! С какой быстротой оиа усвоила слова и сопоставила факты! Десять—пятиадцать мииут — и такие успехи! Что зто — иорма того времеии или мие встретился геиий? Кто из иас смог бы иа ее месте так быстро разобраться в ситуации?

— Павел.— Я ткиул себя в грудь.

— Авел,— повторила оиа.— Авел, хо'ошая. Эя хо'ошая.

Оиа улыбалась, она была довольиа. Она призиала во мие человека, вот что самое поразительное.

— Нога.— Я повторил ее жест и воспроизвел ту же гримасу.

— Но-а...— Некоторые звуки давались ей с трудом, она добавила что-то по-своему.

— Говори, говори еще! — Досадуя иа молчащий лингвасцет, я тщетио пытался уловить смысл ее слов.

Нет, просьбы оиа не поняла и замолкла. Но зто уже ие имело зиачеиия. Я торопливо отстегиул сумку и протянул еду. Оиа, ие церемонясь, вцепилась в протяиутое обеими руками, фыркнула, как котенок, от резкого и иепоиятиого запаха специй, переломила брикет и, ие срывая обертки, впилась в иего зубами.

— Да подожди ты! — вскричал я и попытался стяиуть обертку, ио оиа лишь поспешней заглотиула кусок, ее зубы предостерегающе щелкиули.

Столь мгновениый переход сиова к дикости меия отрезвил и смутил. Пожирая мясо, оиа только что ие рычала. Но успокоилась, едва я убрал руку.

А я-то было вообразил! Как все же одио могло согласоваться с другим? Феноменальиая поиятливость и... Впрочем, о чем говорить: далекие предки этой девочки оставили иам в иаследие великое искусство пещерной живописи, ее современники умели неплохо считать, ио, судя по раскопкам, спали среди кухониых отбросов. Подавая тюбик с какой-то пастой, я предусмотрительно свинтил крышку и показал, как им иадо пользоваться, но это ие помогло — оиа вгрызлась в иего, как в кость, и лишь слегка удивилась, когда содержимое брызнуло ей в лицо. Она тут же слизнула все и отбросила изжеваниые остатки тюбика. Зато оиа прекрасио зиала, как поступить с фляжкой, и запрокииула ее тем же движеиием, что и любой из иас. Отталкивающего, неопрятиого в ией было ие больше, чем в проголодавшемся зверьке, ио теперь я легко мог представить ее разрывающей кролика и пьющей теплую кровь.

И зто существо только что говорило на моем языке!

— Нет, ты совсем другая,— вырвалось у меня.— Может быть, ты прапрабабушка Снежки, но ты даже не ее сестра... И нечего себя обманывать.

Эя посмотрела на меня ничего не выражающим взглядом, удовлетворенно облизала губы.

— Пить, есть — хо'ошо... Авел хо'ошая. Эя хо'ошая. Снеш-шка хо'ошая.

— Да, конечно,— согласился я с горечью.— Снежка хорошая, только не повторяй все, как магнитофон!

Мое раздражение ее, кажется, удивило. Похоже, она ждала другого, взгляд дрогнул недоумением, руки задвигались, как у ребенка, который в чем-то просчитался и снова силится как можно лучше все втолковать.

— Эя хо'ошая! Снеш-шка хо'ошая! Эя, Снеш-шка — друзья!

Пещера вдруг сузилась, душно сдавила меня, на мгновение я онемел, оглох и ослеп.

Эя и Снежка — друзья?!

Все поплыло перед глазами.

Так, но совсем по-другому бывало, когда я встречался со Снежкой. Все, что не было ею, теряло тогда отчетливость, размывалось, оставалось только ее лицо, всегда подвижное, недосказанное, как живой бег ручья, как солнечный на нем свет. И такое же неуловимое, желанное, близкое, когда она, притихнув, вслушивалась в мой голос, или одной ей известным знаком приманивала с дерева белку, или, задумчиво вслушиваясь в чей-то спор, внезапно проясняла его одним словом, или, кинув на меня вопросительный взгляд — можно ли? — разом превращалась в сорванца, которому нипочем на виду у всех пуститься наперегонки с жеребенком, ласточкой уйти в воду с обрыва, чтобы, выложив все силы в рывке, в преодолении, в смехе, обессиленно откинуться на спину, уйти в себя, в свои мысли, словно вокруг нет никого и я, ее верный спутник, столь же далек, как невидимая в дневном небе звезда.

Такой она была... Неизменным в ней была лишь верность самой себе. Та самосвобода, та открытость души, которую я больше не встречал ни в ком, она-то и делала наши отношения такими наполненными. И строгими. Настолько, что, когда во мне все немело от ее доверчивой близости, от обморочной жажды ее смеющихся губ, я не мог сделать последнего движения, таким грубым и невозможным оно казалось. Посягающим на ее свободу, на непосредственность каждого ее движения, взгляда, слова. Ей, а не мне пришлось сказать первое слово любви. Она сделала это так же естественно и просто, как жила, как дышала, и все, что было после этого, стало новым счастьем и новым узнаванием — и поцелуй, от которого мы оба задохнулись, и еж, который некстати запыхтел

у наших ног, и смех, который нас обессилил, и бег без оглядки, и обжигающее соприкосновение тел, объятия, в которых мы блаженно умирали и воскресали. Но и тогда, после всех дней и ночей, когда нас ничто не разделяло, у меня после самой короткой разлуки при взгляде на Снежку все так же кружилась голова, и первое прикосновение к ней было робким, точно мы еще не знали друг друга, будто все начиналось впервые и каждый из нас боялся вспугнуть любовь.

Было ли это только любовью или также предчувствием, что нам недолго быть вместе? Снежка пропала в первый день катастрофы. Все, что окружало ее, провалилось, исчезло, смешалось с другим временем, другим небом, другой землей, которая могла быть и за столетие, и за миллиард лет до нашей любви. Какая разница, оттуда никто не возвращался. Что ждало ее там? Сколько раз я представлял ее задыхающейся на берегу архейского моря, умирающей в пасти чудовища, проданной в рабство неизвестно где и кому! Орфей хоть знал, где его возлюбленная, какой ад ее поглотил, у меня не было и такого утешения...

Меня бил озноб, свет фонаря дрожал тенями. «Пить, есть, хорошая...» Произнесенное там, за тысячелетиями, еще звучало здесь, в этой промозглой пещере. Теперь я знал, что со Снежкой, знал, где она, но это знание было хуже незнания. Сама ли она пришла к соплеменникам Эи или ее приволокли, в жадном любопытстве срывая с нее диковинную одежду? Намеренная жестокость, возможно, чужда тем людям, но сам их мир беспощаден и груб. Снежка была в нем добычей, пленницей, вещью, такой ее швырнули к костру.

Нет! Я зажмурился, во мне все обмерло. Нет! Снежка жива, жива, это главное. Ей плохо, может быть, голодно, холодно, но она жива. Она сильная, она стерпит все, вынесет все...

Все, кроме унижения. Лишний рот никому не нужен, и как бы те люди ни относились вначале к своей невиданной добыче, она должна стать двужильной работницей, чьей-то женой, а не захочет — принудят. Станут учить покорности, ткнут кулаком в лицо, отдадут старухам на воспитание, разложат под ремнем или что у них там в обиходе, все без зла, но и без сострадания, единственно потому, что в том времени человек принадлежит не себе, а роду. Первое же несогласие, случайный просчет, робкое возмущение — и жесткая рука хватает Снежку за волосы, пригибает к земле, воспитующе бьет, а там хоть грызи облезлую шкуру, в которую уткнули лицом, сопротивляйся и плачь, ничто уже не поможет.

Видение было столь отчетливым, что пальцы сами собой сжались в кулак, ухватили, стиснули что-то твердое и холодное — рифленую рукоятку разрядника.

Я отдернул руку, точно ее обожгло. Эя, подскочив, смотрела

на меня обеспокоенным взглядом. Я заставил себя улыбнуться, хотя мускулы лица повиновались как замороженные. Меня колотила дрожь.

Но то была дрожь облегчения. Что я, в сущности, знал о том времени? О тех людях? Наверное, все не так, конечно, конечно, не так! Сломленная, униженная Снежка не могла внушить Эе слова дружбы. Только ли ради самосохранения она это сделала или тут был дальний расчет? Сюда они дошли как пароль, вряд ли то было случайностью. Нет, нет! Снежка не отчаивалась, там она верила, что время преодолимо, само время!

А разве не так?

Два шага отделяло меня от девушки, которая состарилась, умерла, истлела за десятки веков до моего рождения, но которая тем не менее жива здесь и теперь гладит поврежденную ногу той же рукой, что совсем недавно касалась руки Снежки.

Время не распалось, наоборот.

Так почему же мы видим в происходящем лишь катастрофу?

Если бы Эю в компании с Аристотелем вдруг зашвырнуло в космическую невесомость, то и девочка каменного века, и мудрец, верно, решили бы, что мир сошел с ума. Ни верха, ни низа, ни тяжести! Полное опровержение опыта всех поколений, крах представлений о природе вещей. Эя еще могла бы все приписать колдовству и на том успокоиться, но каково было бы Аристотелю с его продуманной схемой миропорядка, с точным, как он полагал, представлением о возможном и невозможном?

Феликс был прав. На все, от блохи до галактики, мы смотрим сквозь фильтры наших представлений и наших эмоций, тут ничего не изменилось и, видимо, не изменится. Время столь же сокровенно, как и пространство, в нем то же обилие, казалось бы, фантастического. Предполагая это, зная это, даже столкнувшись с этим, мы тем не менее первым делом отшатываемся и заслоняемся. Глупо. Назад пути нет, только вперед. Даже если настоящее рухнет, взамен мы получим вечность, ибо коль скоро открылся переход в прошлое, человечество сумеет расселиться во времени, освоит его, как уже освоило пространство, создаст новую, пока непредставимую цивилизацию. Не оттого ли молчат звезды, что другие разумы Вселенной опередили нас на этом пути и надо их искать не в пространстве, а во времени?

Быть может, голос Снежки, который так неожиданно прозвучал здесь, в пещере, первая весть оттуда, из нашего будущего?.. У нее нет шанса вернуться, но мы-то можем к ней прийти. Рано или поздно мы обуздаем время, как обуздали энергию, и тогда... Тогда мне до Снежки будут те же два шага, что и до Эи. Пусть она становится женщиной племени, пусть рожает детей, пусть старится,

умирает, все равно когда-нибудь я смогу обнять ее, теперешнюю. Это не укладывается в сознании, но мало ли что в нем не укладывается! Все будет так, если мои предположения не бред.

Как странно, но, может быть, прозорливо сказал какой-то древний поэт: «Мы все уже умерли где-то давно, все мы еще не родились...»

ГЛАВА ПЯТАЯ

Визор Алексея не отвечал, не было даже сигнала соединения. Это означало, что Алексей либо спит, либо работает. В том и другом случае его нельзя было беспокоить иначе как по неотложному делу. Но я не мог ждать утра, да и первое известие о судьбе исчезнувших во времени кого угодно должно было поднять на ноги.

Прихрамывая, я спешил по гулкому пустынному сейчас коридору, где серыми мышами сновали киберуборщики. Эти проворные, днем незаметные крохи залезали в каждую щель, урча, всасывали в себя всякий сор, в их домашней суете была спокойная деловитость раз и навсегда заведенного порядка, который поддерживался до нас и будет поддерживаться после нас, а уж шваброй ли домохозяйки или оптронным механизмом, не столь суть важно. Что было, то и будет, словно говорил их вид, а уж на Земле или под другими солнцами, или в ином времени, это вы как хотите, без нас вам нигде не обойтись. И они были правы.

— Брысь! — сказал я всей этой мелкоте и приотворил нужную мне дверь.

В комнате приглашающе горел свет, его даже было слишком много, однако мне стоило труда заставить себе войти и, как ни велико было нетерпение, сделал я это не без колебаний. Причина была в Алексее. Он сидел, закрыв глаза и отвалившись в кресле, но это был не отдых, не сон, нечто противоположное. И для постороннего жутковатое. Меловые щеки Алексея запали так, что проступили кости лица, веки подрагивали, не разжимаясь. Иногда лицо оживало, руки сомнамбулическим движением касались клавиатуры настольного расчетчика, и тогда все взрывалось — мучительно кривились губы, пальцы принимались бешено отстукивать текст, с тихим жужжанием крутилась приемная катушка меафона, змеей вилась и опадала на пол бесконечная, усеянная зерном цифр и символов лента — все это при мертвенном неучастии закрытых глаз. Не лучше было тихое удовлетворение, которое порой разливалось по этому бледному и вспотевшему лицу.

Смотреть на человека в таком состоянии тяжеловато, даже страшно. Я обошел неподвижное тело Алексея и, стараясь не замечать на висках черных присосков, склонился над лентой. В ней почти все было для меня тарабарщиной. Но я и не пытался вникнуть

в смысл, мне важно было узнать, скоро ли Алексей выйдет из прострации. Судя по длине ленты, ждать оставалось недолго, впрочем, тут легко было ошибиться.

Я тихонько прошел на кухню. Медитация требовала таких сил, что за время сеанса человек запросто мог потерять килограмма два веса, и тогда еды требовалось ему не меньше, чем удаву.

Не торопясь, я поколдовал над программой, припомнил все любимые Алексеем блюда, особо налег на тонизаторы, на всякий случай заказал вино, проверил, достаточно ли в аппарате белковой массы. К счастью, ее оказалось достаточно. Синтезатор принял программу, весело замигал огоньками, больше мне здесь делать было нечего. Я вернулся к Алексею.

Все то же, никаких изменений. Судя по всему, Алексей вошел в глубочайшее, какое только возможно, сосредоточение. Со сколькими он сейчас сомыслил одновременно? С десятками, сотнями, тысячами таких же, как он, теоретиков? Или вышел на связь со всем человечеством сразу?

Я, как и всякий, знал, что такое медитация, совместный «мозговой штурм» тысяч, миллионов, а если надо, то и миллиардов людей, меня учили выходить на связь, брать на себя часть нагрузки, я не раз слышал зов «малого», «среднего» и даже всеобщего сбора, включался, когда была возможность, но чтобы вот так... Чтобы самому послать вызов, стать центром, как это сделал Алексей, войти в такое сосредоточение — нет, от одной этой мысли мне становилось не по себе. Даже подумать об этом было страшно. Шутка ли, войти в резонанс с мыслями стольких людей, подключить к этому сверхразуму еще и машины, да не просто войти, не просто подключить и подключиться, а стать дирижером мозговой бури, управлять ею! Даже частичное погружение в этот транс, вихрь, уж не знаю что, оставило во мне впечатление бездны, куда падаешь, теряя себя, и где взамен находишь что-то огромное, надчеловеческое, чему и названия нет. Уф! Замечательно, нужно, и все-таки хочется быть подальше...

Хотя что тут такого! Люди всегда мыслили коллективно, и открытия таких гениев, как Ньютон, Эйнштейн, а в наше время Пекарев или Риплацони, не были результатом только их идей, они аккумулировали мысль современников и предшественников, замыкали на себя информационное поле планеты, сгущая и доводя его до ослепительной вспышки прозрения. Тот самый эффект сомышления, который разных, и внешне, казалось бы, никак не связанных людей одновременно приводил к схожим открытиям, изобретениям и теориям, как это было с Ползуновым и Уаттом, Лобачевским и Бойяйи, Дарвином и Уоллесом, Флобером и Бальзаком (последние, независимо друг от друга, однажды написали удивительно похожие главы — и это в самом

что ни на есть индивидуальном виде творчества!). «Фиалки расцветают одновременно» — так говорили об этом раньше. Мы лишь усовершенствовали то, что было. Но с каким результатом! По мнению Фазты и некоторых других историков, именно это открытие окончательно торпедировало старый мир. Не знаю, не уверен, есть и другие точки зрения. Но, надо полагать, и в этой гипотезе имелась толика правды. Миллиарды людей на всех континентах хотели одного и того же — мира, справедливости и свободы. Когда эти желания, мысли и устремления, прежде разобщенные, одиночно вспыхивающие, благодаря медитации слились и усилились, как свет в кристалле лазера, то, судя по архивным свидетельствам, сознание тех, кто еще противостоял желаниям человечества, было опалено психическим шоком. Та эпидемия внезапных самоубийств, душевных кризисов, панического бегства от дел, которая затем разразилась, вряд ли была случайностью, уж слишком все совпадало во времени, слишком схожими оказались жертвы. Гнев народов как бы овеществился, и эта сила не промахнулась.

С надеждой и тревогой я продолжал смотреть на мерно ползущую из-под руки Алексея ленту. Что сулило ее движение? Таился ли в этих черных значках приговор всему? Или, наоборот, они возвещали спасение? Ради пустяков в медитацию не входят. Мелькавшее на лице Алексея удовлетворение означало только одно: найдено интересное решение. Оно одинаково могло означать и победу, и скорый конец света; для теоретика, да еще в состоянии медитации, важна истина, только истина, ничего, кроме истины.

Этому поиску в нем подчинено все. Он сжигал себя, видимо, иначе было нельзя. Сердце сжималось, на него глядя, но мог ли я вмешаться? Он бы убил меня. Недаром он отключил наручный диагностер, который в случае чего обязательно подал бы сигнал тревоги; отключил, чтобы сюда не прибежали врачи и не прервали сеанс. Другой вопрос, как он это умудрился сделать, ведь диагностер нельзя выключить без того, чтобы в радиусе нескольких километров у всех медиков не поднялся переполох. Видимо, Алексею тут пришлось решить кое-какую дополнительную задачу. Или он это сделал давно? Скорей всего так. И все-таки безобразие это — отключить диагностер, никого не предупредив... Вздохнув, я поплелся на кухню.

Там все аппетитно скворчало, томилось в духовке или леденело в холодильнике. Я выключил синтезатор, положил на тарелки всего побольше, налил напитки, попробовал — нормально. На это ушло минуты три. Пора!

Я угадал. Глаза Алексея уже были открыты — круглые, как у филина, полуслепые, еще сомнамбулические. Правая рука вяло терзала и никак не могла отодрать присоску. Поставив поднос, я сорвал присоски, быстренько поднес к губам стакан.

Алексей жадно отхлебнул, его глаза ожили, он с хрустом потянулся.

— Уф! Думать — не ящики таскать, но почему так болят все мускулы? А, это ты хорошо придумал...

Неуверенным движением он потянулся к тарелке.

— Включи браслет,— сказал я.

— А!..— Он слабо поморщился. В пальцах, разливая суп, прыгала ложка.— Ч-черт...— Он взял ее в кулак.— Который час?

— Четверть четвертого.

— Долгонько...— Ему наконец удалось, не расплескав, поднести ложку ко рту.— Зато не даром.

— Включи диагностер,— повторил я.— Вид у тебя...

Он отмахнулся.

Минут десять мы ели в молчании. Я тоже проголодался, хотя, конечно, не так, как Алексей. Он медленно отходил, его склоненное над тарелкой лицо теперь было просто осунувшимся и усталым, землистые губы слегка порозовели, темные полукружья глаз казались уже не такими набрякшими. Диагностер он так и не включил, видимо, не боялся разоблачения. Или, наоборот, боялся узнать, во что ему обошлись эти часы размышлений.

— Ну? — спросил он, когда мы принялись за кофе.

— Что — «ну»? — Я сделал вид, что не понял.

— Выкладывай, зачем пришел.

— Да я просто так... Шел мимо и заглянул.

— Брось,— тихо сказал он.— К чему? Я могу соображать. Что там еще стряслось?

— Послушай, а не лучше ли тебе...

— «Не лучше ли тебе в жару ходить без панциря?» — спросили однажды черепаху.

— Хорошо, ладно...

Коротко, как мог, я рассказал про Эю, про Снежку, про все. Алексей слушал вроде бы безучастно, но под конец его взгляд сосредоточился и похолодел.

— Так, так,— сказал он наконец замороженным голосом.— Правильно сделал, что пришел. Да, да, это подтверждает...

— Что подтверждает? — Я подался вперед.— Что?

Вместо ответа он встал, засунув руки под мышки, прошелся на негнущихся ногах — длинный, костлявый, рыжий, пугающе отрешенный.

— Ты...— Я не выдержал, голос сорвался в шепот.— Что вы узнали? Почему ты молчишь? Все так плохо или...

— Помолчи... А то объясняла курица ястребу, как зерно клевать, да сама запуталась. Хорошо, плохо,— в этом ли дело? Вот, познакомься для начала...

Алексей боком шагнул к стеллажу, рывком вытянул какой-то график, попытался остановить последовавший за этим движением обвал бумаг, но тут же забыл о нем.

— Это график распределения хроноклазмов по оси времени. Пока засечек было мало, все выглядело статистическим хаосом. Теперь, с накоплением фактов, наметилась закономерность. Взгляни!

— Прогрессия! — Я привскочил.

От волнения я, кажется, спутал термин, но это было неважно. Алексей нетерпеливо отмахнулся.

— Возмущения идут волнами, это очевидно.— Его палец пробежал по графику.— Чем ближе к нашему времени, тем они гуще.

— Волны времени...

— Чепуха, это только образ! Хотя, согласен, наглядный. Мы словно бухнули во что-то камень, и по глади разбежались волны, сначала частые, затем все более редкие, так что на десять выплесков из антропогена приходится всего три из архея, хотя протяженность антропогена миллионы лет, архея — миллиарды. Но это все только видимость... Сущность... Над ней мы и думали перед твоим приходом.

— И?..

Алексей не глядя отшвырнул график, налил мне и себе вина. Его рука подрагивала, горлышко бутылки тренькало о хрусталь стаканов, этот неверный, тревожный, дребезжащий звук, казалось, заполнил собой весь мир, невыносимо отзываясь во мне напоминанием о хрупкости всех наших устремлений, а возможно, и самого существования в этом мире.

— Все очень хорошо или очень плохо, в зависимости от того, как к этому относиться.— Алексей искоса посмотрел на меня.— Раз найдена закономерность хроноклазмов, нетрудно подсчитать, какие уже состоялись, а какие еще предстоят. Так вот: максимум возмущений позади, новых хроноклазмов будет немного.

— Это точно?!

Алексей кивнул.

Я был готов кинуться к этому рыжему чудаку, который самую главную, самую замечательную новость подал как затрапезный кофе, я готов был закружить его в объятиях, но у меня вдруг ослабли ноги. Только сейчас я почувствовал, под каким страшным гнетом мы жили, и теперь, когда пришло освобождение, точней, окрепла надежда, из меня словно выпустили воздух.

— Все так, как я говорю, можешь поверить. Ладно, не о том речь, чего обсуждать прошлогодний снег...

Взмахом руки он как будто отстранил все только что сказанное. В этом был весь Алексей! Чего обсуждать само собой разумеющееся? Не стоит внимания. Даже если это спасительная для всех новость,

с ней покончено, как только она исчерпала себя. Вот так, упомянули — и дальше, нечего отвлекаться.

Значит, все прежнее было только прологом. Прологом чего? Казалось, Алексей сбился с мысли. Его взгляд остекленел, пальцы шарящим движением коснулись лица, принялись тереть виски.

— Все, больше ни слова! — Я вскочил.— Ложись, я пойду за врачом.

— Сядь!

Это была не просьба, это был окрик. Я ушам своим не поверил. Алексей органически не был способен на окрик, но сейчас это был именно приказ, окрик, команда. Пергаментно-бледное лицо Алексея горело красными пятнами.

— Сядь, слушай и не мешай! Что ты понял из этого?

Он подхватил кольца бумажной ленты и потряс ими перед моим лицом.

— Ничего,— сознался я.

— Ч-черт...— простонал Алексей.— Так я и думал... Подожди, было что-то первоочередное... Что-то связанное с... А, вспомнил! Как у тебя там Эя?

— Эя спит.— Я недоуменно пожал плечами.— Здесь, у меня. Спит и видит свои доисторические сны. По-моему, это ее любимое время-препровождение.

— Так я и думал. Вот что: сейчас же беги к ней. Буди, изобретай, что угодно, лишь бы она говорила, говорила непрерывно, чтобы лингвасцет овладел ее языком... Чего ты стоишь?! Беги!

— Тихо! — сказал я.— Сядь, успокойся; все сделано, все давно сделано. Эя спит, но я задействовал ее речевые центры, так что в фазе быстрого сна она болтает, как нанятая, а лингвасцет ловит ее слова. Поэтому бежать мне не надо, соображают, как видишь, не одни теоретики. А теперь, пожалуйста, объясни мне, простому и серому, объясни спокойно, до чего вы додумались, к чему такая спешка и при чем тут Эя.

Я нарочно говорил медленно, тихо, приблизив лицо к лицу, с легкой иронией в голосе, это должно было подействовать, и это подействовало. Алексей осел на стул, с минуту смотрел на меня неподвижно, затем его губы тронула слабая улыбка.

— Да, все мы в душе немного горзахи, ты извини... Сейчас, минутку...

Он покопался в кармане, достал какой-то стимулятор, отправил таблетку в рот, морщась, запил водой.

— Все, больше никаких эмоций. Слушай внимательно. Час назад я, кажется, понял главное; мы поняли. Наши представления о времени не верны в главном и основном, их, если угодно, надо вывернуть наизнанку. Как бы тебе это пояснить наглядно...— Лицо Алексея

сморщилось, слово «наглядно» было ему ненавистно.— Ладно, годится такая аналогия. Время в своем обыденном восприятии... Тьфу, что за нелепость: «время в своем обыденном восприятии»! Ладно, ты понял, что я хотел сказать... Время подобно волне, которая бежит неизвестно откуда и неизвестно куда, несет нас на гребне, позади нет ничего — все уже умерло, впереди тоже ничего — еще не возникло. Так? Да, так — обыденно. В действительности, конечно, нет ничего подобного. Есть пространственно-временной континуум, в котором все движение, все процесс, и время есть параметр этих изменений, а так как изменений бесконечно много, то можно говорить об индивидуальном для каждого процесса времени.

Алексей продолжал говорить, но чем дольше он говорил, тем меньше я понимал, и он это видел. Он морщился, помогал себе жестами, мимикой, его рука то и дело тянулась написать какое-нибудь простенькое, этажей в десять, уравнение, которое сразу все разъяснило бы, но тут же останавливал себя, потому что такое уравнение мне было заведомо не по зубам. Он страдал. Это была мука, мука невыразимости сложного и абстрактного, когда ты хочешь, чтобы тебя поняли, когда нужно, чтобы тебя поняли, а не получается, потому что наука слишком далеко ушла в своих построениях от наглядного, образного, для всех очевидного.

Что за нелепость! Алексей знал, наверняка знал то, что могло спасти или погубить человечество, и не мог выразить это на всем понятном языке. Такого он не ожидал и даже растерялся. Я страдал вместе с ним, пытался что-то подсказать, наугад пояснить — он только отмахивался. Все было не то, не то! Увы, глубины темпоралики были не для меня, я это понял еще в школе, когда учитель однажды сразил нас таким парадоксом. «Прошлое существует в виде следов,— сказал он,— будущее — в виде возможностей. Действительно лишь настоящее, так?» — «Так!» — хором ответили мы. «Прекрасно. Теперь я попробую доказать, что настоящего тоже нет, а вы попытайтесь меня опровергнуть».— «Как это — нет настоящего? — ахнул кто-то.— Что же тогда есть?» — «Это уж вы сами решите... Следите за логикой рассуждений. Что есть настоящее? Ах, то, что происходит сейчас! Хорошо. Какова, спрашивается, длительность этого «сейчас»? Минута, секунда? Не слышу ответа... Правильно, физическая протяженность настоящего — один хроноквант, то есть секунда в минус какой степени? Не помните... Ладно, посмотрите в справочнике. Важно другое: минувший хроноквант уже принадлежит прошлому, его нет, а последующий еще только будет, следовательно, пока его тоже нет. Что же тогда мы воспринимаем, как настоящее? Напомню: мы не видим летящей пули именно потому, что уже сотая доля секунды — вне нашего восприятия. А тут хроноквант! Значит, его мы тем более не можем воспринять. Выходит, мы осознаем только то, что уже

случилось, стало быть, прошлое! Где же тогда настоящее? Его, получается, для нас нет вообще. Под видом настоящего мы воспринимаем прошлое и только прошлое! Но прошлое, по определению, существует лишь в виде следов, оно уже сбылось и исчезло... Вот так, ребята, а теперь думайте, что же для нас действительно».

Этот парадокс слышал я, слышал Алексей, только я отмахнулся, а он — нет. У меня сохранилось лишь впечатление тьмы и бездны, в которую я на миг заглянул и отшатнулся. Он же не отшатнулся, его это увлекло, и вот теперь я сижу дурак дураком, а он страдает, пытаясь выразить то, что ему открылось в этой пугающей бездне. Мука невыразимости — да сильно ли людям такое?

Еще бы! Она была и будет знакома всем истинным художникам и мыслителям, недаром сказано: «Мысль изреченная есть ложь...»

— Слушай,— не выдержав, перебил я Алексея.— Чего ты изводишь себя? Так ли уж важно, чтобы именно я, именно в эту ночь понял истинную сущность времени? Если это нужно для конкретного, с моим участием, дела, то просто-напросто объясни, что от меня требуется, какие, так сказать, кнопки мне нажимать. И все! А если ты вслух обдумываешь свое обращение к человечеству, то выспись сначала, отдохни, перепоручи, наконец, кому-нибудь, кто лучше владеет даром популяризации. Зачем все это сейчас, чего ты себя терзаешь?

Секунду-другую Алексей смотрел на меня так, будто сложный многогранник прямо на его глазах обратился в элементарный куб.

— Ты хоть соображаешь, что ты сказал? — шепотом проговорил он.— Значит, пусть все будет, как в «добрые старые времена», когда одни думали и распоряжались, а другие брали под козырек? Нет, дорогой, так не пойдет. Тебе — да, да, тебе! — понимание необходимо, как, может быть, никому другому.

— Это еще почему?

— Узнаешь, когда поймешь... Стоп! — Глаза Алексея сузились.— Факт появления в нашем времени прошлого — как бы ты его объяснил своим детишкам? Поделись опытом. Спасовал бы, наверное?

Я покачал головой.

— Сначала я объяснил бы им теорию скрытых реальностей.

— Легко сказать!..

— Легко сделать. Некто выступает по всемирной видеосети, сказал бы им я. Его образ на экране реален? Конечно. Но одновременно тот же самый образ мчат электромагнитные волны. Выходит, он присутствует еще и в пространстве, находится там в иной, чем на экране, не различимой для наших органов чувств форме. Однако и этот образ реален. Попутно ведется запись передачи, все оказывается запечатленным в кристалле. Это уже третья форма существования образа, иное его воплощение. В кристал-

ле оно способно находиться века и тысячелетия, его сколько угодно раз можно воспроизвести, снова послать в эфир, снова оживить на экране и так далее. Вот вам уже три реальности: одна явная, на экране, и две скрытые, последних, как видите, больше.

— Так, так, продолжай.

— Дальше я воспользовался бы аналогией. Уподобим, сказал бы я, жизнь киноленте. Старинной, вы знаете... Вы смотрите фильм. Сменяя друг друга, мелькают кадры. Так длится, пока ленте не приходит конец. Все, свет погашен, изображение исчезло, его нет, зрители могут разойтись. Однако изображение никуда не делось, оно как было, так и осталось на ленте, только перешло из бытия в инобытие, стало скрытой реальностью.

— Чудовищно.— Алексей с хрустом сцепил пальцы.— Крайняя степень примитивизации! Хотя...

Он задумался.

— Хотя в этом что-то есть... Ты знаешь, в этом что-то есть.— Его лицо просветлело.— Вот, значит, на каком уровне наука становится доходчивой... Чудесно! Сойдем на тот же уровень. Сейчас для тебя важно уловить смысл новой концепции пространства — времени, иное успеется. Скажи, что произойдет с угольком на ветру?

— Как что? Сгорит, рассеется пеплом...

— А гвоздь?

— Какой еще гвоздь?

— Обыкновенный. На ветру.

— Ну, окислится, проржавеет со временем, рассыплется не хуже уголька...

— Иначе говоря, уголек гибнет потому, что взаимодействует со средой. Та же судьба у гвоздя, вопрос в сроке. Все гибнет, даже горы, потому что все взаимодействует со средой. Линейность этого процесса обусловливает линейный ход времени. Но если так, с какой, спрашивается, средой взаимодействует наша Вселенная? Когда-то ее не было, теперь она есть, а когда-нибудь тоже исчезнет, сгорит, как самый банальный уголек. Что же на нее воздействует, какой эрозии подвергается она?

— Банальный вопрос.— Я решил показать, что тоже не лыком шит.— Диалектический материализм давно на него ответил: материя неисчерпаема, а потому мироздание не обязательно ограничивается наблюдаемой нами Вселенной. Возможны другие, с иным состоянием материи, с иными законами природы, а если так, то они должны воздействовать на нашу Вселенную. Какая-нибудь другая Вселенная...

— Ее-то мы и нашли! — Алексей вскочил, сгреб с пола шуршащие кольца ленты.— Вот она, здесь, объявилась, скрытая! Теперь понимаешь, какой еще «ветер» обдувает нас, чье время наклады-

вается на наше? Все в нашем мире взаимодействует не только само с собой, нет, нас еще пронизывает «ветер» иновселенной, он вокруг нас, он в нас, ты это понимаешь?! Мир не просто многомерен, он многомерно многомерен, и потому время даже не объемно, оно неисчерпаемо в своих формах и проявлениях! Ты посмотри, как все складывается. Почему время зависит от скорости? Да потому, что происходит перемещение тел и в среде иновселенной, следовательно, увеличивается или уменьшается «обдув», как это случается с угольком, стоит им помахать в воздухе. Почему, в свою очередь, ход времени так зависит от метрики пространства, от концентрации масс? Примерно по той же причине, по какой свойства и скорость обычного ветра меняются в зависимости от того, встречает ли он на пути редкий кустарник или массив городского квартала. Обычная динамика! То есть, что я, совсем не обычная, но так и должно быть... Эх! Тысячелетия прошли, прежде чем люди догадались, что они окружены воздухом. Потребовались еще тысячелетия, чтобы проявились электромагнитные и прочие поля. Еще столетие — мы обнаружили вакуум. От очевидного к неочевидному, от явного к скрытому — вот как мы шли и идем! Теперь же,— Алексей потряс кольцами ленты,— вот она, целая иновселенная! Вот оно, скрытое время! Вот откуда на нас обрушился шквал... Новые берега нового океана материи, ты слышишь, как свистят его ветры, слышишь?

Сам того не заметив, Алексей заговорил образами. Я поежился. Почему-то одним из самых сильных впечатлений раннего детства для меня стал вид ночного неба в планетарии, куда я однажды попал. Чем-то жутким повеяло на меня тогда из этой черной, проколотой звездами тьмы купола, которая вдруг накрыла меня. Жутким и одновременно притягательным. Не знаю, почему во мне все так щемяще заледенело. Может быть, то было первое осознание бесконечности пространства, бесконечности времени, бесконечности всего, что есть в мире. Не знаю. Сейчас в ярко освещенной комнате, в окна которой стучался дождь, меня настигло очень похожее ощущение, и причиной были не столько горячечные слова Алексея, сколько его глаза, которые видели, в упор видели не эту комнату и не меня в ней, а черную бесконечность новой, только что открывшейся ему Вселенной.

— А мы воспринимаем только линейное время, живем, как одномерцы, как...

Он изогнул шуршавший свив ленты, пропустил ее меж пальцами так, что снаружи осталась лишь узкая складка.

— Вот наше настоящее... Я пропускаю его меж пальцами, гребень складки ползет, черные на нем штрихи и знаки — это наши жизни, вот они движутся, перемещаются из будущего в прошлое, так мы, одномерцы, живем, смотри, смотри...

Колдовская минута! Я смотрел не на складку ленты, по которой ползли математические знаки и символы, я не мог оторвать взгляда от Алексея.

Не стало комнаты, не стало тьмы за окном, было только его вдохновенное лицо. Он перемещал ленту, вел складку меж пальцами, он любовался ею, словно в его руках была истинная ткань мироздания, словно он обозревал ее всю, со всеми нашими жизнями, загадками, радостями, трагедиями и проблемами, словно он был над ней, как некий познавший ее тайны, бог. Его темное от усталости лицо светилось могуществом понимания, и не было ничего прекраснее этого лица.

Быстрым движением он смял ленту в гармошку.

— Вот так свернулась структура вселенных. Там, где ворсинки материи, сцепившись, поменялись местами, там прошлое вклинилось в настоящее и наоборот. И это сейчас в практическом смысле главное. Почему?

Он резко повернулся ко мне.

— Что за вопрос,— сказал я.— Катастрофа...

Ответом был досадливый взмах руки.

— Если разбилась чашка, надо взять веник и подмести. Или послать кибера. Хроноклазмы кончаются, затухают сами собой, я же сказал! Не о том забота... Многие наши люди оказались здесь, здесь, здесь,— он провел пальцем по гребням складок.— Что будет, когда хроноклазм исчерпает себя? Вот...

Он разжал пальцы, удержав в них лишь одну складку.

— Стабильно лишь наше время. Оно уцелеет вместе с оказавшимися в нем вкраплениями прошлого. Все остальное вернется в прежнее состояние.

— Что же тут плохого? — не понял я.— Конец всем нашим бедам, радоваться надо...

— Что ж, радуйся... Как только разгладятся складки пространства-времени, твоя Снежка станет недостижимой.

— Но...

— Никаких «но»! Ты думаешь, что если перенос во времени оказался осуществимым в природе, значит, мы уж как-нибудь все это повторим? Нет. Сейчас «складки» рядом, перейти с одной на другую можно без особых энергозатрат. Но как только они разойдутся — конец. Отправить в прошлое спасательную экспедицию — для этого придется устроить маленький хроноклазм, снова вздыбить обе Вселенные. Не одну, понимаешь, обе! Со всеми вытекающими отсюда последствиями. Если бы путешествие во времени было возможно, то наши потомки уже побывали бы здесь, в нашем сегодня. Однако их не было, нет и, очевидно, не будет. Теперь понимаешь, почему твое представление, будто Снежка может прожить в каменном

веке всю свою жизнь, даже умереть там, а ты все равно когда-нибудь вернешься к ней, юной,— ложно? На, выпей...

Я тупо кивнул. Слова Алексея точно рассекли мое сознание надвое. Одна его половина четко воспринимала окружающее, видела снова побледневшее лицо Алексея, прыгающий в его руке стакан, даже пятно на скатерти, тогда как другая корчилась от отчаяния.

— Выпей,— повторил Алексей.

Его голос был сух и бесцветен. Не глядя на меня, он наклонил вздрагивающую в руках бутылку, стекло, как и в тот раз, надсадно дзинькнуло о стекло, мир снова наполнился этим тонким, дребезжащим, невыносимым звуком, хотелось зажать уши, лишь бы его не слышать. А он звенел и звенел, даже когда Алексей отнял бутылку. Замороженный, он так и остался во мне. В окна заползал рассвет, такой пасмурный, что в его тенях потускнел воздух комнаты, а хмурое, с опущенными веками лицо Алексея застыло бледным пятном, которое не скрашивали рыжие, теперь будто подернутые пеплом волосы.

— Я еще не все сказал... Пока длится катастрофа и прошлые времена близки, туда возможен переход. Спонтанный, как это происходит, и целенаправленно обратимый для спасения тех, кто там оказался.

— Догадываюсь,— процедил я с желчным сарказмом.— Для этого всего-навсего нужна обыкновенная машина времени...

Алексей странно взглянул на меня. Всегда решительный, он словно колебался. Сам того не заметив, он потянул к себе мой стакан, сжал его в пальцах.

— Машина, конечно, нужна. Но это-то как раз не проблема.

— Разве?

— Она, видишь ли, уже есть...

— Что?! — Я вскочил.— Где она? Почему никто...

— Сядь,— тихо попросил Алексей. Он глядел на меня так, словно хотел и не мог выговорить что-то решающее.— Пожалуйста, сядь.

Я сел.

— Мы больше делаем, чем говорим. К чему будить, быть может, напрасные надежды? — Голос Алексея шелестел, как сухие листья.— Машина есть, мы сразу взялись за ее разработку, дело не в этом. Сначала, как водится, мы запускали в прошлое автоматы. Затем — животных. Те и другие возвращались... не всегда. Это не беспокоило, мы были уверены, что все успеем отладить. Сегодня ночью выяснилось — нет. Надо спешить, пока держится энергетический мост, иначе все бесполезно. Нет у нас времени на доводку, нет! Человек должен идти в разведку сейчас или никогда. Ты и Эя, так уж сложилось... В общем, лучшего выбора нет. Теперь понимаешь, к чему весь этот разговор?

Я порывисто шагнул к нему, сгреб, как воробушка, стиснул и закружил в объятиях.

— Пусти! — закричал он.— Ненормальный! Я тебя отстраню!

— Не посмеешь.— Я отпустил его, задыхающегося, чуть порозовевшего, ожившего.— Не посмеешь! Из тысячи добровольцев ты все равно выберешь меня — и потому, что ты мой друг, и потому, что только у меня есть свой человек в палеолите. Три шанса из пяти! Я думал, меньше. И нечего смотреть на меня, как на жертвенного агнца... И вообще,— продолжал я.— Не будь Эи, знаешь, как выглядел бы твой выбор? Дружеской протекцией.

Алексей удивленно уставился на меня.

— Протекцией?

— Конечно. Предпочтением одного перед другими.

— Вот об этом я не подумал. Такой риск — и протекция? Нет, ты сошел с ума.— Он наконец улыбнулся.— Все, больше ни слова.

Он подтолкнул меня к двери.

Я шел от Алексея не чуя под собой ног. Должно быть, у меня был диковатый вид, потому что вдруг послышался озабоченный голос:

— Что с вами? Помочь?

Я обернулся улыбкой идиота.

— Наоборот.— Мне захотелось обнять говорившего.— Это я должен кое-кому помочь!

Должно быть, он проводил меня недоуменным взглядом. Я не запомнил его лица, это мог быть любой. Какая разница! Никто еще ничего не знал, конечно, я выглядел ненормальным. Во мне все спешило и пело, я ускорил шаг, не без удивления обнаружив, что нога уже не болит. Верно замечено, что хорошие новости лучше всяких лекарств.

И все-таки... В прорези окон, клубясь туманом, валил промозглый рассвет. Опять это «но»! Оно незаметно подкралось ко мне. Я замедлил шаг. Все хорошо. Скоро все узнают, что хроноклазмы пойдут на убыль. Что наше будущее спасено и, сверх этого, даже есть шанс многих вызволить из прошлого. Если, конечно, моя разведка удастся. Если затем события не опередят нас. Какой горький и беспощадный парадокс: долгожданный конец катастроф означает гибель наших близких там, в прошлом! А продолжение бед, наоборот, сулит им спасение. Зато умножает число тех, кого катастрофа может вырвать из нашего времени. Так чего же желать? Будь выбор, что бы мы предпочли? Что бы решил я?

Нашел о чем думать, осадил я себя. Нет выбора и не надо. Все и так решено, ну и прекрасно. Мне своих забот хватит. Во-первых, надо подружиться с Эей и хорошенько ее расспросить. Во-вторых, не мешает отдохнуть. В-третьих...

В-третьих, я уже подходил к своей комнате, откуда почему-то доносился шум. Ничего не понимая, я рванул дверь, да так и застыл на пороге. По полу, сметая стулья, катался клубок сплетенных тел, это было так дико и неожиданно, что я не сразу сообразил, кто с кем дерется и что все это означает. А когда наконец разглядел дерущихся, это был шок посильнее прежнего.

— Вы что! — заорал я и кинулся их разнимать.

Это было непросто, потому что обе вцепились друг другу в горло, обе были сильны, обе исступленно ломали сопротивление противника. Но я пришел в такую ярость, что мигом, точно котят, отшвырнул к одной стене Эю, а к другой — Жанну. Да, во второй воительнице, я, к своему изумлению, признал Жанну...

— Вы что, спятили?!

— Это ты меня спрашиваешь?.. Откуда здесь эта сумасшедшая?!

Одежда Жанны была разодрана в клочья, располосованное лицо пылало обидой и гневом. Эе тоже досталось, и в ее глазах была ярость, только холодная, напряженная, как у человека, который знает, за что и почему он дерется. Едва оправившись от толчка, который ее отбросил, она со звериным упрямством в глазах опять ринулась к Жанне, но подвела недолеченная нога, Эя оступилась в прыжке. Я тут же схватил ее за руки, в них была нежеиская сила, вдобавок Эя не замедлила пустить в ход зубы, но я тоже был в бешенстве и, чем попало скрутив эту тигрицу, кинул ее на кровать.

— Что здесь происходит? — рявкнул я.

О, небо, давно ли я пытался постичь теорию иной Вселенной и мысленно побеждал само время?!

— Это я должна объяснять?!

Взгляд Жанны полыхал презрением. Я очутился меж фуриями, только Эя смотрела не на меня, а на Жанну, и ее руки, к счастью, были укрощены путами.

— Жанна!

— Что Жанна? — из ее глаз брызнули слезы.— Я-то при чем?! Феликс погиб, твой друг, а ты, а эта...

— Жанна, ты можешь замолчать? Выслушать? Кстати, оденься. На, держи куртку.

Моя уловка подействовала лучше всех убеждений и просьб. Жанна в недоумении оглядела себя, схватила куртку, поспешно провела рукой по лицу, по растрепанным волосам и — сработал женский инстинкт — кинулась приводить себя в порядок. Эя что-то прорычала ей вслед, я машинально погрозил кровати кулаком и через захлопнувшуюся дверь душевой стал торопливо объяснять, откуда у меня эта девушка и кто она.

Неистовый шум воды стих. Ни слова в ответ, но меня все-таки слушали. Наконец дверь открылась. Смерть Феликса точно обуглила

лицо Жанны, и, если бы не свежие царапины, оно казалось бы сошедшим с древней потемневшей фрески.

— Значит, вот как ты ее любишь...— прошептала она, будто в раздумье.

— Кого? — Я не понял.

— Никого.— Она глядела все так же тяжело, неподвижно, только грудь вскидывалась от судорожного дыхания.— Забудь. Как легко ты, однако, нарушил запрет!

— О чем ты, Жанна? Феликс, даже ничего не зная о Снежке, сразу сказал, что я прав.

— Не трогай Феликса! — Она уцепилась за косяк.— Он мертв, мертв, вы, живые, можете это понять?!

— Жанна,— сказал я с раздражением в голосе.— Хватит! Ты хотела видеть, как я переживаю гибель Феликса? За этим пришла?

— Нет!

— По-моему, да.

— Это не имеет значения...

— Верно. У нас нет времени...

— Не собираюсь тебе мешать.— Сухими глазами, будто и не плакала, она взглянула на меня, затем на Эю.— Бедная девочка... Будет ли у тебя время подумать о ней? Извини,— добавила она быстро.— Я тут наговорила лишнего, не обращай внимания. Ты удачлив, но лучше бы тебе не ходить в прошлое. Желаю доброй удачи, пойми это!

Она стремительно повернулась и вышла, оставив меня в полном недоумении. Что она хотела сказать? Была ли это невольная месть за Феликса, который погиб, спасая меня, или Жанна от чего-то предостерегала?

В растерянности я обернулся к Эе, с которой мне предстояло идти в прошлое. Ответом был неукротимый взгляд разъяренной женщины, которая, казалось, любое мое движение и слово была готова встретить рычанием.

До чего же просты и бесхитростны все трудности природы по сравнению с теми, которые мы сами себе создаем!

ГЛАВА ШЕСТАЯ

«Человек предполагает, а бог располагает» — так можно было бы сказать о последовавших событиях. Неважно, что никакого бога нет, его роль отлично берут на себя люди и обстоятельства.

Шли последние приготовления к старту в прошлое. В глубине ангара что-то простуженно сипело, по овалу машины, мигая лампочками, ползли дефектоскопы, всюду змеились бесчисленные кабели, они же свисали со сводчатого потолка, откуда-то тянуло сырым сквозняком, хотя, казалось, все входы были закрыты. Усталые,

с напряженно-сосредоточенными лицами, разработчики обменивались отрывистыми репликами, смысл которых по большей части был так же чужд моему уху, как речь инопланетянина; фигуры людей то возникали силуэтами в сером, будто задымленном свете, то исчезали в провалах ферм и конструкций. Мимо меня сигналя проносились верткие и тоже как будто озабоченные киберы, все спешили без суеты, что-то, как обычно, не ладилось, что-то требовало срочной переделки,— словом, все шло нормально. Представитель новорожденной профессии, которая еще не успела получить наименования (не называть же его «вдалбливателем информации»), парень моего возраста с робкими, но настойчивыми глазами цвета полевой незабудки и бледным от недосыпа лицом, втолковывал мне последние добавления к инструкции.

— ...Прецессия хода оставлена без изменений, но ее удалось сузить до величины плюс-минус... Запаздывание хроноореверса решено не устранять, поскольку это третьестепенный, практически не влияющий на безопасность фактор, а отладка потребовала бы перемонтажа...

Я кивал, вылавливая лишь новые сведения, ибо уже знал наизусть всю матчасть, все операции хода во времени, все правила, каковые, строго говоря, еще только предстояло установить, потому что данных для их разработки, конечно же, не хватало. В этом и состоял риск, хотя, разумеется, не только в этом. За всю историю науки, пожалуй, ни одна экспедиция не организовывалась в такой спешке и при такой нехватке исходных сведений. А что делать? На пожаре действуют, а не исследуют. Невиданный случай — не было даже техдокументации, она составлялась попутно. Поэтому и приходилось слушать, слушать, уже череп распирало от этого.

— ...Итак, повторяю. В окончательном варианте аппарат снабжен системой улавливания и аккумуляции любой энергии, какая обнаружится на месте, чем от трех до семи процентов снижен риск непредвиденного перерасхода резерва батарей. Речь идет прежде всего о подпитке солнечной энергией, однако возможны и другие решения, как-то...

Голос моего педантичного Вергилия звучал с такой отчетливостью и монотонностью, словно он истово боролся со сном и никак не мог одержать победу, но, странное дело, его слова почему-то тотчас укладывались в памяти, причем не только иконографической и кратковременной, а и в постоянной. Это был своего рода гипноз, сотрудники Алексея знали, кого выбирать в «наставники».

На корпус машины вскарабкался, нет, вполз какой-то улиткообразный аппарат. Должно быть, упрочнитель, так как позади себя он оставлял голубоватые пятна, некоторое время спустя они еще светились.

— ...Добавлен еще один индикатор. Прошу в кабину...

Мы пролезли в кабиииу. С прошлого раза, когда я тут был, хаос в ией поуменьшился, однако панель еще ие была установлеиа, иа меия отовсюду смотрели огoленные, похожие на медовые соты блоки кристаллосхем, некоторые гиезда вообще пустовали, кое-где торчали паутиииые усики перцептроиов, пахло иагретым рубекойлем, иа полу, под ногами, лежали (или валялись?) какие-то инструменты. Короче говоря, вид кабины свидетельствовал, что хроиотехиику, как и глиняные горшки, создают никак не боги.

Едииствениое, что, похоже, ие требовало доделок, это кресла, которых прежде не было. Стандартные, снятые, очевидно, с иовеиького космолета и освобожденные за ненадобиостью от противоперегрузочных устройств, оии радовали глаз своей привычиостью и иезапятнанной голубизной. Мы тут же их опробовали. Поерзав, я сразу убедился: сидеиья поставлены так тесно, что, будь мой Вергилий чуточку покрупией, правая рука водителя ощутимо лишилась бы свободы маневра. Это могло помешать, и я было раскрыл рот, чтобы предъявить претензию, но вовремя вспомнил, что Эя куда миииатюриее и, следовательно, никаких проблем тут не должно возникиуть.

Ой ли? Представив Эю рядом, я мысленно покачал головой, затем невольно улыбнулся. Было отчего хмуриться и улыбаться, вспоминая наше в то утро объяснение, когда я мрачно взял лиигвасцет, подошел к ней, разъяренной, и, сдернув путы, сказал:

— Ну, подставить тебе горло, чтобы ты могла отплатить за добро, или как?

Я не надеялся, что лиигвасцет немедленно заработает или что Эя устыдится, мною не руководил никакой расчет, просто мне так опротивели все эти, некстати, загадки и потемки женской психики, что я поступил по принципу «что будет, то и будет». На большее после всех встрясок не оставалось душевных сил.

Однако, к моему удивлению, из лингвасцета вырвались гортанные звуки ииой речи, аппарат перевел или, во всяком случае, попытался перевести сказанное. Он работал!

На Эю, впрочем, это ие произвело особого впечатления. Она не вцепилась мне в горло, как я того, признаюсь, ожидал, но и не ответила, а, разминая руки, уставилась на меня черными от злости глазищами, в глубине которых застыл то ли горький упрек, то ли затаенный вопрос.

— Сердишься? — продолжал я.— Тебе было больно? Извини, ты сама заставила...

Снова молчание, немой взгляд повелительиых и вместе с тем страдальческих, как у обиженного ребеика, глаз.

— Чего молчишь? Ты поиимаешь меия?

Оиа понимала, это я видел. В ее немоте мие почудился вызов.

— Так и будешь молчать? Ладно, уйду.

— К этой женщине?

Я так и сел. Палеолит заговорил. Но, бог ты мой, и там ревность! Только это проглянуло из глубины веков, первым приветом прозвучало оттуда, да так, что хоть смейся, хоть плачь. Мне стало до того тошно, что я едва не заткнул лингвасцет.

— Не твое дело,— сказал я через силу.— Так вот почему ты на нее кинулась.

Глаза Эи сверкнули.

— Ты нарушил табу, она нарушила,— смерть!

Вот тебе, тупо подумал я. Вот тебе, идиот, не прикладывай свою мерку ко всему на свете. Какое же табу, интересно, мы с Жанной нарушили? Женщине не входить в чужую пещеру? Мне не покидать эту пещеру без спроса?

Механический клекот лингвасцета придавал нашему объяснению оттенок нереальности, хотелось выглянуть в окно, чтобы сообразить, какой сейчас на дворе век. И с этой неразумной оголтелой дикаркой отправляться в хронопутешествие?! Расспрашивать ее о Снежке?

— Слушай,— не выдержал я.— Я спас тебя? Спас. Накормил, позаботился? В чем же моя вина?

— Ты спас, позаботился, а затем привел другую женщину.

Так, все-таки ревность, дремучая, пещерная ревность... Ну, брат, попал же ты в переплет!

— Глупышка, она сама пришла. Сама, я даже ничего не знал. Разве так не бывает? Она мой друг, не более.

— А я?

— Ты тоже.

— Нет. Ты знаешь! Почему лжешь? Этой ночью я взяла тебя в мужья.

Я ошалело тряхнул головой. Захотелось опрометью кинуться вон, лишь бы не слышать этого звенящего в ушах безумия. Я тупо уставился на лингвасцет. Может, он переврал? Или Эя сошла с ума?

Ни то, ни другое.

— Мы вместе спали во сне.

— Во сне...

Вот оно что!

Я чуть не расхохотался, хотя мне было, ей-ей, не до смеха. Бедная девочка! Это же надо — выйти замуж в сновидении.

И самое глупое, теперь неизвестно, что делать. Ведь это для нее всерьез. Реально. До сих пор меня обманывало, все-таки обманывало внешнее сходство Эи с девушками моей эпохи. Теперь истина предстала во всей своей парадоксальности: сознание Эи не отличало сна от реальности! Или, скажем осторожней, не всегда отличало. В нем путались подлинные и мнимые события, сновидение уравни-

валось в правах с действительностью. Эта особенность первобытного сознания была давно известна историкам, но я, признаться, не очень-то им верил. В голове никак не укладывалось.

Что же теперь делать?

Ничего, подсказал мне здравый смысл, ровным счетом ничего. Встать и уйти, крепко заперев за собой дверь, как если бы там остался не человек, а пума. Что еще можно сделать? Был план, замечательный план, взять Эю, чтобы она помогла быстро сориентироваться на месте, вернуть девочку к родным, использовать ее как посредника, в худшем случае обменять на Снежку. Отличный план, только, как видно, неосуществимый. Эя и хронолет?!

Я достал нож, протянул его Эе.

— Я не виноват. Я не спал с тобой, это тебе приснилось. Все это козни злого духа, который хочет нас погубить. Но если ты уверена, что я виноват,— убей.

Я действовал по наитию. Впрочем, я был уверен, что успею перехватить нож, так как Эя, конечно, понятия не имела о самбо.

Ее глаза расширились. Она взяла нож, недоверчиво провела пальцем по острию, блеск стали ее, кажется, удивил.

Я не шевелился.

— Ты любишь меня? — спросила она, поворачивая нож.

— Нет.

— Я тоже нет.

Вот те раз! Все мои умозаключения снова пошли насмарку, и, стыдно признаться, эти ее слова слегка кольнули мое самолюбие.

— Мужа, который не любит и не любим, не убивают. Нет табу...

Уф! Что ж, и на том спасибо. Эх, девочка, какие же мы друг для друга... инопланетяне. Только тебе, как ни странно, пожалуй, проще освоиться в моем мире, чем наоборот, потому что ты все тотчас сообразуешь со своими представлениями, пусть ложными, зато все-все объясняющими, а я так не могу, мне непременно надо добраться до истины, вот и блуждаю сейчас в потемках. Ведь чем меньше света, тем труднее зрячему, а слепому все равно.

— ...Нет табу, есть другая женщина. Такого мужа наказывают.

— Что-что?..

— Но ты меня спас. Долг противоречит долгу...

О, небо, когда же это кончится?! Пещерная, грязнолицая девчонка среди чудес иного мира решает, наказать или не наказать своего высокообразованного потомка, такая ирония кого угодно сведет с ума.

— Знаю! — Эя подпрыгнула.— Ты сильный, добрый, странный, чужой, ты можешь стать... Хочешь?

Блеснув, лезвие ножа рассекло воздух.

Вступив на покатый лед, надо скользить до конца. Я машинально

кивнул, тут же сообразив в испуге, что кивок, быть может, значит для Эи совсем не то, что для меня. К счастью, как потом оказалось, кивок и в ее мире выражал согласие.

— Дай руку...

Стиснув зубы, я протянул руку. Она приложила к ней свою, и прежде чем я успел опомниться, нож рассек кожу обоих. Наша кровь брызнула и смешалась.

— Теперь ты сестра мне, я сестра тебе, мы одна душа, одна жизнь!..

Глаза Эи сияли, как два черных солнца. Она говорила что-то еще, в упоении шептала какие-то заклинания, лепетала детские восторженные слова, означающие, что она теперь не одна, но закончила весьма прозаично:

— Сестра, я голодна, дай мне поесть, сестра!

Я встал, на негнущихся ногах подошел к синтезатору и заказал завтрак. Если бы всю эту ночь и утро я провисел вниз головой, то, верно, чувствовал бы себя лучше.

Зато я обрел «сестру».

Меж тем мой голубоглазый Вергилий, плотно устроившись на том месте, где вскоре должна была оказаться Эя, все говорил и говорил, я послушно кивал, память жила своей жизнью, сознание — своей, как вдруг это хрупкое равновесие было нарушено.

— ...Говорю это в последний раз, поскольку вы стартуете раньше, чем предполагалось, и, следовательно, возможность все повторить целиком отпадает.

— То есть как? — удивился я.— Старт перенесен?

— Да, он состоится сегодня, ориентировочно в двадцать три ноль-ноль. Эту новость я отнес напоследок, чтобы она не помешала вам усвоить нужную информацию.

Отнес напоследок! Да, конечно, спокойствие, спокойствие, прежде всего спокойствие и невозмутимость. Я глубоко втянул дымный или кажущийся дымным воздух. Все вокруг выглядело скорей полем технического разбоя и разорения, чем благонравной картинкой предстартовой готовности. Конечно, наладчикам видней, разумеется, им видней. Опережение на целых восемь часов, возможно ли это? Значит, возможно.

— Успеете? — Это вырвалось против моей воли.

На лице моего Вергилия, когда мы вылезли, впервые проступила бледная, как осенний рассвет, улыбка.

— Волнуетесь?

— А вы? — ответил я вопросом на вопрос.

— Я, как видите, трепещу. Ничего, привыкну. Понимаю, вас смущает весь этот кажущийся беспорядок. Психологи правильно советовали не допускать вас и дублера к рабочему месту, пока не

будет наведен глянец, чтобы вы не усомнились в надежности техники. К сожалению, времени нет, все надо осваивать на ходу.

— Не беспокойтесь, нам ли привыкать к технике во всех ее видах,— сказал я, не очень кривя душой, потому что одно дело беспокоиться о сроках и совсем иное хоть немного не доверять машине, от которой зависит твоя жизнь.— Вы закончили, я могу быть свободным?

— Нет. Прежде я должен проверить ваши знания. Пожалуйста, начните с самого начала — и в полном объеме.

— Послушайте.— Мой голос напрягся, потому что его заглушил кибер, который с лязгающим звуком пытался преобразовать синеватый брусок металла в нечто, похожее на каракатицу.— Послушайте, я делал это уже раз десять. Вам мало?

Ответом был укоризненный взгляд.

— Так надо, скоро прибудет комиссия.— Он вдруг перешел на свистящий шепот.— Она уже здесь.

Комиссия действительно приближалась. По-журавлиному вскидывая ноги, через кабели шествовал Алексей. Двое других были мне незнакомы. Один был в грязной, как смертный грех, робе, он на ходу тряпкой вытирал руки, заодно ему не мешало бы вытереть лицо. Нет, все-таки я его знал: то был генеральный конструктор. Второй был розов, улыбчив и свеж, словно только что хорошо выспался, искупался в море и теперь готов послушать хорошую музыку, стихи или что-нибудь другое столь же приятное.

— Начнем,— без всяких предисловий сказал конструктор, как только мы поздоровались.

Алексей и улыбчивый кивнули. Конструктор глядел на меня с прищуром, точно выискивал, в какой части моего существа может скрываться брак. Улыбчивый смотрел ободряюще, усталое лицо Алексея выражало желание поскорее покончить с этой формальностью. Мой голубоглазый наставник отступил в сторону, от его педантичного спокойствия следа не осталось, он весь был трепещущей жилкой. Вокруг даже шум, казалось, притих. «Интересно,— пронеслось в мыслях.— Как они будут меня провожать? Цветами? Ой, вряд ли, не то время...»

Я набрал в легкие воздух и начал:

— Аппарат, именуемый хрономашиной, предназначен для автономного перемещения в...

— Это никого не интересует,— с ходу перебил меня главный. Перебил с таким раздражением, что я было обиделся, но тут же сообразил, что это и есть проверка — посмотреть, как поведет себя человек, которого внезапно сбили с толку.

— Это никого не интересует,— повторил он (улыбчивый закивал).— Не сомневаюсь, что матчасть вы освоили. Что вы пред-

примите, если во время перехода внезапно начнете терять сознание?

— Для начала прибегну к помощи нашатыря.— Я сдержал улыбку.— И других средств стимуляции, каковые предусмотрены в бортовом комплекте.

— Кнопка приведения их в действие?

— Четвертая в левом подлокотнике.

— Крайняя,— уточнил конструктор.— Не подействует?

— Даю реверс.

— Не успели, потеряли сознание. Тогда?

— Тогда сработает автоматика.

— Опишите, каким образом.

Я начал описывать. На лицах всех троих возникла внимательная скука.

Однако долго им скучать не пришлось. Не потому, что у конструктора был наготове очередной подвох, а потому, что в помещении возник Горзах.

Сам. У меня екнуло сердце. От входа до места, где мы стояли, было метров пятьдесят, он их пересек с проворством хорошо смазанной шаровой молнии.

— Извините, что вмешиваюсь. Вы разрешите? — Его улыбка осветила всех, точно прожектор.

— Да, пожалуйста,— слегка недоуменно сказал главный.

— У меня к кандидату в хронавты всего один вопрос. Вы привели к себе девушку из прошлого, некую Эю?

Это был не столько вопрос, сколько утверждение.

— Да,— сказал я.

— Тем самым нарушив приказ.

— Какой приказ? — удивился конструктор.— Впервые слышу.

— Вы и не могли слышать, вас он не касался.

— Мне он известен,— вмешался Алексей.— Я...

— С вами мы все обсудим, вы не из числа тех, кто отдает и отменяет приказы.— Горзах говорил спокойно и неторопливо, но его слова как будто отодвинули присутствующих.— Итак,— он снова обратился ко мне,— вы нарушили приказ.

— Дело в том, что...

— Знаю. Я это учел, но принять и оправдать не могу. Вы отстранены и исключены, можете быть свободны. А вы,— он вернулся к членам комиссии,— готовьте к отправке дублера.

Все, я больше для него не существовал. Кто-то, оказалось — улыбчивый, вовремя схватил меня за руку.

— Послушайте, вы! — крикнул я бешено.— Значит, по-вашему, надо было оставить эту женщину погибать... Значит, я должен был...

— Вы обязаны были делать то, что обязаны делать все,— неожиданно мягко сказал Горзах.— Приказы либо выполняются, либо нет, и тогда наступает развал. Третьего, увы, не дано. Вы поступили благородно, но противообщественно, иного мнения быть не может. И пожалуйста, не задерживайте нас. Дублер, полагаю, подготовлен не хуже? Его зовут, если не ошибаюсь, Нгомо?

Он повернулся к членам комиссии, я снова перестал для него существовать. На щеках Алексея выступили красные пятна, брови генерального конструктора как поползли вверх, так и застыли в недоумении. Лицо третьего члена комиссии ничего не выражало. В зале стало тише, к нашему разговору явно прислушивались.

— Дублер, разумеется, подготовлен,— медленно проговорил конструктор.— Его фамилия, вы не ошиблись, Нгомо. Все же я хотел бы уяснить причину столь необычного отстранения. Меня это както касается, а я почему-то не в курсе.

Алексей делал мне отчаянные знаки: молчи!

— Мне известна эта история,— заговорил он, опережая Горзаха.— Вот она вкратце...

Он уложился в минуту. Только факты, но каждое его слово молотом рубило воздух, и брови конструктора поднялись еще выше, хотя, казалось, они и так уже были вскинуты до предела.

— Таким образом,— закончил Алексей,— данный поступок дал нам ценную информацию и повысил шансы на успех. О моральной стороне дела не говорю, она и так ясна. Настаиваю на пересмотре решения.

— Да, так тоже нельзя,— внезапно сказал улыбчивый, которому теперь, впрочем, было явно не до улыбок.— Проступок налицо, но есть смягчающие обстоятельства. Весьма и весьма смягчающие.

— И что же вы предлагаете? — быстро спросил Горзах, но при этом почему-то посмотрел на генерального конструктора.— Простить и вдобавок увенчать его лаврами первопроходца?

— О чем вы говорите? — не выдержал Алексей.— Какими лаврами? Человек рискует собой, а вы... Даже в старину солдату давали возможность искупить свой проступок кровью!

— Именно потому, что сейчас иное время, я и принял решение отстранить,— отчеканил Горзах.— Скажите,— он снова посмотрел на генерального,— если в своей машине вы поставите всего одну ответственную деталь, в надежности которой не уверены, чем это может обернуться?

— Это риторический вопрос,— сказал тот.— Если бы я заложил в конструкцию ненадежный элемент, то тут же дал бы себе пинка за ворота.

— Я нахожусь в точно таком же положении,— кивнул Горзах.— Только моя машина, не сочтите за хвастовство, еще огромней и

от ее работы, это опять же факт, зависит судьба всего человечества. Я подтверждаю свое распоряжение.

Самое ужасное, что Горзах был прав, убийственно прав. Спор еще продолжался, но мне уже стало все равно. Я побрел к выходу. Все прыгало и двоилось, как тогда, в подбитом эмиттере.

Так я шел, сам не зная куда. Когда ко мне вернулась способность оценивать окружающее, я обнаружил себя на берегу пруда сидящим с пучком весенней травы в руках. На темной воде, как и тогда, когда мы лихо взмывали в небо, чтобы схватиться с огневиками, желтели палые осенние листья, только их теперь прибило к берегу, они покачивались на мелкой волне, чуть слышно скреблись о тростник. Ветер шорохом пробегал по ивам и ветлам, космы ветвей слабо рябили неподвижную и черную у их корневищ воду, небо было мглистым и таким спокойным, словно на земле никогда ничего не происходило, не происходит и произойти не может, а будет все тот же вечный круговорот дня и ночи, весны и осени, жизни и смерти. По зажатой в пальцах травинке ползла крапчатая букашка, она упорно спешила к ее игольному острию, не ведая, что дальше никакого пути нет.

Не знаю, долго ли я так сидел. Время потеряло значение, боли не было, только глухо саднила обида, что никто в целом мире даже не поинтересовался, где я, что со мной, в какой пустыне я нахожусь. Впрочем, и это было правильно, кто же сейчас располагал свободной минутой, уж во всяком случае не мой дублер Нгомо, тем более не Алексей. Все было правильно, только от этой правильности ни на что не хотелось глядеть, а хотелось не жить, не думать, не чувствовать, как вот эта букашка, еще лучше — травинка.

И когда на берегу показался Алексей, сердце не сжалось, не забилось быстрей, не стало мне ни легче, ни горше, я равнодушно следил за приближением друга. Он шел, срезал тропинку, в какое-то мгновение мне даже показалось, что он, как Христос, пройдет сейчас по воде, такое у него было отрешенное лицо.

— Пережил? — Он опустился рядом.

Я промолчал.

— Пережил? — повторил он.

Я кивнул.

— Хорошо, давай тогда поговорим о деле.

— Мое дело,— буркнул я,— лопата где-нибудь на побережье

— Верно, мускулами ты не обижен.— Я смотрел на воду, он посмотрел туда же.— Сдался, значит, признал правоту Горзаха...

Я пожал плечами. Какое это теперь имело значение?

— Дурак, идиот! — яростно прошипел Алексей.— Прав ты, а не Горзах. Как ловко он все выстроил: преступление, наказание, ненадежный винтик — фьють! — все согласно кивают...

— А разве не так?

— Трижды не так! — Рука Алексея рассекла воздух.— Вернее, все так, если мы дружно признаем, что общество — это машина, тогда, естественно, люди получаются винтиками. И ради этого человечество боролось? Опомнись! Мы это или не мы, если нас так легко сбить с толку? Чем тебя смяли? Есть приказ, человек его нарушил, значит, он преступник, вон его. Какая формальная, внешне правильная, на деле самоубийственная логика! Это реле должно включаться и выключаться, а что сверх того, то неисправность!

— Ты кого убеждаешь? — хрипло спросил я.— Кому читаешь мораль?

— Тебе!

— Катись ты... Все это общие слова. Нарушил я или нет? Нарушил. Суть в этом.

Алексей тяжело вздохнул.

— Я мог бы сказать тебе всего два слова, и ты бы... Но подожду. Речь идет о куда большем, чем все твои переживания, и даже больше, чем все хроноклазмы, вместе взятые. О моральных ценностях, о внутреннем долге разумного человека и всем прочем, на чем мы стояли, стоим и что теперь, пользуясь ситуацией, Горзах и ему подобные хотят заменить слепым повиновением, потому что так легче им, так вроде бы эффективней в кризисной ситуации. Эффективней, не спорю, только в капкан попасть просто, а выбраться из него... И ты, ты оказался слабым звеном! Думаешь, Горзах уничтожил тебя походя, случайно выбрал для этого такую минуту? Ничего подобного, ему нужна была громоносная, на виду у всех кара, яркий пример неповиновения приказам и сурового, но справедливого за то наказания. Чтоб другим неповадно было. Уж если ты сам признал справедливость отстранения и сложил ручки, то... А что ты, в сущности, сделал? Спас человека...

— Вопреки приказу! Не один же Горзах его принимал...

— А хоть бы и вопреки! Жизнь человека, долг помощи — это ли не высший приказ, который отменяет все остальные? Подожди, подожди, дойдем и до запрета, который ты нарушил... Чем он, в сущности, вызван? Страхом. Да, да и не смотри на меня так. Страхом, потрясением, шоком. Еще бы, такое вдруг навалилось! А тут еще озверелые морды, чего доброго, вторгнутся. Отсюда самое простое решение: наглухо изолировать. Избавиться от помехи, потом разберемся. А если трезво взглянуть? Три-четыре анклава действительно опасны, там всех этих, с саблями и автоматами, лучше попридержать, чтобы не натворили беды. А в остальных случаях? Там, если разобраться, бедные, несчастные люди без медицинской помощи, без запасов пищи, наши, между прочим, прапрабабушки и прапрадедушки. А мы их — в резервацию! Именно так, будем называть вещи своими

именами. Некогда нам с вами разбираться, еще заразу к нам занесете, вшей в наше светлое-то будущее натащите, зарежете когонибудь... Верно, все это возможно, но ведь со стыда можно сгореть, так поступая! А все шок. В угаре мы, брат, в угаре, поэтому, кстати, и Горзаху внемлем. Запрет-то — насквозь ошибка! Или ты думаешь, что Совет не может ошибиться, человечество не может ошибиться? Еще как может. И ведь для обихода этих несчастных, более, чем мы, несчастных, всего-то и требовалась какая-то сотая доля наших общих усилий. Неужто бы не наскребли? Нет, дорогой, в угаре мы, в угаре, отсюда и эта ошибка. Знаешь ли ты, сколько решений Совету приходится принимать каждодневно, срочно, немедленно? Не знаешь. А я поинтересовался. Ужас! Тут физически невозможно продумать все как надо. И не то удивительно, что мы делаем глупости, а то, что их, в общем, не так много...

Алексей был на пределе, в таком неистовом состоянии он действительно мог пройтись по воде, как посуху. Он был прав: мы уже не были сами собой, мы давно стали другими, ибо жили в напряжении, которое выпадает разве что солдатам в бою.

Я поскреб подбородок.

— Знаешь, с этой позиции я как-то не вдумывался... Не до того было... Вероятно, ты прав, только к чему это теперь? После драки кулаками не машут.

— Верно.— В глазах Алексея мелькнула ирония.— Но, во-первых, эту «драку» уже обсуждает все человечество.

— Как? Ты добился...

— Не я. Твой отряд разведчиков потребовал немедленной связи с Советом и со всем человечеством. Весь, во главе с вашей Жанной д'Арк...

На глазах у меня выступили слезы.

— Во-вторых,— продолжал Алексей,— уже ясно, что большинство на твоей стороне. Повелительные замашки Горзаха и до этого обратили на себя внимание, так что с тобой он крупно просчитался. В-третьих, все подумали о людях прошлого, как следует подумали... Полагаю, что тот приказ уже отменен. В-четвертых, у нас не оказалось дублера.

— Как это не оказалось? А Нгомо?

— Нгомо, видишь ли, заболел. А другого дублера нет, не успели подготовить.

— Нгомо заболел?! — Я вскочил.— Чем?!

— Да уж не знаю чем.— Алексей отвел взгляд.— Заболел, и все.

Я не верил ушам. Чтобы Нгомо, несгибаемый Нгомо заболел, да еще в такой миг? Этого быть не могло!

И вдруг я понял. Ноги ослабли, я опустился на землю.

— Спасибо, ребята...— только и мог я выговорить.

— Твое «спасибо» — это дело, которое ты еще и не начинал,— сухо сказал Алексей.— Мы тут собрались все, кто проектировал, строил, и обдумали, как быть. В конце концов, за свое дело ответственны мы. Короче, пошли. Твои переживания нас больше не интересуют. Учти, если медики придерутся...

— Этому не бывать! Особенно, если ты дашь мне минутку.

— Зачем?

Ни слова не говоря, я скинул одежду. Вода обожгла холодом, это было то, что надо. Вниз, все глубже и глубже тело ввинчивалось, преодолевало тугое сопротивление воды, она смывала всю душевную накипь и гарь, расступалась под натиском мускулов, безраздельно повиновалась мне, ничто более уже не могло противостоять моим усилиям, мир был прекрасен даже своей темной, как эти глубины, трагичностью.

В свой рывок я вложил столько энергии, что руки по инерции глубоко ушли в донный ил. Теперь вверх! Время — иная среда, ну и что? Я не один, никогда не был один и не буду, и сколько бы вселенных ни окружало нас, они расступятся перед нами, как эта тугая, холодная, вечная вода, к которой боязливо подступаешь в младенчестве и которая затем дарит радость.

Вода забурлила под ударами рук, качнулась крутыми отвалами, волной накатила на берег, я вышел в этом всплеске, привычно унял биение сердца и шагнул к Алексею.

— Можешь проверить пульс.

— Верю.— Он, не глядя, швырнул мне одежду.— С атлетизмом все в порядке.

— Как и с техникой,— отпарировал я.— Суть теми же мускулами.

Алексей безмолвно покачал головой.

— Все-таки не верится, что Горзах хотел стать над нами,— сказал я, одеваясь.— Не могу представить, чтобы в наше время...

— В наше ли? — задумчиво сказал Алексей.— Кризис есть кризис, он всех отбрасывает назад, в прошлое.

Я кивнул. Что верно, то верно.

— Дело не в Горзахе.— Носком башмака Алексей наподдал камешек.— В нас. Собственно, кто мы есть? Клеточки сверхорганизма, именуемого человечеством. Чем сложнее общество, тем сильнее взаимозависимость его членов, тем выше слаженность и, стало быть, жестче связи. Тенденция муравьизации — вот что мы объективно имеем. Но,— он поднял руку,— столь же объективна, по счастью, другая, прямо противоположная тенденция. Прогресс невозможен без новаторства, а для новаторства нужна творческая, никакая иная, личность. Столь же неизбежен рост ответственности каждого за всех, необходим все больший интеллект, нужна все большая самодисциплина, ибо ошибка муравья не трагедия для муравейника, а

глупость человека, в руках которого уже космическая мощь, может погубить планету. Противоречие! Жесткая взаимозависимость, которая стремится превратить человека в специализированную клеточку сверхорганизма, а с другой стороны, наоборот, необходимость предельного саморазвития личности как творца и гражданина. Так все и балансирует на лезвии... Стоило обстоятельствам измениться, тут-то и наступил час Горзаха. Нужный человек в кризисной ситуации, необходимейший! Ему стали охотно повиноваться, так надо в бурю, это разожгло его честолюбие... Прошлое не умерло, оно дремлет в нас, а в нем не только мудрость, но и безумие. Верно было сказано: не бойся природных катастроф, бойся духовных, от них человечество страдало горше всего!

— Ну, это нам не грозит,— возразил я.— Не то общество, не те люди. Жаль Горзаха!

Алексей фыркнул.

— Он был одним из нас, между прочим, и, конечно же, не хотел зла! Ладно, не о нем печаль, ему помогут, уже помогли. А вот ты вскоре останешься один.

— Это ты к чему? — Я насторожился.

— На всякий случай.— Он посмотрел на меня долгим испытующим взглядом.— Ты очутишься в ином не только физическом, но и нравственном времени. Один. Три шанса из пяти; этот внешний, что ли, риск мы видим отчетливо. А как с внутренним, душевным? Ну вот.— Голос его споткнулся.— Теперь я, кажется, сказал все.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

На стартовой площадке все было так, словно я ее и не покидал. Завидев нас, генеральный конструктор, чья спецовка стала еще более замызганной, махнул рукой, и киберы принялись отключать и оттаскивать кабели. Все было предельно буднично, и я понял, что обойдется без напутственного церемониала и даже без последней проверки моих знаний, поскольку отпущенное на это время съел инцидент с Горзахом. Впрочем, обрадоваться я не успел, ибо меня уже поджидали медики, а там, где начинается медицина, кончается свобода воли.

Эя уже была в медотсеке — спящая. Накануне мы много спорили, как с ней быть. Мне доказывали: везти ее бодрствующую — все равно что отправиться с ребенком, который интереса ради в любой миг способен щелкнуть каким-нибудь переключателем. Я же настаивал, что побратим выполнит любую просьбу, даже пожертвует собой, не задумываясь, так что Эя, следовательно, просидит не шелохнувшись, если я возьму с нее слово. Честно говоря, я не был в этом столь уверен, реакция Эи на окружающее, как показал опыт этих дней, часто сбивала с толку, но мне претила сама мысль

везти ее усыпленную, словно какого-то звереныша. Раз за разом я убеждался, что ум Эи под стать моему, только он иной, не детский, но и не взрослый, а просто иной, иногда понятный в своих суждениях, чаще загадочный и непредсказуемый. В пещерах она, кстати говоря, никогда не жила. Наш спор решили срочно подключенные к обсуждению историки, которые дружно склонились к мнению, смысл которого нетрудно было свести к вариации на тему «береженого бог бережет».

Теперь Эя лежала подле меня тихая, усыпленная, а над нами прохаживались паучьи лапы диагноста, который просвечивал, замерял и оценивал все, что только можно замерить в человеческом организме. Никакой боли, но ощущение не из приятных, когда над тобой распростерся этакий мигающий огнями осьминог. Пожалуй, историки были правы. Пожалуй, Эя такого не выдержала бы, сколько бы я ее ни просил, и, чего доброго, врукопашную схватилась бы с диагностом.

Мне и то было немного не по себе, хотя я не раз встречался с диагностом. Такова уж, видимо, человеческая природа, что, доверяя машине, мы ее все-таки чуть-чуть побаиваемся, во всяком случае века привычки не изгладили это чувство до конца; можно сказать «брысь» киберу и тут же о нем забыть, можно с тем же безразличием усесться за штурвал обычного космолета, но когда машина тебя изучает, в душе поднимается что-то дремучее. Так или иначе, диагност подтвердил, что со мной все в порядке, правда, тут же добавил, что в иных условиях он настоял бы на длительном отдыхе.

Лица окружающих посветлели, кто-то даже облегченно вздохнул; самое удивительное, что нервно-физическую годность Эи диагност признал без всякой оговорки. Вот это устойчивость!

Я встал, оделся, проследил за тем, как одевают Эю. Умытая, причесанная, в добротном костюме разведчиков, она более ничем не отличалась от девушек нашего времени — пока спала, разумеется.

Никаких торжеств, как я и предполагал, не последовало. Два-три крепких объятия — это все. Мне помогли залезть в люк, подали туда безвольное тело Эи, помахали рукой, я удивился, сколько собралось народу. Последним исчезло взволнованное лицо моего голубоглазого наставника, который, привстав на цыпочки, беззвучно шептал что-то, может быть, давал последние советы. Выходная мембрана затянулась.

Я привязал Эю, затем себя, огляделся. Внутри кабины ничто не напоминало о недавнем разоре, все действовало, что надо — светилось, что надо — подмаргивало крохотными огоньками, успокоительно тикало, нигде ни царапинки, ни пылинки, словно грубый инструмент никогда ни к чему не прикасался, а все вышло само собой, без мук

овеществилось, как было задумано. Впрочем, особо присматриваться было некогда, да и незачем, все было и так известно даже на ощупь и, само собой, трижды перепроверено. Следя за индикаторами, я отвечал «в норме, в норме!», то есть делал примерно то же самое, что недавно, обследуя меня, делал диагност.

Наконец пошел отсчет предстартовых секунд, такой же обычный, как если бы предстояло отправиться на соседнюю планету.

...Три, два...

Еще секунда, и я исчезну, провалюсь туда, откуда, как из царства мертвых, еще никто не возвращался.

...Ноль!

Я ждал толчка, полета, удара.

Ни звука, ни вибрации, ничего.

Сердце окатила тревога. Мне вдруг почудилось, что я уменьшаюсь, что так же точно уменьшаются кресла, табло и переключатели пульта, сжимается сама кабина, хотя если так было в действительности и все сокращалось соразмерно, то заметить этого я никак не мог.

Выходит, началось?..

Длилось это мгновение, но ощущение было неприятным. Настолько, что в поисках поддержки я глянул на Эю. Ее тело по-прежнему обвисало на ремнях, но глаза были открыты и смотрели невидящим взглядом сомнамбулы.

Я не успел ни испугаться ее взгляда, ни удивиться, потому что сразу же началось то, к чему никто из нас не был готов, ибо ничего подобного теоретики представить себе не могли, а счастливо вернувшиеся из времени животные, понятно, безмолвствовали.

Как бы все это выразить?

Рациональное объяснение инаковости, в которой я очутился, бессильно передать мои впечатления, но без него вряд ли можно обойтись.

Все, что ни на есть в этом мире, подобно фотопластинке, и бросовый камешек под ногами хранит в себе сведения о прошлом Земли. В нем же вся физико-химия, по законам которой он возник, существовал, менялся. Такова скрытая душа всех вещей. Неузнанная, она присутствует в нас. Так перед разумом открывается двоящийся путь познания — вовне и в себя, в мир и в его самоотраженне. По виду оба направления противоположны, на деле едины, как ветви и корни дерева, одни из которых тянутся к свету, а другие уходят во мрак. Познавая, мы узнаем, и наоборот. В этом, по теории Иванова — Бодчены, секрет интуиции, тех «внезапных и опасных», как их назвал де Бройль, скачков ума, которые без видимого участия логики вдруг приводят к открытиям. Дотоле разрозненные факты так внезапно, естественно и самоочевидно укла-

дываются в рисуиок истины, будто в подсознании для них уже существовала каива, матрица. Она и была, поскольку мы в мире, ио и он в иас.

Теория позиаиия-узиаваиия прояснила, каким образом древние мыслители без точного ииструмеита и опыта смогли представить атомную структуру вещества, как оии вывели происхождение человека от рыб, догадались о сложности вакуума и о многом другом, что подтвердилось лишь спустя тысячелетия. Одиако Иваиов с Бодченой, как и их последователи, спасовали перед такой загадкой. Жизиь развивалась в пространстве и во времеии; свойства того и другого вроде бы одииаково должны были запечатлеться в ией, следовательио, познающий мозг вроде бы одинаково способен проникиуть в глубины того и другого. Но если мысль очень рано прозрела тонкие, скрытые, неочевидные свойства и особенности простраиства, то в познании времеии она словно наткнулась на глухую преграду. Время абсолютно, всюду одинаково и всюду едиио; так думали до двадцатого века. Почему здесь все так затормозилось? Ни малейшего узиавания, ии одного прозрения! Неужто мозг, это изумительиое зеркало глубинных черт природы, здесь не запечатлел ничего?

Похоже, я получил ответ... Но какой! Истина приоткрылась, едва я углубился во время. Мы, как принято, искали его отражение в психической яви, а оно, оказывается, давало о себе зиать в сновидениях!

В никем не испытаиином состоянии перехода из настоящего в прошлое я узнавал знакомое, то, что уже мелькало в сновидениях, где время причудливо растягивалось и сжималось, рвалось, наслаивалось, искажалось, выворачивая и тасуя причиино-следственные связи. В хаосе иабегающих образов сна, как я теперь понимаю, и проявлялись скрытые отражения времеиных свойств мироздания. Просто мы их не там искали; ведь сновидения, мнилось нам,— это заведомая фантастика, антипод действительности!

Обо всем этом я, конечно, подумал задним числом. Тогда было не до этого. Все перемешалось, как в сиовидеиии. И не так, как в сновидении, все же не так... Но похоже. Я не мог отличить мига от вечности. Не ощущал тела. Близкое становилось далеким и наоборот. Огоньки индикаторов распускались цветами. Эя то пропадала, то возникала, причем я знал, что она сидит рядом, но зто не мешало мне видеть ее перед собой, и не в той одежде, в какой она была теперь, а в прежней юбочке. Пространство кабины деформировалось, мутнело частями, иногда двоилось, как в зеркале, делалось прозрачным, хотя пульт, даже будучи лугом, ни разу не исчезал, оставался все-таки пультом, хотя и необычиым. Более того, я осознавал показания приборов, даже мог их контролировать. Помнил о кнопке в подлокотнике, которую должен был нажать в случае угрозы об-

морока, знал, что этого ни в коем случае нельзя делать, только не знал почему.

Ума не приложу, как одно сочеталось с другим. Во всяком случае то был не сон. Такой была явь! Я знал, что не сплю (приборы затем это подтвердили). Все воспринималось как должное, я узнавал это реально-нереальное состояние, когда пространство может причудливо меняться и ничего особенного в этом нет, когда что-то способно как угодно возникать и исчезать, быть и не быть, являться из прошлого и вместе с тем принадлежать настоящему, поскольку в действительности нет ни того, ни другого, как нет ни «до», ни «после», вернее, есть, но меж ними какая-то совсем иная связь, чем та, к которой привык человек. Мне даже казалось, что я вот-вот пойму, каким образом мертвое прошлое может сосуществовать с настоящим и почему в этом нет никакого парадокса.

Страха не было, происходящее не давило кошмаром. Это странное, никем еще не изведанное состояние, в котором я находился, будило, повторяю, воспоминания о чем-то похожем, естественном и нормальном. Что ж, в конце концов невесомость свободного полета присутствовала в наших сновидениях задолго до того, как человек вышел в космос. Сколько еще подобных неявных знаний, быть может, таится в нас! Лишь изредка возникало то слабое удивление, которое мы порой испытываем во сне, когда, например, говорим с давно умершим человеком и удивляемся не тому, что он жив, а тому, что он в необычном костюме. Примерно такое же недоумение испытал я, когда, почувствовав вдруг жару, потянулся к верньеру климатизатора, а он прокрутился, прежде чем его коснулась рука. Легкое недоумение, не более того! Мимолетное, оно сразу же сменилось пониманием, что так и должно быть, раз я двигаюсь против хода времени.

Более связно и подробно рассказать о том, что было, я не могу, напрасны любые старания. Да, вот еще что: свет решительно всех источников, помнится, дважды менялся от красного до фиолетового и обратно, как если бы я представлял собой звезду с чудовищно переменной массой.

И последнее, может быть, самое главное. Отснятые кадры подтвердили многое из того, что видел глаз. А раньше, при запуске животных и автоматов, камеры ничего подобного не фиксировали!

Вот так...

Все оборвалось сразу, исчезло, будто ничего не было. Я не успел глазом моргнуть, как пульт снова стал пультом, а не цветущим лугом, кабина — кабиной, а не перекрестком мимолетных видений.

«Пробуждение» сопровождал легкий толчок. Аппарат должен был проявиться высоко над землей, чтобы в новой точке своего

пространственно-временного существования я не оказался вмурованным в толщу какого-нибудь холма. Толчок означал, что все уже закончилось и автоматика, как положено, тормозит спуск. Прежде всего я взглянул на альтиметр: да, полный порядок.

Порядок чего?

Явь сразу вступила в свои права, но пережитое было еще таким ярким, таким диковинным и, как я теперь понял, таким замечательным, что я подпрыгнул в порыве мальчишеского восторга. Все удалось, мы у цели — и какое открытие! Кто еще так проходил сквозь неведомое, кто?! Такая минута стоит жизни. Я ликовал, слабый свет индикаторов сиял для меня праздничными огнями, мерный обдув климатизатора кружил голову, словно ветер горной вершины. За мной, позади, остались века и тысячелетия, я шагнул за предел, который, казалось, навсегда был положен человеку, живой спускался в исчезнувший мир. Что перед этим все легенды и мифы о путешествиях в загробное царство!

Мгновение было прекрасно, увы, скептический рассудок не дал им как следует насладиться. Машина «проявилась», это очевидно. Где? Она благополучно спускалась. Куда? Все хорошо. А так ли это?

Радость притупила восприятие, я не сразу понял, что мне говорят приборы, тем более что они один за другим показывали: норма, норма, норма...

Но не все. И когда смысл очередного сигнала наконец завладел вниманием, это на меня подействовало так, что долгожданный толчок приземления не вызвал в душе ни малейшего отклика. Не веря себе, я зажмурился, снова открыл глаза, словно движение век могло что-то изменить.

Ничего не изменилось. Расходомер показывал убыль энергии вдвое большую против расчетной.

Вдвое...

И, что самое непонятное, счетчик не замер после приземления, на световом барабане стремительно сменялись цифры. Аппарат тратил энергию неизвестно на что.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Молниеносным движением я нажал на все выключатели сразу, то есть продублировал действие автомата, который должен был сделать все за меня и, надо полагать, сделал. Разумеется, сделал, мое вмешательство ничего не изменило. Я и так не сомневался, что кибермозг отключил главный ход тотчас после «проявления» (иначе не было бы и самого «проявления»), просто во мне тлела надежда, что из-за каких-то неполадок в цепи тормозная система спуска еще продолжала работать на холостом ходу.

Наивная, конечно, надежда, ведь я не ощущал никакой вибрации. Но не сидеть же сложа руки! Теперь я сделал все, что мог, а световой барабан продолжал вращаться, энергия утекала, или ее что-то высасывало из машины, как кровь из сердца.

Но не могло быть такого вампира! Тогда что же случилось, что?!

Наконец бег цифр замедлился. Это не было обманом зрения, расход энергии падал. Подавшись вперед, я с надеждой следил за этим замедлением, хотя оно уже ни на что не могло повлиять.

Все тише, все медленней... Я обливался потом, ничего другого, кроме скольжения цифр, для меня не существовало. Наконец барабан замер. В боковом окошечке цифры продолжали сновать, но это была мелочь, жалкие киловатты, которые тратились на работу кибермозга, на освещение и тому подобное.

Никакого резерва на возвращение не осталось. Более того! Все хитроумные накопители солнечной и ей подобной энергии, которые были придуманы на случай перерасхода, эту убыль могли восполнить разве что за тысячу лет.

Но больше всего в ту минуту меня напугала не перспектива собственной гибели, не провал всех наших замыслов, а полное непонимание случившегося. Энергия не могла исчезнуть так внезапно, потратиться неизвестно на что, пропасть незамеченно, но именно это и произошло.

Я высветил график расхода, прокрутил его от момента старта до момента «проявления». Это кое-что дало. Кривая, в общем, соответствовала расчетной, все шло как надо до тех пор, пока аппарат не «проявился». Тут она взлетела пиком! И каким... А ведь меня даже не качнуло. Как это прикажете понимать?

Меж тем в кабине становилось все жарче. Так и должно было быть, корпус хроноскафа должен был при «проявлении» окутаться плазменным облаком и нагреться. Все было правильно. Думая о другом, я машинально повернул регулятор, но вместо ожидаемой прохлады из климатизатора дохнуло, как из печи. Система работала наоборот, хотя только что она действовала исправно! Но не могли же спятить законы термодинамики?!

Наружный термодатчик более чем скромно представлен на приборной панели; я повернул голову, чтобы разглядеть его циферблат, но не успел.

Это навалилось, едва я повернул голову. Ничего не было, ровно ничего, ни звука, ни тени, ни туманного образа; только сквозь броню стен, сквозь всю изоляцию, сквозь все, чем меня оградили, проступил взгляд. Не взгляд, конечно, что-то совсем иное, но в этом была такая темная, давящая, гипнотическая власть, что веки ответили ей чисто рефлекторным движением. Я зажмурился. Но это не

отпустило меня. Огромное, как само время, неразличимое, оно, казалось, высасывало волю, как прежде высасывало энергию, давило на мозг, сгущало обжигающий воздух до невозможности вдоха. Сознание не затуманилось, а как бы застыло в этой тягучей лаве. Не было сил вырваться из плена этой черной пустоты, в которой был мрак настойчивого, медленно затягивающего водоворота, лишь чей-то голос вдруг прозвенел в ушах: «Не поднимай век!».

Но что-то еще боролось во мне с наваждением, противилось тому, что обволокло машину и мозг. Я даже знал, что: гордость. Не моя, личная, гордость всего человеческого рода, который все-таки вышел к звездам и был готов идти дальше, какое бы неведомое ему ни грозило.

Внезапно давление ослабло, словно то, что было снаружи, отвлеклось или отодвинулось.

Пользуясь этим, я стряхнул оцепенение, с трудом разомкнул веки и глянул на датчик наружной температуры.

Его зашкалило! Его зашкалило, хотя он был рассчитан на жар вулканической лавы.

Да ведь я просто сварюсь...

Опережая мысль, руки скользнули к переключателям пульта, их движение обморочно отдалось в сердце, но машина уже рванулась сквозь время, прочь от того чудовищного, что на нее навалилось.

Я прыгнул на сутки вперед и, держа пальцы на переключателях хода, ждал, что теперь будет.

Из климатизатора хлынул морозный воздух, бодряще ожег лицо, в ушах зазвенело, как при рывке из глубины на поверхность.

Мокрой ладонью я отер в три ручья струящийся по лицу пот. Отуманенный как в бане, воздух отпотевал на стекле и металле, но то уже были пустяки. Что произошло, что навалилось на меня там, откуда я едва унес ноги?

Гадать было бесполезно. Аппараты и прежде не возвращались из прошлого, мне выпал не лучший шанс, но я по крайней мере остался жив.

Пока жив.

Датчик наружной температуры показывал уже нечто вполне приличное, в кабине было еще свыше сорока градусов, но климатизатор работал без фокусов, в полном согласии с известными законами термодинамики, так что все вскоре должно было охладиться. Я бегло взглянул на мокро блестевшее лицо Эи, которая мирно продолжала спать, только рот был приоткрыт в частом натужном дыхании.

Здесь тоже все было в полном порядке. Откинувшись, я дал себе минуту роздыха. Я уже не боялся, что сквозь стену на меня

глянет нечто. Но тень пережитого не исчезла. Я доверял технике, оиа подвела. Я доверял природе, оиа наслала на меня ужас. Я доверял науке, она иичего ие смогла объясиить. Теперь я мог доверять только себе.

Мог ли?

Я чувствовал себя пылиикой в игре неведомых мне сил.

Ладно, посмотрим, еще не вечер, как говаривал мой прадед, когда я ходил пешком под стол.

Рука дрогнула, когда я протянул ее к рнфленой кнопке включения обзора.

Стены кабины протаялн, в лнцо хлынул нежаркнй солнечный свет. Он падал с чистого, ласкового своей умиротворенностью неба, освещая черную пустыню пожарища. Все вокруг было выжжено дотла, голо, лишь кое-где торчалн обугленные колки пеньков, два или трн из ннх еще курилнсь прозрачно сизоватымн струйками дыма. Ленивый ветерок нехотя мел по кочкам мутные завитки пепла.

Пожарнще, просто пожарище. Секунду-другую я сидел, улыбаясь неизвестно чему, следил за кружением гаревых смерчиков, наслаждаясь спокойствием по-осеннему неяркого неба. Дальний обзор с трех сторон заслоняли выжжеииые скаты холмов, зато впереди все просматривалось на многие километры. Там, за чертой гари, жухлая трава лугов смеиялась пестро-желтым лесом. Далее земля как-то сразу и круто вздымалась отрогами гор, темнела откосамн скал, высоко на гребнях и пиках сверкала белейшим снегом, который ниже чуть припудривал каменистые склоиы. В одном из отрогов что-то дымилось. Над всем возвышалась двузубая, блещущая льдистыми сколами гора.

Пора было будить Эю.

Она, как ребеиок, сладко посапывала во сне и совершеино подетски подтягивала к себе колени. Трудио было смотреть на нее без зависти. Все увидениое мной снаружи весьма совпадало с тем, что она рассказывала о родных местах, а если так, то ее беды уже закончились. Бесхитростно, не ведая ни о чем, она дважды пересекла время, пожила среди своих отдаленных потомков, видела грядущее своего рода н с тем же незамутиенным сознанием теперь возвращалась домой. Счастливая!

Я выключил обзор, достал ампулу, снял с нее протектор и приложил к запястью Эн. Бурая жидкость всосалась, не оставляя следа, мииуту спустя по телу девушкн пробежала дрожь, глаза открылись. Оиа подняла затумаиенные глаза, мгновение — и сон в них пропал. Еще мгновение — ее взгляд встретился с моим, надо полагать, далеко не безмятежным. Ее рука инстинктивно рыскнула в поисках ножа, дубинки, любого оружия и, не найдя лучшего, ухватилась за мой

разрядник; нам что-то грозит, вот как она все это поняла, и тотчас изготовилась к бою.

Благо враг был, конечно же, рядом.

Он был, это я ничего не видел и не понимал, она же с ходу сообразила, какова опасность. Вот вам, мудрые мои современники, задача: что увидела и поняла Эя?

Я, само собой, догадался лишь задним числом. Тесная кабина хроноскафа, разумеется, показалась Эе пещерой. А в пещерном сумраке, понятно, могут скрываться хищники. И ведь мерцающие огоньки индикаторов так похожи на зрачки притаившихся в засаде животных! В особенности спросонья, в особенности для такого человека, как Эя.

Она успела замахнуться разрядником, словно дубинкой. Мне стоило немалых трудов ее удержать и успокоить.

— Нет же, нет,— уговаривал я ее, когда она наконец затихла.— Это не глаза, видишь, я их трогаю, видишь? Можешь сама прикоснуться...

Она уже поняла свою ошибку, но окончательно ее убедило лишь осязание. Она тут же потеряла к огонькам всякий интерес.

— Где мы?

Хлынувший свет заставил ее зажмуриться и заслониться, но уже мгновение спустя она радостно вскрикнула:

— Взах! Взах!

Так, еще в моем времени, она называла двузубую, самую приметную вершину родных мест. Больше никаких сомнений не осталось: мы находились там, куда стремились попасть.

Я заранее, чтобы не пугать Эю, отстегнул привязные ремни, она могла свободно двигаться и, конечно, рванулась наружу. И, конечно же, ее руки уперлись в стену.

Радость тут же сдуло с ее лица. Она еще раз, уже с недоверием коснулась стены, такой прозрачной для взгляда и такой непроницаемой на деле, и рассерженно мотнула головой.

Ладно, это неважно. Место, значит, то самое. Время — осень, тоже сходится. Но почему Эя словом не обмолвилась об этом столбе дыма в отрогах хребта, приметная же деталь... Броская, такую нельзя запамятовать.

— Там что-то дымит,— сказал я.— Что бы, интересно, это могло быть?

— Дракон,— ответила Эя.

Так, так, дракон, стало быть... Что ж, дракон так дракон, огнедышащий, надо думать. Фумарола какая-нибудь, ничего удивительного. Тогда молчание Эи понятно. Дракон есть дракон, вряд ли его можно считать приметой местности, он же грозное существо, злой дух, который летает ночами, кушает маленьких непослушных детей

ч
вер
добр
рымн я
машннами,
в ее уме пло..
века. Вот летаюц
поверила. Еще был с
герой мог летать н лета
виденнями сна. Но чтобы огро..
чтобы зтн бездушные громады нспо.
вне ее представлений, хотя я, конеч.
«бездушнымн»; для Эи все на свете было с
разному. Возможно, нменно зто позволяло ей более
койно воспрннимать наш мнр.

Усаднв ее н взяв слово, что она ин к чему не прнкосне,
я двннул машнну. Конечно, до стойбища, где жнла Эя, быстрее всего можно было добраться по воздуху, но я не хотел привлекать вннмания, тем более являть собой «дракона в небесах», н, прнподняв аппарат на гравнподушке, тнхо повел его к окраине леса. Разумеется, Эя не поняла, почему я нзбрал окольный путь, н заволновалась. Я не стал объяснять, просто сказал, что мы можем двигаться только так. Она не возразнла, но, похоже, сделала для себя кое-какне выводы. Мое настроенне Эя чувствовала хорошо, н оно, вндимо, вернуло ее к первоначальной догадке, что где-то неподалеку спрятался враг, столь же могущественный, как я сам. Еслн бы я не взял с нее слова сидеть неподвнжно, какой-нибудь рычаг, боюсь, был бы на всякий случай сломан н превращен в оружие.

ı
ал,
ıамн
.колько
и отвечало
.ился за ствол
.ься Снежка.

и раздувались, словно она прн-
е хмурый, чем радостный.
..оженно спросил я.
- которому скользнла зыбкая тень лнствы,
.аниым из потемнелого дерева. Я схватнл бннокль.
.вергло в столбияк? Люди покинули стойбнще? Мы попалн
- в ту осеиь? Изображение прыгало, от волнення я не сразу поймал
то, что хотел. Наконец мне удалось справиться с оптикой.

Постройки оказались сложнее, чем это виделось нздалн, каждая хнжина представляла собой равноугольную спнраль, такая геометрня благоприятствовала сохраненню тепла очага и оттоку дыма наверх. Там, где серые слегн стен, сходнлись на конус, онн были черны от сажн н копотн. Машннально я отметнл поразившую меня деталь: последовавшне за палеолитом тысячелетня отверглн эту спиралевидную, как у ракушек, планнровку жнлнщ, зато ее возроднло наше время, на совершенно нном, разумеется, качественном уровие, ведь нашн эмбрнодома тоже обрели сходство с ракушками...

Возле одной нз хижнн не то дралнсь, не то вознлнсь лопоухне собакн. Затем в поле зрення вдвннулнсь самые обычные, грубо

сколоченные качели. Далее за кустами просматривался резной столб, очевидно, какой-то тотем; глубокие затесы создавали свирепое подобие человеческого лица, провалы губ, похоже, были измазаны кровью. Я содрогнулся при мысли, чья это может быть кровь, и поспешил подавить отчаяние.

Люди здесь были. На тропинке возникла похожая на бабу-ягу старуха в облезлой, мехом наружу, накидке с мотающимся на дряблой шее костяным ожерельем и с палкой в руках. Спекшееся морщинами лицо глядело маской, так густо его покрывала черно-багровая то ли раскраска, то ли татуировка. Старуха приостановилась, ее подбородок затрясся, по-лягушачьи приоткрывая провал беззубого рта. Прослеживая ее взгляд, я сместил бинокль и увидел голого пузатого ребятенка, который справлял малую нужду и, заслышав голос, стремглав припустил к хижине. Туда же заковыляла старуха. Нет, отвернула к другой, самой высокой хижине. Стойбище жило, там вроде бы все было в порядке.

Я опустил бинокль и нетерпеливо взглянул на Эю. Ее глаза темно блестели, руки, точно сдерживая крик, были прижаты к груди.

— Иду,— сказала она отрывисто.— Жди!

— Снежка... Она...

— Увижу, увижу!

— Твои близкие там?

— Да, да!

Она дрожала от нетерпения, мыслями была уже там, в хижинах, все остальное, казалось, ее ничуть не волновало, но это было не совсем так.

— Твой враг не нападет? — спросила она внезапно.

— Нет,— ответил я со всей уверенностью, на которую был способен.— А что?

— Тогда жди. Не показывайся.

— Хорошо. Когда ты вернешься?

— Не знаю. День ежа укрытен и долог!

Лингвасцет все переводил исправно, но был ли это разговор на одном и том же языке? Я не успел ничего уточнить, Эя скользнула вниз, сбежала бесшумно, как тень, и тут же пропала, будто растворилась в воздухе.

Снова я обнаружил ее, когда она уже плыла по озеру. Одежду она, видимо, скинула на берегу, потому что на ней, когда она вылезла, не оказалось ни лоскута. Выйдя, Эя отряхнулась и, вопреки моим ожиданиям, не взбежала наверх. Некоторое время она зачем-то принюхивалась к своим струящимся волосам, затем нарвала какую-то траву, втерла ее в волосы, прополоскала, потом, сев на корточки, принялась разрисовывать себя глиной. Я ожидал, что появление Эи

будет замечено и на берег высыплют ее соплеменники. Никто не показался. Эя наконец закончила свой ритуальный, надо полагать, туалет и медленно, каким-то непонятным зигзагом, двинулась к самой большой и высокой хижине, куда было прошла старуха.

Наблюдая в бинокль, я ждал, что будет дальше. Крики изумления, радостный шум? Эя скрылась. Все было тихо.

Впрочем, так длилось недолго. Несколько минут спустя по тропинке просеменила уже знакомая мне баба-яга. Гортанно, с надрывом прокричала что-то, лингвасцет ничего не перевел. Задохнулась от усилия, старчески обмякла. Ей могло быть и сто, и сорок лет, люди ее времени стареют быстро. Наконец она перевела дыхание и прошла к идолу. Куст мешал видеть, что она там делает. Похоже, старуха разожгла костер, так как вскоре там взвился дымок. И, словно это была команда, стойбище ожило. К идолу потянулись люди. Трудно было различить, кто молод, кто стар, кто мужчина и кто женщина, так одинаково были разрисованы лица и однотипны одежды. Все шли с оружием в руках. Кое-кто вроде бы с беспокойством поглядывал на небо. Детей в этой толпе не было.

Все сгрудились возле костра. Сомкнувшиеся спины, вдобавок кустарник, не позволяли видеть, что там происходит. Отдельных слов нельзя было разобрать. Дым стал гуще, повалил клубами. Иногда в бинокле возникали отдельные, ничего мне не говорящие из-за раскраски лица, словно там двигались не люди, а какие-то непостижимые насекомые, которые приняли облик людей. От нетерпения я переходил с места на место, даже залез на дерево, но там мне помешала листва. Впрочем, Снежка вряд ли могла участвовать в этом таинстве. Вообще надо было набраться терпения, только так и можно в этой неспешной теперь жизни.

Дым тем временем опал, все стали молча расходиться. Кучка людей двинулась к той хижине, куда зашла Эя. Вскоре снаружи не осталось никого.

Чужая жизнь — загадка, доисторическая — вдвойне, я так ничего и не понял. Шло время, в поселке ничего не менялось. Лишь изредка пробегали собаки, похоже, еще не научившиеся взбалмошным лаем доказывать свою бдительность и холопскую преданность хозяевам.

Солнце неспешно клонилось к вершинам, так же неспешно росли и удлинялись тени, сонно покачивались лапы сосен, во всем был невозмутимый покой осени, когда сама природа словно убаюкивает себя перед долгим зимним забвением. Первое время я беспокойно ходил взад и вперед, затем присел на поваленный ствол. Солнце еще пригревало, в ветвях тонко серебрилась паутина, дятел куда-то убрался, было тихо, лишь в озере иногда, будто нехотя, плескалась рыба. Дышалось здесь иначе, чем в моем времени, и думалось иначе, пространство не пронизывал обычный и потому незаметный,

как фон, ток мыслей и чувств миллиардов людей, который ощущался всегда и везде, в самом глухом и укромном уголке моей Земли. Здесь его не было. Думалось расслабленно. Незаметно для себя я уже смирился с крахом надежд, не терзался загадками, которые так напугали меня, все это осталось в прошлом, и скорбеть о потерях не имело смысла, надо было мириться с настоящим. С тем, что этот мир теперь мой навсегда. Мой и Снежки. Только бы она была жива!

Иное время, несчитанное, вековечное, завладело мною. Оно незримо присутствовало во всем, было столь же реально, как смиренный опад листьев, как их желтая круговерть в косом предвечернем свете, как последнее тепло солнца в беспечальном небе, где даже суровая нагота снежных вершин смягчилась кротко голубеющей дымкой простора. Прежде я бежал, ежеминутно бежал, только сейчас я это почувствовал. Бег жил в моей крови всегда, до всех потрясений, мною всегда владел стремительный ритм эпохи, прежде я этого не замечал, как не замечают постоянного биения пульса, надо было вылететь на обочину, расстаться со всеми своими замыслами и надеждами, чтобы почувствовать это.

Мы гнали не одно столетие, гнали так, что ноги прикипели к педалям. Иначе мы не могли. В спину жалили болезни и голод, дорогу грозил перекрыть обвал экологической катастрофы, от многого надо было уйти, мы спешили уйти и ушли. Откормленный золотом монополий генерал — такая же фигура музея, как закованный в металл рыцарь и троглодит с шипастой дубинкой. О социальном неравенстве, о всех антагонистических формациях учебник рассказывает как о предыстории человечества. Хлеб не проблема, когда его можно делать из всего, в чем есть элементы жизни. У конвейера производства давно уже стоят не люди, а киберы, обременительная для Земли индустрия вынесена в космос, и воздух планеты свеж, как на заре человечества. Чего же еще? — сказали бы предки. Мечта осуществилась, живи и радуйся.

Будто когда-нибудь можно достичь всего... Будто мечта не бежит впереди человека. Когда есть хлеб, нужны звезды, близкие и далекие, небесные и земные. А где желания, там и проблемы, там трудности, там бег. Нам бы ваши заботы! — снова могли бы сказать наши предки. Да, возможно. Но когда выясняется, что немыслимые для прошлого ресурсы энергии тем не менее вскоре могут иссякнуть, то одна эта малость не позволяет сладко вздремнуть у речки, и надо штурмовать какой-нибудь вакуум не только ради познания и чисто духовного им наслаждения. А сколько еще подобного, как непросто управление земной природой, как желанна, трудна и необходима эстетизация Земли, как трудно удержать, хотя бы удержать достигнутое равновесие! Нужны Атланты, а человек не рождается Атлантом, уж я-то знаю, насколько я сам далек от идеала, я, воспитатель. А тут

еще законное и такое естественное желание человечества замедлить чрезмерный бег прогресса, спокойно насладиться его плодами. Только мы пожелали дать себе роздых после всех перевалов и круч, только нас поманил такой ровный, казалось бы, в весенних цветах, луг, как все рванулось из-под ног и грянуло хроноклазмами. Так и бывает, когда расслабляешься, когда очень хочешь сочетать достигнутое с тихой безмятежностью древнего, слитного с природой, бытия на земле, такого, как здесь, в этой тишине, в этой невозмутимости дремлющего на солнце селения. Грянувшее не рок, но и не случайность. Или все же случайность?

Напрасные мысли. Что мне до них теперь? Я никогда не узнаю ответа. Отныне мне жить здесь, среди этих сосен и гор, в мире, где незаметен бег минут и дней, где все соразмерно движению солнца, росту травы, опаду листьев. Ты хотел покоя? Вот он, в шорохе сосен, в косом и неярком свете, который золотит все, к чему прикоснется, в запахах нетронутой земли, в светлом и безбрежном небе, знающем одних только птиц. Отныне это твой мир, твой и Снежки, если все закончится хорошо.

Золотистый свет расплылся перед глазами, я обнаружил, что плачу. Все, что жгучим комом застряло в душе,— и горечь утрат, и мука долга, и невозможность иной судьбы, и собственное бессилие, и подавленный страх перед неизвестным — все вылилось теперь слезами. Я не вытирал их. С прошлым надо было проститься наедине, с прошлым, которое еще так недавно представлялось мне единственно возможным настоящим и будущим.

Не помню, сколько я так просидел. Тени уже накрыли склон, воздух похолодел, только озеро, вбирая последний свет, червонно и ало пылало внизу. Прохладным касанием по щеке скользнул опадающий лист. Я вздрогнул. Где Эя?

В поселке мертвела тишина. Просматривались не все тропинки и хижины, какое-то движение могло ускользнуть, однако любое громкое слово отозвалось бы и на этом берегу. Но слышен был только бухающий плеск рыбы.

Надвигалась ночь, а с ней неизвестность. Как же я мог забыться?

Я вскочил. Не зная, что делать, я закружился на месте. Во мне все заторопилось. Ждать? Идти самому? Почему Эя не показалась хотя бы на миг? Ее задержали?

Я порывисто оглянулся, крадучись отступил к машине, вгляделся в неясный сумрак леса. Никого, ничего, кроме серой глыбы хроноскафа, такой внушительной и чуждой всему вокруг. Нет, нет, нелепо подозревать Эю в измене! Никто украдкой не зайдет сзади, не набросится на меня с тыла, это все ложные страхи, детские призраки одиночества и боязни.

Что же все-таки делать и надо ли? Ведь Эя не оговорила срок своего возвращения. Вдобавок внутреннее чувство подсказывало, что Снежка жива. Я продолжал верить в это, хотя, возможно, лишь потому, что ничего другого мне не оставалось. Но где же Эя, куда делись ее соплеменники?

Я так мало знал о ее мире, что не мог ни на что решиться. Может быть, все идет как надо, нто для них лишний час...

Хотя был уже вечер, нигде так и не занялся дымок очага. Никто не выходил наружу, не выпускал детей, все точно вымерло или уснуло. Нет, что-то во всем этом было не так, очень даже не так. Селение притаилось, замерло не к добру.

«День ежа». Как я мог забыть эти слова Эи, не придать им значения! Еж свертывается, выставляя колючки, замирает, пока длится опасность, все очень и очень похоже. Это мне наблюдение за домами ничего не сказало, но Эя сразу уловила неладное, насторожилась, почуяла тревогу своих близких.

Не выдержав, я сбежал к озеру, но оттуда все видно было хуже, чем сверху. Круто поднимался противоположный скат, темная у берегов вода ходила кругами, будто ее поставили на огонь, всплескивалась с шумом, колыхала глянцевые листья кувшинок, жемчужно розовела там, куда еще не дотянулись тени, жила своей жизнью, столь же далекой от человеческих забот, как первая искра звезды в синеющем крае неба.

Делать мне здесь было нечего, я поспешно вскарабкался наверх.

И тут я увидел Эю.

Она уже спустилась к воде, странно измененным шагом брела по песчаному намыву, шла так, будто вокруг была непроглядная тьма. Однако глаза ее не были слепы, незрячи скорей были сами движения, ноги ступали врозь, обвисшие, словно лишенные мускулов, руки колыхались не в такт шагам, в этой рассогласованности было что-то нечеловеческое, более похожее на походку поврежденного робота. В воду Эя вошла так, будто собиралась пересечь озеро пешком, и поплыла, когда другого выхода не осталось.

Я смотрел, обомлев.

Выходя на берег и поднимаясь по склону, она ни разу не замедлила шаг, не оступилась, но и не уклонялась от сомкнутых ветвей, не поднимала рук, чтобы отвести хлещущие удары, мерно шла напролом, и чем ближе она подходила, тем было очевидней, что движется не сам человек, а его подобие. Это было страшно, но в те мгновения во мне перегорел всякий испуг. Один! Я остался один среди смыкающихся теней ночи, потому что меня уже оставила всякая надежда увидеть Снежку, а в том, что ко мне приближалось, ничто не напоминало прежнюю Эю.

— Что с тобой? — отступая, прошептал я.

Ничто не изменилось в ее походке. Теперь нас разделяло всего несколько шагов, я отчетливо различал белое, как снег, лицо Эи, мертвенно пустые глаза, капли воды на щеках. Она остановилась, как шла, губы не шевельнулись в ответ.

Шагнув, я судорожно сжал ее мокрые безвольные плечи, повернул лицо девушки к свету. Голова Эи запрокинулась, в зрачках пусто и призрачно качнулось вечернее небо, такое же стылое и чужое, как их взгляд.

— Что с тобой? — закричал я прямо в эти слепые неподвижные глаза.

— Я умерла,— прошелестел едва различимый голос.

В дрогнувшие зрачки вкатилась прозрачная, крохотная в них луна. Мои сжатые пальцы осязали тепло человеческого тела, но это было все, что в нем осталось от жизни. То, что в детстве однажды глянуло на меня с могил, снова близко и жутко смотрело в упор, но там стояли наделенные бесплотным существованием, понятные мне нелюди, а здесь был живой мертвец.

Тут провал, дальнейших секунд я не помню. Возможно, минут? Что-то кинуло меня к машине. Я всем телом вжимаюсь в холодный металл, словно в нем избавление от того ужаса, который стоит за плечами. Бок машины дышит горелой окалиной, в нем, знакомом, несомненность и моего существования. Там, внутри, четвертая в левом подлокотнике кнопка, крайняя: она от всего, от забвения и от безумия, от призраков и от страхов; возможно, она еще и от черной магии, которая живого человека обращает в ходячий труп. Я вламываюсь в машину, навстречу мне плещется тихий, такой родной и надежный, свет приборов.

Я валюсь на сиденье, зализываю невесть откуда взявшуюся ссадину на пальце. Все в порядке, кнопка подождет. Меня колотит озноб, руки трясутся, но я быстро нахожу то, в чем нуждается Эя. Наука против колдовства, пусть так. И мне не помешает. В общем-то, все равно, на что мне теперь жизнь? Может быть, она и ни к чему, но прежде разберемся. Эю в обиду я не дам. Не дождетесь, сволочи!

Глоток, этого достаточно. Теперь наружу.

Все серо, безвидно в сумерках. Эя тенью стоит там, где стояла, человек, из которого вынули душу. И кто? Сородичи, близкие. Какая нелепая, чудовищная, непостижимая магия! Наш век близок к тому, чтобы вдохнуть разум в неживое, ее век, похоже, решил обратную задачу.

Что ж, поборемся. Вынуть-то душу вынули, а все-таки Эя вернулась ко мне. Все-таки вернулась...

Я поднес стимулятор к ее губам. Она их не разжала. Зачем

мертвецу пить? Все верно. А зачем ему куда-то идти? Говорить
— Пей!

Робот повинуется приказам, Эя повиновалась. Глоток перехватил ей дыхание, она закашлялась, согнулась пополам. Так, хорошо, мертвец не кашляет, вегетативка не поражена, ну, маленькая, ну, сестричка, оживай, наша магия посильней, психовит — это тебе не наговоры...

Я обнимал Эю, подбадривал, чувствовал, как под ладонями оживают мускулы, как теплеет изнутри худое озябшее тело, как деревенелая кукла снова становится человеком, могущественная психохимия исправно делала свое доброе дело.

Потребуется ли еще внушение? Я вернулся к машине, достал запасную одежду и стал натягивать ее на Эю, чтобы девушку не доконал ночной холод. Она повиновалась, как ребенок, дышала мне в шею, казалось, безучастно принимала заботу, но стоило мне отодвинуться, чтобы затянуть молнию на куртке, как она рванулась, прижалась всем телом и, спрятав лицо на груди, заплакала молча, безнадежно, потерянно.

— Ну что ты, что ты,— шептал я, гладя ее вздрагивающие плечи.— Все обошлось, все хорошо...

— Я мертвая.— Она прижалась еще сильней.— Мертвая, мертвая...

— Глупости! — Я повернул ее лицо к себе.— Чушь! Ты дышишь, ты плачешь, ты живая. Живая! Я тебя расколдовал, понятно?

— Нет.— Голос ее опять сник.— Ты не можешь.

— Почему?

Запинаясь, она объяснила почему. И пока объясняла, из ее голоса уходила жизнь, лицо гасло, она удалялась от меня, точно и не плакала вовсе, не искала помощи и сочувствия, не была прильнувшим ко мне, как к матери или отцу, ребенком, таким не похожим ни на прежнюю Эю-воительницу, ни на недавнюю Эю-робота. Не все было ясно в ее словах, но кое о чем я мог бы и сам догадаться.

Родовое сознание — вот слова, которые объясняли многое, если не все. Человек в отличие от многих других существ не способен долго и без ущерба жить в одиночестве, этим он похож на пчелу или на муравья, ибо общество столь же властвует над душой, как земное тяготение над телом. Это так же верно для нас, как и для наших далеких предков. Вне общества посреди самых райских кущ для нас расстилается незримая и неосязаемая, но не менее страшная, чем любая Сахара, пустыня жизни. До нее не надо далеко идти, она рядом, и только близость людей оградой встает меж ней и человеком. Но эта ограда может быть и фасадом дворца, и стеной каземата. Причем сразу тем и другим одновременно.

Для меня семьей было все человечество, для Эи — одно ее племя, и разница здесь не только количественная. Для историков

памятен тот испуг, который возник в первые десятилетия научно-технической революции. Бездушная техника, к которой человек привязан, не лишает ли она души его самого? Роботизация — не роботизирует ли она человека? Не будет ли он стандартизирован, как машина? Не превратится ли в винтик, серийно штампуемый по всем правилам изощренной науки? Смятенному сознанию рисовались бесконечные, от полюса до полюса, шеренги людей, запрограммированных, как киберы.

Они не туда смотрели, эти встревоженные: то, что виделось им в грядущем, находилось в прошлом. В том времени, где немногие приравнивали многих к скоту, к предмету хозяйства и обихода, а это состояние повсеместно длилось не век и даже не тысячелетие. Там же, где дело до этого не дошло, там было другое. Свобода? Да, Эя, конечно же, не была рабой...

Она была членом родовой общины.

За пределами оазиса человека ждет жажда и смерть. За пределами рода может не быть ни жажды, ни голода, все равно участь отщепенца трагична. Того, кто надолго исчез и как-то сумел вернуться, род может счесть оборотнем, мертвецом, для него не найдется ни еды, ни крова, там, где он был счастлив, от него отшатываются мать и отец, дом, куда он из последних сил стремился, отвергает его, как зловещего призрака. И что бы живой мертвец ни говорил, ни делал, для него все бесполезно, он отторгнут и обречен, хуже чем прокаженный.

Это не правило, но и не исключение, это черта родового сознания, дичайшая и нелепейшая для нас, вполне понятная для людей далекого прошлого. Одиночка долго прожить не сможет, его погубит не голод, так хищники, не хищники, так что-то еще, это всем известно, не раз подтверждено опытом, а раз так, значит, после какого-то срока возвращается не человек, а дух. Нет жизни вне рода! Нет и не может быть, как в гиблой, за чертой оазиса, пустыне. А дух погибшего, оборотень, так же реален для древнего сознания, как вкрадчивый ход змеи, как удар небесного грома. Оборотня надо заклясть и изгнать, чтобы он увел с собой смерть, лишь так можно обезопасить род. Ну а в колдовское заклятье каждый верит настолько, что внушение убивает не хуже яда.

Эя вернулась слишком поздно. Вдобавок, если я правильно понял, особую роль сыграли зловещие обстоятельства ее исчезновения. Так или иначе род счел Эю мертвецом. И она в это поверила. Не могла не поверить! Вот этого я постичь не мог, хотя знал, что именно так должно быть, хотя сама Эя, еще живая, еще говорящая, чувствующая, стояла передо мной в такой прострации, что даже могущий поднять покойника психовит вызвал в ней лишь краткую вспышку бодрости.

Но уж если это могучее средство оказалось бессильным... Моя иаука могла заменнть кровь — всю, до последней капли, могла дать другое сердце, другие глаза, но средства заменить психнку я не знал. Неужелн, иу, неужелн эта снльная, смышленая, своенравная малышка и прежде была лишь оболочкой человека, маской, сквозь глазницы которой на меня смотрела не личность, а родовая душа? Душа, которую вот сейчас племя выиуло с той же легкостью, с какой мы вынимаем платок из кармана? Неужелн все так просто, и в этом — вся тайна пснхнки, кажущаяся нам безмерной, как звездное небо над головой?

Нет, подумал я с мрачной решимостью, еще не все средства испробованы. Но первоочередное сейчас ие это...

— Ты меня слышншь, слышишь?

— Да.

— Ты видела Снежку?

— Нет.

— Узнала о ней что-нибудь?

— Да.

— Она жнва?

— Нет.

— Ее убили?!

— Нет.

— Сама умерла?

— Нет.

— Так где же она? Что с ней?

— Ее принесли в жертву.

Я закрыл глаза. Рука сама собой дернулась к разряднику. Спокойно, осадил я себя, спокойно. Здесь нет извергов и убийц, здесь, на этой земле, есть только прошлое твоего рода.

— Где, когда и кому оиа пpннесена в жертву?

— Дракону.

— Какому дракону?!

— Тому, в горах.

— За что?!

— Так велел род.

— Эя, ты можешь объяснить? Что плохого сделала Снежка? Почему ее принесли в жертву? При чем тут дракон?

— Дракон летал н жег. Дракона надо было умилостивить.

Я вытер охолодевший пот.

— Когда это случнлось?

— Вчера.

— Дракон... как он выглядит?

— Он ярче солнца н страшнее пожара.

— Дракон принял жертву?

— Да.
— Откуда ты знаешь?
— Он успокоился.
— К нему можно подойти?
— Нет.
— Как же тогда... как же ему доставили жертву?
— Положили перед ним на скалу.
— Живую?
— Да.
— Хватит! Летим к дракону.

Эя промолчала, ей было все равно. Она и отвечала, как говорящий автомат. Так же безропотно она дала себя усадить в машину.

Мне тоже было уже все равно.

Мы взлетели.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Видел ли я что-нибудь, когда машина проносилась над гребнем скал и черной щетиной леса? Все было чужим и мрачным. Небо, лишенное привычных огней внеземных поселений; сам наш полет над сумрачной в лунном свете землей; дракон, к которому мы мчались и который издали давал о себе знать багрово пульсирующим сиянием; мы сами, два безмолвных робота, которым уже все было безразлично.

Багровое свечение разгоралось. Его источник был скрыт за гребнем котловины, чьи угрюмые в складках теней утесы, приближаясь, все отчетливей выступали из мрака. Я был в том состоянии, когда мне ничего не стоило с ходу ринуться на любое, хоть из прошлого, хоть из будущего, чудовище, но испечься в лаве, которая, очевидно, и полыхала за гребнем,— до этого я еще не дошел. Прожекторами осветив склон, я осторожно замедлил ход и, приглядевшись, выбрал среди скал удобную для посадки площадку. Эя на все смотрела так же безучастно, как раньше, в ее темно неподвижных глазах глохли красноватые мятущиеся из-за скал отблески. Она была не здесь, не со мной, если вообще была. Я вышел один и, не поднимая головы, медленно, как приговоренный, взошел на гребень.

Как описать то, что открылось за ним?

Я ждал, что внизу, у моих ног, окажется спокойно пламенеющая лава, которую воображение соплеменников Эи наделило жизнью грозного в миг извержения, все испепеляющего существа. В лицо точно дохнул жар и свет, но до его источника было далеко. Вдоль всей продолговатой котловины, окаймляя ее, мрачным блеском пылали

скалы, так что небо над этим зубчатым венцом казалось непроницаемо черным, предельным для самого света. Главный свет исходил не от лавового озерца, которое тоже было, и не от его добела раскаленных краев, а от того, что, касаясь береговых камней, висело над маревом расплава.

Оно-то и было неописуемым. Бесформенный сгусток плазмы? Нет, оно имело форму столь, однако, изменчивую, что ее не успевал зафиксировать глаз. А может быть, просто непривычную. Оно, это огненное, размыто высящее, пульсировало, как... Как что? Как бешено крутящийся хаос? Нет, в нем угадывалась структура. Как вихревые, преобразующиеся друг в друга сгустки, стяжения, кристаллы огня? Все это понятия человеческого опыта, они тут не годились. То, что видели мои изнемогающие глаза, было и чистым светом, сквозь толщу которого проглядывали дальние скалы, и клубящейся материей солнц, и белой озаренностью алмазных, чередой протаивающих в глубине пещер, всем этим сразу и чем-то еще. Излучаемый свет радужно кольцевал воздух, плавно переливался из ярко-белого в голубизну, а затем, минуя промежуточные цвета, желтел. Но скалы при этом неизменно отливали розовым и багровым, чего вроде не должно было быть, если только сам воздух не приобрел иные физические свойства.

То, что я видел, явно не соответствовало Земле, а возможно, и всей нашей Вселенной. Дракон все-таки был, все-таки был... Ладонью притенив лицо, я смотрел не отрываясь, и неясная поначалу догадка сменялась уверенностью. Это был он — мой давний знакомый и враг. Никогда еще я не вглядывался в огневика так спокойно, не рассматривал его в упор. Теперь меж нами не маячило перекрестье прицела, а терять мне было решительно нечего. Здесь, под черным небом прошлого, мы были одни. Вокруг неяркого по контрасту озерца лавы сверкала кайма добела раскаленных камней, в мерном сиянии огневика мерцали скалы, шевелились их черно-алые, уступами, тени, от тишины звенело в ушах.

Неизвестно, откуда берутся огневики... Они возникают в одном случае из двух... Чем их больше, тем хроноклазм слабее... «Слушай, я, кажется, догадался! В энергии, дело в энергии!»

Слова прозвучали так отчетливо, словно Феликс был рядом. Внезапная утечка энергии из моего хроноскафа — вот он, ключ к пониманию!

Всюду и везде живое и неживое зависит от энергии, все участвует в ее круговороте, отталкивается, поддерживается, тянется к ней, как трава к солнцу, как частички железа к полюсам магнита. Сама наша эволюция повинуется этому закону притяжения, вехами цивилизации были огонь, электричество, атом, путь вел нас от скудных источников энергии ко все более разнообразным и мощным. Слом времени —

это тоже выброс энергии. Да какой! Быть может, для огневиков перемещение во времени столь же обычное дело, как для нас перемещение в пространстве, быть может, такова главная особенность их мира. Пространство и время нераздельны, как частицы и волны материи, просто на одном, пространственном берегу оказались мы, а на временном, противоположном, развилось то, что породило огневиков. И вот крайности сошлись. Огневиков приманила энергия хроноклазмов. Они ринулись к сопряженным точкам прошлого и настоящего, как жаждущее водопоя стадо к берегам реки, примерно половина оказалась там, другая половина здесь, обычный статистический разброс, ничего другого. Так и железные опилки распределяются меж полюсами магнита. Высосать, забрать все до капли, пока энергия не рассеялась! А мы-то недоумевали, почему хроноклазмы далеко не так разрушительны, как этого следовало ожидать... Мы не понимали, куда прут огневики, почему они держатся кратчайшей прямой, а они спешили к месту назревающего хроноклазма, чтобы заранее быть там, успеть поглотить, полнее насытиться. Мы их останавливали, истребляли, а они, в сущности, спасали нас, спешили ослабить, погасить еще только зреющую катастрофу.

Вот что скорее всего открылось Феликсу за минуту до боя.

Понятно, почему огневики кидались на нас, когда мы пускали в ход оружие: энергия! Мы, сами того не подозревая, приманивали их. Приманивали, чтобы так уничтожить, поскольку даже их способность поглощать энергию, конечно, имела предел.

Возможно, поэтому они не успевали везде. Или их было слишком мало. Здесь, в этих горах, произошло три хроноклазма. Первый перенес сюда Снежку; очевидно, тогда и возник «дракон». Второй вырвал отсюда Эю. Третий... Третий создан моим хроноскафом. Всякий раз это были ничтожные разломы, и всякий раз ими пользовался огневик. Сконцентрированная в хроноскафе энергия, видимо, тоже оказалась для него лакомым кусочком... Как же при этом он должен был пугать соплеменников Эи!

Жар опалял лицо, и я прикрывался руками, не в силах отвести взгляд от дна котловины, где покоился огневик. Многое мне еще не было ясно, но так не бывает, чтобы природа сразу и полностью открывала все. Почему этот огневик был здесь? Ждал ли он нового хроноклазма или, быть может, грелся у источника подземного тепла? Был ли он чисто физическим образованием или все-таки существом? А вдруг он представлял собой автомат иной, неведомой цивилизации, которая таким способом пыталась смягчить катастрофу, вызванную, возможно, ее собственным нерасчетливым действием?

Таков уж мир, что в нем возможно самое невозможное. Какая

разница? Мое знание уже ничего не могло изменить ни в судьбе человечества, ни в моей собственной. Оно было бесполезно, как вся моя дальнейшая жизнь. Вне своего времени я был, в сущности, тем же, чем Эя,— живым мертвецом.

Я думал, нет ничего хуже постигшего меня несчастья. Нет ничего хуже гибели Снежки. Нет ничего хуже безвыходного одиночества. Оказывается, это еще не предел. Сейчас я знал то, в чем нуждалось человечество, и не мог ничего поделать.

Глаза терзал свет, но от этой боли было даже легче. Все равно я не мог опустить взгляд. Вопреки всему я хотел видеть и знать. Зачем?

Я с усилием отвел взгляд.

Оставалось сделать последнее: найти тело Снежки.

Эя не знала, была ли она брошена связанной или ее милосердно столкнули с обрыва. Но, конечно, это произошло где-то неподалеку, палачи не решились бы приблизиться к огневику, а до противоположного края котловины им незачем было добираться.

Резь в глазах наконец утихла, я пошел вправо, приглядываясь к рдеющим осыпям, склонам, темным провалам ложбин и расщелин. Однако вскоре путь преградила скала, одинаково отвесная со всех сторон, так что сюда вряд ли могла вести какая-нибудь тропинка. Я вернулся назад и двинулся влево.

Внезапный рев потряс тишину. Взрогнув, я замер, даже не успев опустить ногу. Ничто не изменилось в облике огневика, но крик без сомнения принадлежал ему, и в этом протяжном реве мне почудилось не то боль, не то тоска. Небо дрогнуло. Его чернота раскрылась, в ней ярко проступили созвездия, чей рисунок мне был незнаком. Это были не наши звезды. Не наши еще и потому, что некоторые горели зеленым, а зеленых звезд нет в нашей Галактике. Все длилось мгновение. Небо сомкнулось, точно упало, стало таким же глухим, как было. Снова грянула тишина, от которой звенело в ушах. Я стоял, прижимаясь к скале. Был ли тот крик жалобой одинокого существа или голосом мертвой материи? И что ответило ему?

Страшно пылали скалы, их багровый, уступами спускающийся книзу ад по-прежнему был накрыт мрачным пологом ночи. Если существовал круг ада для тех, кто слишком далеко забрел в неведомое, то он был здесь. Пересиливая слабость, я шагнул дальше. Мною овладело желание спуститься и приблизиться к дьяволу этих скал, сказать ему напоследок все, что я думаю о справедливости этого мира, всех миров. Конечно, это было бессмысленно и глупо. В огневике не было зла, как не было его в тех людях, которые погубили Снежку и Эю. И все же, и все же!

Нелепое желание прошло так же быстро, как и нахлынуло.

Я медленно, как после болезни, обогнул выступ скалы. Из-под ноги брякнул камень, прыжками покатился вниз. Машинально проследив его падение, я спустился в узкую, коленом выгнутую расщелину и уже было хотел вскарабкаться на противоположный склон, когда слева, из черной для моих ослепленных глаз тени, послышался надломленный волнением голос:

— Хорошо же ты меня, однако, ищешь...

Придерживаясь за выступ скалы, из провала приподнималась Снежка.

— Мог бы, кстати, мне что-нибудь и сказать... Или я так изменилась?

— Снежка!!!

Я рванулся к ней, сжал враз обессилевшее тело, не веря себе, целовал ее запрокинутое изможденное лицо, сияющие сквозь слезы глаза, ничего больше не видя и не желая видеть.

— Живая, живая...

— Ты здесь, здесь!..

— Но ведь тебя...

— Ах, это! — Она измученно улыбнулась.— Ну да, это было: скрутили и принесли в жертву. Очень уж они были напуганы.

— И?

Приподняв лицо, она нежно губами коснулась моих глаз.

— Соленые... Плохого же ты о нас мнения, если думал, что я буду покорно лежать и реветь. Так, хлюпнула разок, уж очень все это было обидно и глупо... А потом встала и ушла.

— Как, неужели ты...

— Глупый, ты же сам учил меня силовому рывку. Неужели забыл? Я, правда, уж не та, но подумаешь, дурацкие ременные путы, на это меня хватило... Не подпекаться же на скале, изображая добропорядочную жертву!

Ее глаза блеснули.

— Хотя, пожалуй, в этом была бы своя прелесть. Злобное чудовище, пленная девушка и отважный, на машине времени, рыцарь, а? Извини, что не оправдала.

Я засмеялся от счастья. Обнявшись, смеясь и плача, забыв обо всем, мы стояли над пламенеющей бездной, в которой уже не было зла, как, впрочем, и добра. По измученному, потемневшему лицу Снежки скользили багровые блики, я целовал ее исцарапанные руки, на меня смотрели сияющие, единственные в мире глаза, мы не могли оторваться друг от друга, мне было наплевать на все беды прошлого, настоящего, будущего, пока...

Бедная девочка, она-то думала, что все позади, один я знал, как обстоит дело. Тем крепче я прижимал ее к себе, судорожней длил объятия.

Наконец она высвободилась.

— Ну вот, дальше рассказывать не о чем. Весь день я бродила вокруг, а потом вернулась сюда, здесь тепло... н любопытно. Я ждала, все время ждала своих, хотя...— Она коротко вздохнула.— Ладно, что было, то прошло. Вот что, благородный рыцарь. Твоя девушка голодна, но зто успеется. Я не слепая, рассказывай все. В нашем мире... плохо?

Снежка бодрнлась, о главном, как я ни прятал, ей все уже сказало мое лицо, она стойко готовилась принять удар, но пресекшийся голос умолял пощадить.

Я не мог ее пощадить, не мог даже смягчить правду. Она все выслушала молча, не моргнув, только отведенная назад рука, как бы нща опору, слепо шарнла по скале, то н дело впиваясь ногтями в камень.

Нет, зто было не отчаяние.

— Значит, теперь мы вроде нзгнанных Адама и Евы? Что же,— добавила она с дрогнувшей улыбкой,— все не так плохо, раз человечество в безопасностн. А мы, неужелн не проживем? Ты, я, Эя... Славная девочка, как же ей досталось! Ннчего, я сама стала немного дикаркой, что-ннбудь прндумаем... И, знаешь,— ее рука коснулась моей,— в зтой жизни есть своя прелесть.

Я кивнул. Я на что угодно готов был смотреть с радостью, лншь бы не видеть Снежку несчастной. Впрочем, она была права. Она стойко прнннмала жнзнь такой, какая есть, зтим, быть может, и спаслась.

— Все верно,— бодро сказал я.— Мы нашлн друг друга, остальное переживем. Надеюсь, я буду неплохим мужем.

— Да уж, придется. И мне придется...— Ее голос споткнулся.— Ничего, справимся. Обещаю не ревновать.

— Как ревновать? К кому?

— Ты не догадываешься? — Откннув голову, Снежка посмотрела на меня долгим взглядом.— Но, милый, нас же трое.

— Ты с ума сошла!

Снежка невесело рассмеялась.

— Ох, взглянул бы ты сейчас на себя в зеркало... Между прочим, меня это тоже почему-то не прнводнт в восторг. А что делать? У Эн больше нет рода, и еслн мы не примем ее в свой... Нет, она будет жить.

— Но ведь не обязательно...

— Здесь обязательно. Легче столкнуть планету с орбиты, чем заставить женщину не быть женщиной. Здесь зто так. Только так.

— Несмотря на то, что мы побратались с Эей?

Снежка только вздохнула. Прнкуснв губу, она отвела взгляд. Нет, ее губы запеклнсь не от жара. И руки ее были окровавлены не

только ремнями; сколько раз ей, наверное, вот так приходилось умерять другую, бо́льшую боль.

Я молча привлек ее к себе. Она вжалась лицом мне в грудь и затихла. Ничего не надо было говорить, мы и так слышали друг друга. «Тебе было так плохо!» — «Очень. Когда меня повели на смерть, я обрадовалась, сама я не решалась...» — «Тебя били?» — «Не то... Меня учили жить. Не спрашивай».— «Какое счастье, что ты не смогла...» — «Просто это была не та смерть. Слишком мучительно и долго».— «Я всегда буду любить тебя. Тебя, а не Эю».— «Знаю, поэтому и говорю так спокойно. Но она не должна знать, что ты ее не любишь».— «Это невозможно».— «Это просто, у нее другие представления о любви. Не беспокойся, все будет не так плохо».— «Я не беспокоюсь. Я ищу и не могу найти другой выход. Туда, к своим».— «Знаю...»

— Выпусти,— сказала она.

Я разжал объятия.

Снежка села, подперев подбородок. Она молча и пристально смотрела на пламенеющие скалы, но видела ли она их? Я больше не слышал ее мыслей и не решался переступить порог ее молчания. Лицо Снежки было неподвижно, как маска, только сполохи огня пробегали по нему тенями.

Над скалами внезапно, как прежде, снова пронесся протяжный ноющий вопль огневика, в черном куполе ночи снова приоткрылось другое небо, дрогнув, просияла россыпь чужих звезд.

— Он жалуется,— тихо сказала Снежка, когда все затихло.

— Похоже,— согласился я.

— Не только похоже. Я долго за ним наблюдала, очень долго. Ему одиноко и холодно.

— Ты не можешь этого знать.

— Я чувствую.

— Ты думаешь, оно существо?

— Мне кажется, да.

— Что ж, может быть. Нам от этого не легче.

— Не легче,— эхом отозвалась Снежка.— Для возвращения нужна энергия.

— Много энергии,— добавил я.

— Ее здесь сколько угодно,— спокойно сказала Снежка.— В нем.

— Он с нами ею не поделится. Скорее наоборот.

— Возможно. У тебя есть шнур?

— Какой шнур?

— Лазерный, разумеется.

— Конечно.— Я покачал головой.— Ничего, малыш, не получится. Лавовое озерцо не даст столько энергии.

— Так подключись к огневику.

— Ты шутишь?

Нет, она не шутила. Спокойно и ясно глядя на меня, она повторила свое предложение подключиться к огневику, словно к банальной розетке.

— Тоже выход,— закончила она, как ни в чем не бывало.

У меня обмякли колени.

— Он же разнесет нас в клочья!

— Если заметит.— В ее устало неподвижных глазах переливался жаркий отсвет багровеющих скал.— Если вообще заметит. Я подходила к нему близко, как только могла. Он... Мы, люди, для него не существуем. Наверное, и канализирующий луч лазера для него не более ощутим, чем укус комара. Мы ведь не каждого прихлопываем. А если прихлопываем, то сразу...

Она прикрыла лицо рукой. Я не знал, что и думать. Такая мысль не приходила мне в голову. Сама по себе чудовищная, она и не могла прийти ко мне после всего, что я натерпелся от огневиков. Но так просто отбросить ее я уже не мог. При всей своей дикости она была не столь уж безумной. Технически все было осуществимым, а там уж как повезет. Сравнение с комаром было на редкость точным.

Я смотрел на огневика и не мог пересилить страх. Над белыми глыбами лав все так же покоилась чуждая всему земному, ежемгновенно преобразующаяся, тем не менее застывшая масса пламени. Огненное существо, плазменный робот, что-то совсем иное? И к этому чудовищному, непостижимому подключиться, всадить в него жало?! Рискнуть собой, Снежкой?

Только об одном она не упомянула, потому что это было ясно и так: нас ждало пославшее меня человечество.

— Пошли,— сказал я.

Хроноскаф стоял там, где я его оставил. Внутри нас встретил спокойный, такой тусклый после всего, что мы видели, свет приборов. Эя спала, разметав волосы и уронив голову на колени.

— Не буди,— шепнула Снежка.— Ей сейчас хорошо...

Да, ей сейчас можно было позавидовать. Стараясь не потревожить, я отжал вялое тело девушки в угол, пристроив Снежку, и поднял хроноскаф в воздух.

Что я делаю?

Полет длился недолго, на гребне было достаточно ровных площадок. На одну из них я посадил хроноскаф. Чтобы не мешать мне, Снежка вылезла, едва аппарат коснулся земли. Ее губы скользнули по моей щеке.

— Действуй,— сказала она быстрым шепотом.

— Может быть, тебе лучше укрыться?

«Зачем? — ответил ее взгляд.— Все едино...»

Я отвернулся.

Наводка лазерного луча напоминала схему того прицела, сквозь перекрестье которого я так недавно (вечность назад!) вглядывался в атакующего огневика. «Что ж,— вихрем пронеслось в мыслях.— Что ж...»

Визирные линии прыгали и двоились. Желудок комом подкатывал к горлу. Что я делаю? Еще не поздно. Мы оба сошли с ума. Какое нам дело до человечества. Все абстракция, кроме нас. Сейчас, сейчас, и нас уже не будет. Тогда зачем все это, зачем?

Я включил автоматику. Все, теперь от меня ничего не зависело. На негнущихся ногах я выбрался наружу, в лицо дохнул жар и свет.

От хроноскафа протянулся голубоватый игольчатый луч, бледно прочеркнув скалы, канул в изменчивом сиянии огневика. Дрожащие пальцы Снежки сцепились с моими, так, рука в руке, мы замерли на краю обрыва.

Мучительно горели скалы, паутинной нитью трепетал луч, было тихо, как в обмороке. Недвижно чернело небо, яростный блеск огневика был так спокоен и равнодушен, словно ничего не происходило, словно меж ним и хроноскафом не пульсировал бегущий по световоду ток энергии. Комариное жало впилось, а ответного, испепеляющего удара все не было. Чувствовал ли огневик это жало в себе, мог ли почувствовать, ощущал ли он что-нибудь? Все багрово, как в мареве, колыхалось перед глазами, я ждал расплаты, которой не могло не быть.

Вот оно! Грянул низкий протяжный рев. Зыбкие очертания огневика всклубились, и то тяжелое, завораживающее, что навалилось на меня тогда, в коконе хроноскафа, глянуло на нас теперь. Глаз? Их не было, было лишь ощущение жутко нечеловеческого взгляда. Ни наше упорство, ни наша гордость ничего не значили перед ним. Какое-то неуловимое изменение произошло в самой вихрящейся структуре чудовища, оно безглазо смотрело на нас изнутри, смотрело, ничего не требуя, ничего не желая, как могла бы глядеть вдруг прозревшая природа, которой все равно, есть человек или его нет. Что по сравнению с этим все мифы о леденящем взгляде Медузы!

Так длилось секунду, а может быть, вечность. Внезапно рев смолк. И так же мгновенно погас впившийся в огневика луч. Тяжесть взгляда свалилась с нас. Все было кончено, мы снова не существовали для огневика. Он не прихлопнул докучливую мошку, лишь отмахнул ее.

Была ли эта аналогия хоть сколь-нибудь правильной?

Мы не сразу вышли из столбняка. Сердце, казалось, гнало не кровь, а ртуть. Ни слова не говоря, мы разжали руки. На сферической поверхности хроноскафа плясали красноватые блики. Я едва добрел

до машины, нагнувшись, скорей по привычке, считал показание приборов. Лгал ли мне измученный разум? После той ослепительной яркости, к которой привыкли глаза, свет индикаторных шкал едва тлел, но все, что я мог различить, с несомненностью уверяло меня в избытке энергии, в максимуме, который только возможен для батарей хроноскафа. Ничего не понимая, я обесточил пульт, затем снова включил ток. Ничего не изменилось, приборы упорно показывали то же самое, что и до этого.

Значит, не огневик погасил луч, тот сам отключился, как только закончилась подзарядка? Могло быть и такое, мы ж подключились черт знает к какому источнику! Или то была необъяснимая милость огневика, который что-то прочитал в наших сердцах?

Что мы знали, что могли знать...

Я обернулся к Снежке, горло перехватило, она все сама угадала по выражению моего лица.

— Да? — это был ее единственный вопрос.

Я кивнул.

Так же молча Снежка взглянула на огневика, который, как прежде, пламенея, нависал над добела раскаленными камнями, и с ее губ сорвалось лишь одно слово:

— Спасибо...

Ответа, конечно, не последовало. Кого или что она благодарила? Как бы там ни было, само слово было уместным. Я тоже мог бы его произнести. Неведомое бесчувственно, но не безразлично к нашим поступкам, ибо, действуя, мы всегда вызываем противодействие, и то, как оно отзовется, во многом зависит от нас.

Снежка отступила на шаг от обрыва и покачнулась. Я едва успел ее подхватить, так она сразу ослабла. У меня тоже подкашивались ноги.

Медленно, с трудом я дотащил ее до машины. Она еще пыталась мне улыбнуться, я, как ни старался, не мог ответить ей тем же. Вяло, как в полусне, я протиснулся за ней в кабину, поднял машину и включил подсос, чтобы нас обдувал ветер.

Так, вповалку, мы некоторое время летели в посвистывании ветра, и луна мчалась с нами наперегонки.

Минут десять, если не больше, я был способен лишь на самые простые движения и мысли. Поудобней устроить Снежку, поудобней устроиться самому. Достать воду, дать напиться...

Мы летели. Над нами было просторное, с редкими крапинками звезд небо, снизу им не отвечал ни один огонек, тени и лунный свет, леса и кручи, больше ничего не было на этой земле, откуда мы все некогда вышли.

Глаза Снежки были открыты. Наконец она пошевелилась.

— Куда мы летим?

— Не знаю. Куда-нибудь. Может быть, это н не нмеет значення, но я хочу убраться подальше от огневнка.

— Не говорн о нем плохо.

— Ни в коем случае. Старик был очень любезен, я приглашу его на свадьбу, благо Алексей давно интересовался им. Не забудь его поцеловать.

— Алексея или огневика?

— Обонх, еслн угодно. Я отвернусь, хотя мое сердце обольется кровью.

Наконец-то она рассмеялась. Каким желанным был ее тихий, еще робеющий смех!

— Я еще подумаю, нужен ли мне такой болтун. Мы так и будем лететь до бесконечностн?

— Будем. Чем плохо? Должно же у нас быть маленькое свадебное путешествне.

— А Эя все спнт,— сказала она.

— Вот и прекрасно. Будет лучше, если она проснется уже в нашем мире. Там медицина, там все.

Снежка задумалась.

— Нет,— тряхнула она головой.— Ей надо проститься с родиной.

— Зачем? Лишнне хлопоты.

— Затем... Да как же без этого!

— Слушай, ты стала сентиментальиой.— Прямо по курсу маячила гора, я скорректировал полет.

— Возможно.— Она вздохнула.— Как мало мы ценили некоторые вещи! Напрнмер, подушку.

— Подушку?

— Да, они подкладывали под голову чурбан.

— Понятно. Идем на посадку.

— Зачем?

— Человек глупо устроен: что бы и в каких мнрах он ни делал, без куска хлеба ему не обойтись. Кто-то, помнится, хотел есть.

— Нас ждут.

— Подождут. Ты отдохнула? Я — нет.

— Не притворяйся, это ты делаешь для меня.

— Только отчастн. Тебе это не нравится?

— Нравнтся. Очень! Во мне сидит такой маленькнй человечек, которому очень хочется, чтобы его опекали и нежнли. Боюсь, что за это время он очень подрос. И потом! Когда мы окончательно придем в себя, я попробую расколдовать Эю. Наперекор этому, которому лишь бы добраться до подушки.

— Не геройствуй,— сказал я.— Мало тебе!

Я снизнлся к мелькавшему в просвете теней ручью. Под днищем машины зашуршала галька. Мы вышли. На перекатах билась и кло-

котала вода, черная у наших ног, переливчатая там, где, дробясь, падал лунный свет. В темноте заводей белела круговерть пены. Траву осыпала роса, каждый вдох был здесь блаженством. Умывшись ледяной водой, мы принялись за еду. Это тоже было блаженством. Огромной доисторической черепахой рядом темнел хроноскаф. Все пережитое отпускало, как кошмар, я боялся нечаянным словом спугнуть это мгновение, когда рука в молчании касается руки, каждое движение полно невысказанного смысла и под доверчивый говор ручья у ног венком сплетаются резные тени ветвей.

— Хорошо-то как...— прикрыв глаза, проговорила Снежка.

Я кивнул.

— Мне кажется, я сплю наяву.— Ее рука неуверенно погладила шершавый береговой валун.— Сейчас проснусь, будет дымная хижина, старуха с желтыми глазами болотной неясыти...

— Какая еще старуха?

— Неважно. Была и нет.— Снежка вздохнула.— Знаешь, за что меня чуть не растерзали в первый же день? Не с той руки зашла к очагу. Надо справа или прямо от двери, а кто подходит иначе, тот накликает беду. Смешно! Все все знают с малолетства — и довольны. Ты не представляешь, как там регламентирован каждый шаг и каждый поступок.

— Роботы,— буркнул я.— Я это понял, когда из Эи вынули душу. Роботы!

— Не смей их так называть! — Снежка дернулась, как от удара.— Не смей! Ты их совсем не знаешь, они всякие — и люди. Иначе как бы мы сами возникли?

— Согласен, согласен! — Я поднял руки.— Эя славная девочка, разумеется, не она одна такая. Конечно, они не хуже нас, просто другие.

— Другие? — Снежка медленно покачала головой.— Тебе известно, что Эя талантливая художница?

— Эя?

— Да, Эя. Ее резные, из камня и кости, фигурки могли бы украсить музей. Мы оба бездари перед ней.

— Вот не подозревал...

— Мог бы ее расспросить.

— Знаешь, как-то в голову не пришло... Не о том была забота.

— Понимаю. Мы знаем только то, что хотим знать...

— «День ежа»,— вырвалось у меня.— Как это верно!

— Что?

— Неважно. Было и прошло. Есть ты!

В безотчетном порыве я привлек к себе Снежку. Она не дыша замерла в объятиях, ее исстрадавшееся тело вздрагивало. Баюкающим движением я согревал ее. Она затихла. Мы долго сидели

так, в чужом времени, которое было и нашим тоже. Ручей бормотал свое, детское, меловой свет луны подкрадывался к нашим лицам. Снежка так тесно прижалась, что стук ее сердца толчками отдавался во мне, словно уже и кровь стала общей. Время застыло, как все вокруг. Мог ли я упрекнуть себя за это промедление? Нам ничто не грозило, пока мы сидели так, но стоило запустить хроноскаф... Лед под нами был еще так хрупок! Я сам должен был сделать первый шаг, который мог оказаться последним. Какие еще беды подстерегали нас впереди? Выбора не было, но эту острую минуту счастья можно было продлить, и я ее длил, благо это было возможно, ведь переход сквозь время мог потребовать всех наших сил, значит, все, что способствовало их прибавлению, не требовало оправдания перед совестью.

До чего же все глупо! Мы нашли друг друга и наконец-то были счастливы. Это ли не высшая цель всех человеческих усилий? А во мне, когда я обнимал Снежку, словно пощелкивал незримый компьютер, который оценивал и калькулировал нашу готовность к работе, считал, какая минута счастья оправдана, а какая похищена у долга.

— Все.— И я нехотя разжал объятия.— Час времени здесь равен часу времени там. Ты готова?

— Да.— Она медленно приподнялась.— Я даже кое-что надумала. Эя спит, это к лучшему, так она легче поддастся внушению. Кажется, я знаю, что надо внушать, твое дело усилить ритм.

— Выдержишь?

— Я мягко. Надеюсь, во мне есть что-нибудь от ведьмы. Это даже хорошо, что я не совсем в форме, нет риска повредить ее психику. В любом случае хуже не будет.

— И все для того, чтобы Эя смогла попрощаться...— Я покачал головой.

— Не только. Ты можешь представить, как переход во времени подействует на обездушенную психику?

— Понятия не имею.

— Вот! Кстати, робот отличается от человека еще и тем, что никогда не бывает сентиментальным.

Я задумался. Неужели я действительно видел в Эе только средство, орудие, инструмент? Нет же, конечно, нет. Просто она осталась для меня чужой, в этом все дело.

Луна переместилась, пока мы отдыхали, разговаривали и собирали остатки ужина. Журчащий перекат скрылся в темноте, лунный свет плескался теперь у камней берега, озарял хроноскаф, изломами теней удлинял каждое наше движение. Словно чей-то внимательный глаз следил с неба за нами, такого ощущения я не испытывал в своем мире, возможно, потому, что там луна сияла в созвездии

космических городов. Теперь мне хотелось как можно быстрей уйти во время и разделаться с неизвестностью. Здесь оставалось одно, последнее дело — Эя. Для удобства подхода и внушения, которое требовало слаженного усилия иас двоих, я осторожно открыл машииу с той стороны, где, привалившись к борту, спала Эя. Лишенное опоры тело подалось набок, голова мотнулась с колен и поникла в колыхнувшейся гриве волос.

— Не разбудил? — залезая с другой стороны в кабину, шепотом спросила Снежка.— Спит?

«Как убитая», чуть не ответил я, но слова так и застряли в горле. Что-то не то было в движении девушки... Не веря себе, я подхватил упавшую руку Эи; ее пронзительный холод ожег созиание. Как же так, мы же чувствовали ее тепло, когда летели, а кабииу я оставил закрытой... Вздрогнув, я повериул лицо девушки к свету: иа меня глянул остекленелый зрачок. Нет, нет, этого не может быть, зто только каталепсия, очередиое зло чер...

— Быстро! — закричал я. И, тут же вспомиив, что Сиежка не зиает, где что иаходится, сам ринулся в машину.

Напрасно я разуверил себя, зто была, коиечно же, смерть. Сердце Эи не билось. Однако тело девушки ие совсем окочеиело, и я иадеялся, все еще надеялся, ведь такая смерть обратима, если целы важнейшие органы, а у Эи оии целы, ее же убил ие физический мир...

Какая разиица! Тщетно мы хлопотали над Эей. Средства иашей медицины могли многое, ио они были бессильиы против древиего зла, которое поражало не тело, а дух. Раньше, раньше бы догадаться, каким сном забылась Эя! Оиа умирала тогда, когда мы боролись за свое спасение, когда, словио вырвавшиеся на свободу дети, болтали о пустяках, когда длили свое короткое счастье. Длили, не подозревая и не догадываясь, что смерть человека, как и его жизнь, зависит от времени, которому он принадлежит. Даже смерть!

Испробовав все, мы снова и сиова пытались все повторить, отказываясь верить в свое бессилие. Ведь любого из иас эти средства, скорей всего, вернули бы к жизни! Но Эя ие принадлежала иашему времени, ее уже нельзя было вернуть оттуда, куда ее погнал приказ рода.

Снежка закрыла ей глаза, мы встали с колен. Перед нами в меловом свете луны укором или прощанием белело спокойное лицо Эи.

Поднявшись на пригорок, мы выкопали там могилу. Большего мы не могли сделать для Эи. Могилу я привалил камнем. Снежка беззвучно плакала. С иеба смотрела луна, ее свет был неподвижен и бел, как саван.

Я опустил голову. Нас окружал холодный свет пустыии, иам не было места на этой земле, где мы оставили частицу себя.

— Пошли,— сказал я тихо.

Снежка повиновалась.

Нас ожидал бурный, сложный, замечательный век, который, как родину, не выбирают. Нас ожидали люди. И если нам повезет, если мы сумеем вернуться, нас встретят как победителей.

Так оно и будет для всех.

Свет одинокой луны в последний раз скользнул по нашим лицам, мы сели в машину. Я включил ход, и все, что было вокруг,— осеребренный берег, крутой скат холма, одинокая могила Эн,— исчезло.

Нас встретили цветами.

Было много солнца и много ликующих людей, которые вмиг разлучили меня со Снежкой. Нас озарял радостный свет улыбок. Переходя из объятий в объятия, ошалев от весеннего ветра, от вида родной земли, от множества лиц, от возгласов и приветствий, отвечая на них, я глазами искал Алексея, без которого ничего этого не было бы.

Воздух гремел криками.

— Ждешь Алексея? — как нахмуренное облако из сияющей голубизны, из толпы вынырнуло ссохшееся лицо Жанны.— Он ждал тебя дольше!

— Узнаю скромника,— меня развернуло к ней.— Где же он?

Взгляд Жанны взорвался.

— Там же, где Феликс! — прокричала она.— Там же, где все!

— То есть как...

— Как люди пережигают себя? Во имя чего? Ради кого? Часа не прошло, а все ликуют... Конечно, вас же считали погибшими. Будьте вы счастливы!

— Постой!

Но она уже исчезла, канула в ликующем водовороте. Во имя какой правды она появилась здесь?

Все звуки отрезало. Я не мог вздохнуть. Нет больше Алексея. Нет Феликса, нет Эн, нет Алексея. Меня давил смертельный вязкий воздух пустыни. Вокруг мелькали радостные возбужденные лица, колыхались цветы, черно светило солнце.

Вот как оно все было. По моему лицу текли слезы, а все думали, что я плачу от счастья.

Издали, также сквозь слезы, мне улыбалась Снежка.

Я с усилием поднял руку и помахал ей.

А. В. КАРГИН

Очень важные игры

Конечно же, не хотелось вылезать из любезного кресла, откладывать «Записки» Цезаря, менять повытертый в локтях халат на мундир, пусть привычный и часто носимый даже в отставке, но письмо Кота — бог знает, за что приклеилась к нему эта кличка, желтый глаз, вольная ли повадка тому виной,— так вот, письмо, пришедшее с вечерней почтой, было приказом, больше чем приказом — просьбой старого товарища приехать как можно скорее, а это могло означать только одно: отправляться немедленно. Фуражка нашла привычную впадину на лбу. Даже с Береникой не простился, не будить же. Она загрустит завтра, проснувшись. Ведь вместе они думали прививать «цинерарию» к «американской красавице», после завтрака играть в «шута», смотреть марки... Генерал не выдержал, заглянул в спальню внучки. В розовом свете ночника ее лицо, обычно бледное, казалось свежим. Старик постоял с минуту, девочка не кашляла. Хороший признак. Он толкнул креслице на колесах поближе к кровати и вышел. На подзеркальнике оставил записку Марте: «Уехал по срочному делу. Отвар багульника завтра отменить. Позвоню».

Вызов связан с Чужаком, это ясно. Ведь Кот теперь важная шишка — главный военно-технический эксперт в Женеве. Генерал следил за газетами, знал: Чужак опасен для околоземного космоплавания, непредсказуемость его перемещений, поведения вообще, беспокоит мир, и сторонники пассивного выжидания теряют позиции в Объединенных Нациях.

...Мумифицированный старец семенил навстречу, растянув в улыбке синие губы. Они обнялись.

— Мы не виделись...— Кот усадил его на гнутый диванчик, а сам пустился петлять по затянутому кожей кабинету.

— Восемь лет. Ровно восемь будет в сентябре.

— Да, с последних игр.— Кот стоял теперь перед генералом. Он и впрямь высох, но глаза по-прежнему горели желтым огнем.— Ты так стремительно вышел в отставку, едва нашел время проститься.

— Не во времени дело, дружище. Мне было нелегко. После сорока лет службы.

Генерал замолчал. Не следует распускаться.

— А ты держишься молодцом,— скрипел Кот.— Я слышал, ты не вылезаешь из своего захолустья. Нигде носа не кажешь. Даже на встрече выпуска не появился.

— Не хотел трепать себе нервы. Мне, знаешь ли, года два после ухода снились то космодром, то штабные коридоры. А кроме того, я занят внучкой.

— Дочкой Марии? Как оиа? Прекрасио помню, какую пиццу она готовнла. Объеденне.

— Онн с мужем третнй год на Плутоне. А дочку оставили иа меия. Ну н Марта, конечно, с иамн.

— Марта? Боже мой! Ей лет двестн.

— Она твоя ровесннца. И всего иа год старше меня.

— Зиачнт, ты занят внучкой. Представляю. Спартаиское воспитание старого воякн. Верховая езда. Плаванне. Умеренность...

— Нет-нет, все не так. Девочка больиа с рождения. Оиа ие ходит, отсюда н другне беды: слабые легкне, анемня. Трн операции иа позвоночннке, и все бесполезно.— Геиерал понимал, что иепозволительио распускается. Ои иастороженио взглянул на Кота. Тот сочувственно склоиил голый череп, смотрел серьезио.

— Растет днчком, детей боится. А очеиь поиятливая, смышленая крошка. И фантазерка... Кроме иас с Мартой, у нее нет друзей. И ты знаешь, смешно подумать, но н мне кроме нее ннкто не нужен.

— Брось, так нельзя. Старый солдат. Опытнейший специалист. Ты не можешь похоронить себя. Особеиио теперь, когда ты нужен.

— Вот-вот. Переходи к делу. Если я так понадобнлся, дело, видио, прнняло серьезный оборот. Чужак?

Кот расположился рядом на диванчнке.

— Что тебе нзвестно о Чужаке?

— Только то, что известио всем. Болтается по Солиечной системе, защищен от любых зоидирующих средств, иа сигналы не реагирует. Судя по хаотнчностн движения, лишен экипажа.

— Могу добавнть, что в последине дни положение стало еще серьезнее. Вчера, например, два лунных транспорта едва увериулись от иего — Чужак вынырнул в десятке километров от ннх н тут же нсчез. Кроме того, обнаружено... Впрочем, я не могу сказать тебе больше, пока ие услышу ответ на следующее предложеиие.— Кот встал, сухо звякнув орденами. Генерал тоже подиялся с днваиа.

— Международный совет и Специальная комнссня уполномочнлн меня,— Кот говорил быстро и гнусаво,— предложить тебе войти в состав Чрезвычайного комнтета, учреждаемого решением помяиутого совета с целью выхода из тупнка в вопросе об отношении к объекту виесолиечносистемного пронсхождения, нмеиуемого средствами информацнн Чужаком, о контакте с экипажем, буде таковой существует, н о возможиых мерах по защите Земли. Мне поручеио также сообщнть, что твое согласие и сугубо коифиденциальиый характер сведеинй, к которым члеиы комитета получают доступ, повлекут за собой ограннчение нсключительио служебиымн рамками любых твонх связей с внешннм миром до конца деятельиости указанного органа.

— У меня есть время подумать?

— До восьми ноль-ноль.

— Конечно, никаких разъяснений до ответа?

— Никаких.

— Я буду здесь в восемь ноль-ноль.

— Отлично.

— Где я могу провести ночь?

Кот протянул сухую ручку к звонку.

— Проводите генерала...

Он осекся и отпустил дежурного офицера.

— Извини, старина. Я скоро свихнусь из-за этого Чужака. Идем ко мне. Сварим кофе, поговорим. Тебе можно кофе? Мне — нет. Но черт с ними. Почему я не могу выпить чашку кофе со старым другом, которого не видел восемь лет? Ты можешь мне это объяснить? Я не могу...

Вот и генерал не мог объяснить, почему он так быстро и легко согласился. Согласился задвинуть в укромный закоулок души ежеутреннюю возню с розами, перепалки с Мартой — давать ли Беренике землянику, вечерний ритуал с кляссерами и шутливые мечтания вместе с внучкой о «Голубом Маврикии». Поменять эту жизнь на нервотрепку совещаний, неуют ответственности, тесную сбрую дисциплины. Проснулась и громко заявила о себе дремавшая все эти годы потребность приказывать и повиноваться, продумывать многоходовые операции и мгновенно менять их течение в угоду другому, высшему плану, приводить в движение тысячи беспрекословно послушных в этот упоительный военный миг людей, столь же покорные механизмы, армады ракет, управлять этим движением, чтобы окружить, подавить, ошеломить, разметать, уничтожить противника... Впрочем, противника у генерала за всю его многолетнюю безупречную службу так и не появилось. Ни разу не послал он ракету в настоящую цель. Только игры, игры, игры.

Подписав бумаги, генерал сказал:

— Прежде чем ты введешь меня в курс дела, я должен взглянуть на Беренику. Это займет две минуты. Отсюда можно?

— Валяй.— Кот кивнул на экран и вышел.

Она только проснулась, не поняла даже, что дед смотрит на нее с экрана, а не стоит рядом, у кровати, как обычно.

— Ой, деда, мне такое... А ты где?

Генерал улыбался.

— Мне такое приснилось, такое... Пришел человечек — такой маленький мальчик с разноцветными глазками и сказал, чтоб идти играть. А у него мячик. А потом, я тебе расскажу...

— Ты мне все расскажешь,— не выдержал генерал,— все-все! Я приеду, я скоро...— И пошел к выходу, бормоча: — Девочка моя, я не дам тебя в обиду. Никаким чужакам, никому не дам...

По дороге Кот рассказал о последнем и самом значительном событии. Накануне на экстренном заседании Международного совета, а экстренным оно было потому, что патрульные ракеты и спутники обнаружили сильное излучение неизвестной природы, исходящее из Чужака узким лучом и направленное в сторону Земли, так вот, на этом заседании Совет решил принудить Чужака покинуть пределы Солнечной системы.

— Что значит — принудить? — спросил генерал.

— Термин не раскрыт. Юридическое оформление акции и техническое ее осуществление поручено как раз комитету, членом которого ты согласился стать. Полномочия его безграничны. В него войдут крупнейшие дипломаты, юристы, ученые и... военные специалисты всего мира,— голос Кота ликующе звенел.— Вся интеллектуальная мощь планеты! Цвет...

— Умерь пыл, дружище, ты не на пресс-конференции. И слушают тебя не миллиарды братьев-землян, а один, как ты сказал, военный специалист, хотя и не очень крупный. Поменьше эмоций. Ты ведь не дипломат и не юрист, так называй своими словами то, что на их иезуитском языке звучит «принудить покинуть пределы Солнечной системы». Чужак не школьник, которого можно взять за ухо и вывести из класса.

— Не думай, что такое решение родилось легко и сразу. Оно было принято после долгих, трудных споров и только под давлением последних драматических событий. Конечно, знай мы точно, что на нем нет экипажа...

— Ну а ты,— перебил Кота генерал,— ты в этих спорах на чьей стороне?

— Я считаю, что человечество может за себя постоять! Имеет право, а при этом и средства защиты. Никто не заставит тебя палить без нужды. Содержание понятия «принудить» будет раскрыто сообща, с опорой на мудрость политиков, знания ученых и, конечно, военный потенциал Земли.

Генерал молчал.

— И ты как полноправный член комитета сможешь в полной мере влиять на ход событий. Твой опыт, владение стратегическим искусством сыграли, конечно, роль при выборе твоей кандидатуры, но главное, пожалуй, чем руководствовался Совет,— твоя репутация человека, тщательно обдумывающего свои решения и совершенно независимого, а вовсе не умение хорошо стрелять.

— Вот, наконец-то! — поднял голову генерал.— Я просто хотел услышать от тебя это слово: стрелять. Теперь я его услышал.

Как хирург на пациента — ему хотелось так думать,— смотрел он на висящую в пространстве тяжелую бесформенную тушу, выхваченную оптикой и брошенную сюда, в Центр наблюдения и связи. Надо быть бесстрастным, думал генерал, только так можно избегнуть ошибки. Тупенькие отростки бурого бугристого мешка вяло шевелились, левый его край остро сверкал, отражая солнце. Что там, за этой шкурой, непроницаемой для земных излучений? Куда войдет скальпель? Дурацкая аналогия! Он не собирается лечить это чудовище. Он зарежет его. Куда войдет нож? Старик физически ощущал глухую враждебность этого существа. Вот оно поворачивается, обращает носорожью морду к охотнику. Он уперся ногой в камень, и рука его ощутила тяжесть копья. О, Нимрод, сильный зверолов перед господом, защити чад своих, сохрани их, слабых.

На последнем заседании жарко и страстно говорил южанин. Сейчас преступно медлить. Чужак еще никогда не подходил так близко. Не исключено, что его излучение уже поражает наших братьев и сестер по планете. Уже заронило в них семя смерти или уродства. Решение Совета должно быть выполнено незамедлительно. После демонстрационного взрыва Чужак еще больше приблизился к Земле. Взрыв не должен быть демонстрационным, он должен поразить цель.

Другой, светлоглазый крепыш, говорил спокойней. Главное — избежать непоправимого, опрометчивого шага. Нанеся удар в соответствии со схемой, предложенной экспертами, мы действительно устраним сиюминутную опасность, исходящую от этого корабля, но породим две другие, куда большие — возмездия и угрызений совести.

В потоках слов и эмоций, скупо цедил третий, мы погребли простое существо вопроса: можно ли выполнить решение Совета о выдворении Чужака, не уничтожая его. До сих пор единственным аргументированным ответом на этот вопрос был ответ отрицательный. Стало быть, Чужак должен быть уничтожен. Не следует забывать, мы — исполнительный орган. От нас ждут не решения, наш долг — выполнить решение, уже принятое и одобренное человечеством в лице его полномочного органа — Международного совета.

Этого, последнего, генерал слушал, пожалуй, с наибольшим удовольствием. В самом деле, весь словесный блуд, неделями заливавший залы совещаний, эфир, прессу, только затрудняет простую работу, святую работу — защиту дома, очага, пенатов, чего там еще. А угрызения совести — сравнимы ли они с теми, что испытают люди, мужчины, солдаты, если позволят этому мешку...

Нет, определенно, ему не место на этих собраниях, говорил он Коту, единственному человеку, понимавшему генерала до конца.

— Оставь, старина. Пусть себе говорят. Выхода у них нет,— отвечал друг.

— Ты прав. Давай лучше займемся делом. Внесем ясность в состав второго эшелона — я ведь не исключаю возможности ответного удара. Смотри-ка сюда.— Он увлекал Кота к моделирующей карте, и они погружались в отработку вариантов, освежали нёбо номерами частей и эскадр, цифрами мегатонн, полоскали горло восхитительными словами — упреждение, рысканье, эшелонирование. Они убивали Чужака стократ, и столько же раз у того не оставалось шансов на ответ.

И все же настал день, когда уже нельзя было откладывать. Последняя энергичная сшибка мнений и... Голосование развалило комитет надвое. Все смотрели на генерала — его голос оказался решающим. «Мой бог,— думал генерал,— может быть, правы эти милые мирные люди. Ведь ощутимого вреда Чужак не принес, еще не принес... Не торопимся ли мы?» Руки его сжали подлокотники кресла, и он вдруг кожей своей, всем телом вспомнил, ощутил облегающие ладони, прекрасные, неповторимые формы рычагов ручного наведения. «Есть захват! Пуск!» — зажглось в мозгу.

— Пуск! — сказал он вслух.

— Что? — наклонился Кот, приставив ладонь к уху.

— Что? — подались другие к генералу.

— Я — за,— сказал он ломким голосом.— За уничтожение,— и успел увидеть довольную гримасу на желтоглазом лице Кота.

Разговоры отошли в прошлое. Исследования показали: он уязвим. Найдены диапазоны, рассчитаны траектории. Лучи просверлят окна в защитном слое, и в окна эти ринутся стаи ракет, чтобы встретиться в одной точке и, соединившись, зажечь маленькое белое солнце на месте темного бесформенного урода. Одновременно будет создан мощный экран, призванный в миллиарды раз ослабить радиационное воздействие на околоземную область, отразив излучение в глубины необитаемого космоса. Генерал работал.

Накануне операции они с Котом инспектировали позиции. Доклады командиров установок. Левая рука на кортике, правая — у виска. Деловитая возня операторов. Холодный, грозовой запах бункера. Идеальная линия пультов.

— Суточная готовность!

Музыка, музыка. Завтра он будет здесь, с ними.

Человеческий гений несокрушим.

— Ах, Котяра,— говорил он ночью, прогоняя слезы бодливым взмахом головы,— значит, не зря прожита жизнь. Ведь было время, восемь лет назад, когда я думал: сорок лет обмана. Служения машине, которой — это понимали все — никогда не суждено быть пущенной в дело. И к счастью, конечно. Но это ли не трагедия? Обнаружить, что вся красота и безмерная мощь оружия, мудрость стратегических теорий, идеалы боевого товарищества — все это не нужно.

— Ты настоящий боец, дружище, я всегда это говорил. Боец с великим сердцем. Ляг, тебе надо выспаться. Завтра большой день.

— Да, да! Цель, настоящая цель. И во имя святого дела. Без этого мы, военные, ничто. Смешные паяцы в мундирах. А теперь ясно: я нужен. Мы нужны, Кот. Без нас не могут — ни люди, ни звери, ни розы...

Настал день «Д». Пришел час «Ч». Сотни пальцев впились в клавиши и кнопки, легли на полированные рукоятки, взялись за маховички, движки и колесики. Генерал сидел в кресле и краем сознания фиксировал мелькание цифр в левом верхнем углу экрана.

— Минутная готовность!

Это в углу экрана. А все остальное его пространство занимал Чужак. Вспухал флюсами, вилял отростками, источал гнусное, непристойное самодовольство.

20, 19, 18... Не бойтесь, дети мои. Это как игра. Условный противник. Вы на маневрах... Игра, говорю я вам.

10, 9, 8... Он вернет его в первозданный хаос. Он, солдат Земли.

3, 2, 1. Экран опустел. Игра закончилась.

Генерал не стал предупреждать о возвращении. «Пусть это будет сюрпризом для Береники»,— думал он, представляя, как она протянет ручки к тусклому, чуть шершавому металлу ордена — нового ордена, высшего ордена, врученного ему сегодняшним ликующим утром.

От последнего поворота он шел напрямик, пачкая сапоги сырой пахучей землей, отгибая нахальные ветки лещины, оскальзываясь на крутой колее. Туман лежал слоями, их взгорок, казалось, плыл. Он шагал, закинув голову, и мокрые листья хлестали по щекам и губам. С широкого синего неба били лучи родной звезды. Лишь в этом краю обретет он покой, моряк наконец возвратился домой, охотник спустился с холмов...

В такую сырость Марта вряд ли вывезла девочку в сад. Он тихонько, хоронясь за розовыми кустами, подобрался к крыльцу. Дверь приоткрыта. Занес уже ногу на ступеньку, но осекся — попробуй наследить, Марта разнесет все в пух. Сунул ноги в чистилку. Звук ее, тихий обычно, показался оглушительным. Он поморщился. Сюрприза может не получиться. И точно, из-за угла выползла Марта, шваркнула туфлями с налипшей глиной, открыла было рот. Генерал решительно прижал палец к губам и мягко поднялся по лестнице. Холл, гостиная, где же девочка? Ну, конечно, как он забыл! Сейчас три, послеобеденный сон. Он становится у изножья кроватки и обнажает голову, открывая багровый рубец — след старой подруги-фуражки, отличительный знак безупречного служаки.

Девочка просыпается и смотрит на него.

— Я вернулся, детка моя! — Генерал протягивает руки.— Ты не должна больше бояться.

— Кого, деда? — Она садится, и старик видит, что личико ее, как часто бывало после сна, порозовело и не кажется слишком уж вялым.

— А никого! Никто тебе не страшен, дружок. Вставай! Разве ты не рада, что я вернулся?

— Рада, очень рада. Просто мне приснилось, что Эник больше не прилетит. А ты как думаешь, прилетит?

— Эник? Какой Эник?

— Я же говорила тебе, он такой смешной, с разноцветными глазками. Он пришел с неба. Мы с ним в мяч играли.

— В мяч? — Генерал побледнел.— Бедная моя крошка.

— Ну да, я еще сказала ему, что не могу в мяч, что ходить не могу, а он сказал, что это чепуха, что все могут. И мы стали играть и бегать... Ой, да ты ничего не знаешь! А это что у тебя? — И, легко вскочив на кровати, она подпрыгнула, прижалась к старику и схватила шершавый металлический кружок у него на груди.

— Я же говорил, Тосик, твоя теория опеки младенческих цивилизаций не стоит ломаного гроша. Четвертая неудача подряд! Не надоело? Хочешь еще попробовать?

Он промолчал. Хотел, конечно, но пусть Эник разрядится.

— На Хане мы очистили гидросферу, сделали воду источником бодрости, долголетия, а они... Ты помнишь, как уносил ноги от туземцев? На Лайме ты накормил всю ораву, привил им навыки рационального хозяйствования. И что? Вернулся на корабль побитый камнями. Хорошо хоть здесь, на Ауме, я не пустил тебя вниз. Я сразу смекнул, что от них добра не жди. Как видишь, в ответ на исцеление паралитиков они шарахнули из всех своих пушчонок. Нет, что-то ты напутал. Я всегда говорил: маленьких детей надо любить такими, какие они есть. Реформировать их бесполезно, да и безнравственно. Сами вырастут.

— То-о-с! Эник! — раздался женский голос.— Куда вы, сорванцы эдакие, подевались?

— Мама, мы здесь, совсем близко,— ответил Эник.

— Кто разрешил вам взять корабль?

— Мы спросили у дяди Офа, он позволил.

— Ох и задам я вам, да и Офу заодно. Марш домой, слышите. Чтоб сию же минуту отправлялись на базу!

— Летим, мама.

Тос поднял голову и зашептал:

— Только знаешь что, заглянем еще на Симанию, Эник? Все равно по дороге, а?

НИКОЛАИ БЛОХИН

Реплики

Реплика. 1 — Краткое замечание, возражение, ответ...
4 — Авторское повторение художественного произведения, незначительио отличающееся от оригиимала.

Советский энциклопедический словарь

СЕГОДНЯ

— Я думаю, коллеги, что оживлять его было бы преступио.

— Вы хотите сказать, Валеитин Петрович, что мы должны дать ему спокойио умереть?

— Я хотел сказать, Мария Федоровиа, только то, что сказал.

— Это означает, Валентии Петрович, что мы его убьем. Мы, врачи, убьем человека.

— Это не человек в полном смысле этого слова, коллега. Это лекарство. Иструмеит. Если хотите, нейрохирургический инструмент.

— Только потому, что у иего иет документов?

— Не только потому... Дайте закурить кто-нибудь!

* * *

«Они про меня? — Я давио уже лежу с закрытыми глазами, слушая странный этот разговор. Пахнет больницей.— Я болеи? Что со мной? Надо вспомнить... Как меия зовут?.. Господи, как же меия зовут?! Пахиет больиицей. Папиросный дым... Я забыл, как меия зовут. Господи, господи, зиачит, я сумасшедший, а это — психбольиица!»

* * *

— Валеитин Петрович, видите! Он шевельиулся! Он застонал!!

— Да-да, коллега, теперь поздно спорить...

ВЧЕРА

— Повторяю еще раз, Иваи Ефимович. Вы должны копировать мои движеиия как можио точиее. Ииаче вся эта затея теряет смысл. Я буду помогать вам. Буду вслух коммеитировать свои действия. Все. Приступаем... Обрабатываю кожу. Смотрите, Иваи, не сотрите зеленую черту... Кожный разрез... Сантиметра три... Гемостаз... Маша, лирообразиый расширитель! Мие и Ивану! Раздвигаем края раиы... Молодец!.. Маша, фрезу иа пятиадцать... Да, да, мие и Ивану, я же все

объяснял!.. Накладываем трепанацнонное отверстне, Иван, будь предельно виимателеи!.. Готово! У тебя готово? Порядок! Твердую мозговую вскрываем крестообразным разрезом... Маша, пот со лба мие вытрн!.. Фикснруем опорную раму. Не так! По точкам!.. Канюля должна быть сориентирована строго в сагиттальной плоскости... Провожу коагуляцию. Иваи Ефимовнч, коагуляцию!.. Готово?.. Ну, господи, проиеси, начниаю пункцию. Иваи, повторяй все мон движения, только с иебольшим запаздыванием. Секуиды три. Я тебе считать буду. Если промахнусь — я крикну,— сразу же остаиовись! Тебе ошибнться нельзя... Готов? Поехали... Ноль-и-раз-и-два-и-так... За мной, за мной, ие спеши... Маша, подкатн осциллограф поблнже, нн черта ие вижу... Ноль-н-раз-н-два-н-так... Ноль-н-раз-н-два-н-так... Ноль-н-раз-н-... Иваи, стоп!!! У моего тремор... Просадил... Ты успел?.. Слава богу!.. Фу-у! Не волнуйся, все в порядке... Для того н выращен этот бедняга... Ему все равно не жнть, а человека, кажется, спасли... Теперь продолжаем. Иваи, можешь отдохиуть... Деструкцию я проведу сам. Маша, генератор!

СЕГОДНЯ

...Я ие могу пошевелить головой. Попробую открыть глаза... Из тумаиа на меня тревожно смотрят люди в голубых халатах. Лица закрыты марлевыми повязками. Только у толстого повязка висит на шее... Курнт... Двнгаю правой рукой... Левой... Ноги... Почему головой не могу?

— Кунибус Флестрин...

— Что он сказал, Марня Федоровна, вы разобралн?

— Бреднт...

— «Человек-Гора»... Я ие могу пошевелить головой...

— Иван, освободите фиксаторы.

За головой слабо заскрнпело. Мне помогли присесть. Женщина биитует голову. Меия затошинло... Резкий запах нашатыря... Как меня зовут?!

— Это психбольннца? Доктор, я в психбольиице?

— Нет, что вы! Это медннциискнй иистнтут. Вы ие волиуйтесь, вам совсем ие иужно волиоваться. Голова болит?

— Доктор, я иичего ие могу вспомиить...

ТРИ МЕСЯЦА НАЗАД

— Итак, коллегн, завершая иаш коисилиум, я выскажу едииодушиое миеиие, что для успешного лечеиия иеобходимо клонироваиие больного Журавииа.

— Валентин Петрович, решеиие ие было едииодушиым.

— Вас, Мария Федоровна, мы выслушалн. Дайте мие закончить.

Хорошо, хорошо. Скажем так: большинство коллег единодушно решило, что оперировать больного необходимо. Во избежание ошибок пункцию решено проводить параллельно, с небольшим опережением, на искусственно выращенном аналоге.

— Валентин Петрович, «аналог» — слово какое-то... Мы будем экспериментировать с человеком.

— Искусственно созданным аналогом человека, Мария Федоровна.

— Но физически он ничем не будет отличаться от больного Журавина.

— Физически — да, но формально — нет. Поймите, Мария Федоровна, без этого... тренажера... мы не можем гарантировать успешного хода операции. Погубим больного Журавина.

— Тогда я еще раз спрошу вас. Если обе пункции пройдут успешно, что будем делать с... со вторым?

— На этот вопрос я не могу вам ответить. Скажу только, что без клонирования мы Журавина не вылечим...

ЗАВТРА

— Двенадцать в квадрате?
— Сто сорок четыре.
— Как звали вашу мать?
— ...Не помню...
— В каком городе вы живете?
— ...Не помню...
— Ваш любимый писатель?
— Гоголь... Булгаков...
— Композитор?
— Бетховен.
— Сколько вам лет?
— ...Не помню...
— Спасибо, голубчик. На сегодня хватит. Отдыхайте.

* * *

— С сожалением вынужден констатировать, коллеги, что при введении канюли была случайно разрушена область...

— Я хочу уточнить. Это, строго говоря, не случайно. Искусственный человек был выращен специально для того, чтобы такой случайности не произошло при оперировании настоящего... настоящего человека. И то, что больной Журавин — на пути к выздоровлению, целиком заслуга этого метода...

— Вот именно! Важен результат. Мы имели умирающего больного Журавина. А теперь мы имеем выздоравливающего больного Журавина...

— ...И точную его копию, лишенную памяти...

— В том-то и дело, коллеги, что не лишенную. Этот человек прекрасно помнит все, за исключением только того, что касается его собственной личности. Он помнит, что первый спутник был запущен в октябре пятьдесят седьмого, но не помнит день своего рождения. Он обожает Гоголя. Цитировал мне вслух... Он играет на фортепьяно, и замечательно играет! По памяти. А вот сказать, где закончил консерваторию, и какое вообще у него образование, он не в состоянии. Не знает, женат он или нет...

— Кстати, а больной Журавин женат?

— Не знаю. Можно посмотреть в его карточке. Да это и не важно...

— Не важно?

— Ну конечно! Раз этот... второй... не знает о существовании жены, то и слава богу! Журавин выпишется и поедет домой, к жене, если она у него есть. А этот... Этот пока останется в институте.

ЧЕРЕЗ ДВА ДНЯ. СОН

«Счастливое ощущение свободного полета сменяется привычной тревогой. А вдруг сегодня не раскроется? Пора! Ха-ха-ха! Толчок!.. Оранжево-белый купол закрыл полнеба. Земля внизу перестала кружиться... Озеро... Башня... А, вот он, крест. Наляжем на эти стропы. Ветер... азимут триста пять... Наташка волнуется... Не нужно было приглашать ее на соревнования. Ну, а Димка, тот, конечно, счастлив. Смотрит на папу. А папа высоко-о-о!!.. Крест приближается. Все забыть! Группировка! Тол-чок!!!» — открываю глаза.

Что же мне снилось? Полет какой-то? Не помню. А вдруг мне снилась та жизнь, до болезни? Ерунда. Если я потерял память, то и во сне не должен ничего вспоминать... Как же меня зовут? Сергей? Нет. Володя? Нет. Игорь? Нет, Алексей? Нет...

— Хватит валяться в постели, голубчик. Иди умойся, я завтрак принесла.

— Тетя Вера, я в столовую могу пойти...

— Тебе велено тут завтракать. Умывайся. Голова болит?

— Тетя Вера, скажи, как меня зовут?

— Нешто ты сам не знаешь? Ой-ей-ей... Так для меня вы все больные. «Больной из четвертой», «больной из двенадцатой»...

ЧЕРЕЗ ДВА ДНЯ. ДЕНЬ

— Продолжим, больной. Сколько вам лет?

— Не знаю... Лет тридцать...

— Вы мужчина или женщина?

— Не валяйте дурака, доктор. Когда вы мне расскажете, кто я и что со мной?

— Всему свое время. Имейте терпение. Вас лечат. Вернее, будут лечить, если вы нам поможете. Нам необходимо изучить вашу память. Постарайтесь отвечать точнее. Вспоминайте, вспоминайте!

— Доктор, у меня родные есть? Я что, к вам такой и попал?

— Не отвлекайтесь, больной. В ваших интересах помочь нам. Продолжим. Вы спортом занимались?

— Доктор, я устал...

* * *

«Алексей? Нет. Вася? Василий? Нет. Михаил? Нет. Игорь? Нет. Сергей? Нет...»

ЧЕРЕЗ ДВА ДНЯ. ВЕЧЕР

— Мы должны рассказать ему. Какое мы имеем право скрывать от человека его прошлое?

— Мария Федоровна, вы уверены, что это не нанесет ему вреда? Таламический болевой синдром...

— Не уверена... Но не уверена и в том, что наша скрытность ему на пользу. И потом не забывайте — это больница.

— Это институт.

— Это больница. Он все равно узнает. По-вашему, лучше, чтобы он узнал свою историю от нянечек или от больных?

— Я посоветуюсь с Валентином Петровичем...

ЧЕРЕЗ ТРИ ДНЯ. СОН

«— Папа, а лодка не перевернется?

— Нет, Димка.

— А если перевернется?

— Не перевернется.

— Ну а если?

— Мы с тобой доплывем до берега.

— Па-а-па! Я же не умею.

— Я тебя вытащу.

— Можно, я погребу немножечко?

— Можно...

...Скрипят уключины. Лодка медленно крутится на месте. Солнце бьет в глаза...

— Димка, греби на юг.

— А где юг?

— На юге... Вон мама к нам плывет...»

...Что мне снилось? Море? В этом городе есть море? Не помню...

* * *

В уборной пахнет дымом.

— Эй, чудак, у тебя курева нету?

— Я, кажется, не курю.

— Слушай, чудак, ты не из двенадцатой палаты?

— Из двенадцатой. Я там один.

— Так это тебя в пробирке вырастили?

— Что? Н-нет... Не помню...

— Ну точно, это ты... Ребята, это он и есть. Дубликат искусственный.

— Отойди от него. Мне жутко как-то...

— Парни, вы расскажите...

* * *

— Вы музыкант?

— Не знаю...

— Столица Швейцарии?

— Берн... Доктор, как моя фамилия?

— Позже, позже, не отвлекайтесь, больной. Столица Узбекистана?

— Ташкент.

...Они уверены, что я ничего не знаю. Чего они хотят от меня? Они не хотят, чтобы я встретился с Ним? С тем, кто и не подозревает о моем существовании...

— ...Вы меня не слушаете?

— Простите, доктор. Я вспоминал.

— Что же вы вспомнили, больной?

— Я, наверное, музыкант. Поиграть вам?

...Они не хотят меня выпускать отсюда. Во мне больше нет нужды. Меня создали, с моей помощью вылечили Его. При этом у меня, случайно или нарочно, вытравили память. Все. Они уверены, что я буду претендовать на Его место в жизни. У Него дом, работа, семья... У Него есть семья? Господи... Есть ли у меня семья?..

— Не отвлекайтесь, больной. Попробуйте назвать номер вашего паспорта.

— Из этого вопроса, доктор, я выяснил, что мне больше шестнадцати лет. А теперь спросите, помню ли я, что мне подарила жена на тридцатилетие. Узнаем сразу, сколько мне лет и заодно, женат ли я...

ЧЕРЕЗ ЧЕТЫРЕ ДНЯ

— Валентин Петрович! Больного из двенадцатой нет нигде! Он сбежал!

— Ерунда. Поищите где-нибудь в курилке. Куда ему бежать?

* * *

...Все лицо исцарапано. Надо же — ворота на ночь запирают. Воров боятся... А может, он вор? Потому и не говорят мне... Надо где-нибудь одежду украсть... Не ходить же мне в пижаме по городу. Кстати, сейчас узнаем, что это за город. Вот такси. Номер 12-09 ТТФ. Тула?.. Туркмения... Вот еще машина: 87-10 БК. Военная... Ладно, с этим успеется...

— Парень, ты что, из дурдома сбежал?

— А?!

— Ты чего, говорю, ночью в пижаме? Жена за молоком погнала, а про бидончик забыла? Ты домой иди, пока «синеглазка» не подъехала. А то тебе в твоей пижаме в вытрезвиловке ночевать, как пить дать...

...Бегом по этой улице. Магазин «Одежда». Работает с 10 часов. Еще ночь... И все равно меня туда в пижаме не пустят. Дальше... Афишная тумба. Стоп! Хорошо, луна светит... «В помещении ДК машиностроительного завода гастроли Новосибирского драмтеатра...» Значит, это не Новосибирск... Не богато... «В кинотеатре «Смена» премьера кинофильма «Ночные схватки»... «В Зеленом театре состоится концерт югославской эстрады»... Вперед!.. А куда, собственно, я направляюсь? Подальше от больницы? Искать Его? Где?..

* * *

— Дежурный по городу капитан Сотников у аппарата.

— Товарищ дежурный... С вами говорит профессор медицинского института Тарасов. Нужна ваша помощь... Из нашей клиники исчез больной. Тяжело больной.

— Фамилия?

— Тут... сложно, товарищ дежурный. У больного частичное выпадение памяти... Он не помнит своей фамилии...

— У вас тоже выпадение памяти, профессор? Вы-то мне можете сказать его фамилию?

— Он в светлой пижаме. Ему тридцать четыре года. Ему нельзя знать, кто он, понимаете?

— Мне тоже нельзя знать, кто он? Тогда ищите сами!

* * *

...Оп-ля! Кажется, вам повезло, больной. На веревке сушится белье. Ха! Тренировочные штаны... Шведка... Мятая. Но нам как будто не идти в Зеленый театр на югославскую эстраду... Брюки еще не высохли... Плевать! Ночь теплая... Морем пахнет... Море! Я почему-то уверен, что в городе есть море. Надо идти все время вниз. Туда!.. Когда-нибудь я приду в этот двор и отдам рубашку и штаны... Море! Пахнет солью. Тиной... Тихо... На горизонте розовая полоска. Ага, в той стороне восток! А на западе что? «Пляж санатория «Чайка»... За перегородкой стоят пустые шезлонги. Спать!

ЧЕРЕЗ ЧЕТЫРЕ ДНЯ. СОН

«— Старший лейтенант Журавин! Приказываю вам прыгать без парашюта!

— Есть, товарищ майор! Разрешите выполнять?

...Ночь. Ни черта не видно... Где верх, где низ? Ветер в спину. Значит, я падаю спиной вниз. Какая разница? Какая разница, как падать с такой высоты? Где меня найдут? В горах? В море? В камышах?.. А если высокий стог сена?.. А если из него торчат вилы?.. Яркий свет. Толчок...»

— Вы почему не были на завтраке?

Солнце бьет в глаза. Пляж санатория «Чайка». Передо мной женщина в белом халате. Нашли?!

— В санатории нужно соблюдать режим. Все уже позавтракали. Вы из какой палаты?

— Из двенадцатой. Я сейчас уйду.

— Куда вы уйдете? Марш в столовую!

Это меня устраивает. Поем, пока не прогнали, и... Там видно будет. Что же мне снилось?

* * *

— Игорь!

— Угу!

— Игорь, звонил профессор Тарасов.

— Тот, что меня оперировал? Опять анализы сдавать...

— Нет. Он просил тебе передать...

— Что?

— Странно... Он просил передать, что если к нам придет... К нам может прийти человек... Тарасов сказал, что мы его сразу узнаем. Чтобы мы не пугались, а тотчас позвонили ему.

— Кому?

— Ну, Тарасову же...

— А кто придет?

— Не сказал. Может, и не придет. А кто — не сказал. Мы оба, говорит, его узнаем. И чтобы не пугались... Я боюсь...

— Ерунда какая-то... Наташ... Пойдем сегодня на пляж. Димка уже проснулся.

— Тарасов просит еще зачем-то принести твою фотографию. Для статьи, говорит. Для какой еще статьи?

— «...Больной Ж., спортсмен-парашютист, в результате неудачного приземления получил серьезное повреждение какого-то там участка головного мозга. На фиг. 1 — фотография Ж. до операции, на фиг. 2 — после операции...» И на глазах черная полоска... Наташ, так мы пойдем на море?

— Не хочу...

* * *

— Он пропадет один в городе. Он даже не помнит его названия. Он заблудится и... и...

— Ничего страшного. Его быстро найдут. Тарасов звонил в милицию. Больной в полосатой пижаме. Хотя у нас и курорт, а все же...

— Вы говорите о нем, как будто он сбежавший заключенный: милиция, полосатая одежда... Он свободный человек!

— Он сбежал из клиники.

— Он никому не опасен. Он сам в опасности.

— Не надо преувеличивать, Мария Федоровна. Я с ним ежедневно беседовал. Он на редкость здравомыслящий человек. Умный, резкий, принципиальный. Просто он не помнит, да и не может помнить, свое прошлое...

— Хуже, коллега. Для себя самого он не существует как личность.

— А вот тут вы ошибаетесь.

ЧЕРЕЗ ПЯТЬ ДНЕЙ

...Порт. Краны. Кирпичное здание управления.

— Здравствуйте!

— Здравствуй, если не шутишь!

— Вам грузчики нужны?

— А ты грузчик?

— Грузчик. Диплом дома забыл.

— И паспорт забыл.

— С паспортом сложности...

— На прописке?

— Во-во! Вам грузчик нужен или паспорт?

— Десятка в день. На двадцать девятой площадке спросишь бригадира Алексея Ивановича. Твоя фамилия как?

— Фамилия?.. Толмачев.

— Не брешешь?

— До свидания. Какая площадка?

— Двадцать девятая, Толмачев.

* * *

— Петрович! У тебя что, давно неприятностей не было?

— Ну, скажем, были недавно. И еще будут. У меня работа такая.

— Будут, Петрович. Явного алкаша на работу поставил. Да еще без паспорта... Лицо исцарапанное. Голова перевязанная...

— Понимаешь, Лариса, я его узнал. Это Игорь Журавин. Между прочим, мастер спорта международного класса. Вот так. Он весной еще в какую-то аварию попал. Прыгать перестал. В Испанию не поехал. Вот и запил...

* * *

— Нету у меня сейчас людей, профессор. У меня только в Приморском районе вчера было два ограбления... Хотя откуда мне знать, может, это ваш псих постарался...

— Товарищ капитан! Это интеллигентнейший человек. Спортсмен, музыкант...

— В интеллигентности вашего психа я не сомневаюсь. Во дворе дома девятнадцать по Лермонтовской улице обнаружена полосатая пижама со штампом клиники медицинского института. А в соседнем дворе — пропажа. Неизвестный злоумышленник снял с веревки белье. Рубаху и штаны. А вы говорите «интеллигентный»!

* * *

...Рулон на себя... поворачиваем на клине... вперед, на склад... Никогда бы не подумал, что бумага может быть такой тяжелой. Сколько в этом рулоне? Килограммов триста?.. Катятся рулоны...

Олег? Нет. Николай? Нет. Игорь?..

— Эй, Толмачев! Садись обедать!

— Спасибо, ребята, я не голодный.

...Рулон на себя... поворачиваем...

* * *

— Валентин Петрович, ну??

— Его ищут, Мария Федоровна, ищут. Дежурный горотдела обещал сделать все возможное. Нашего больного видели в районе Старого порта. Туда уже направили наряд милиции. Через час-полтора его привезут в клинику. Не беспокойтесь.

— Ну, привезут его, издерганного, голодного... Он ничего понять не может... А что дальше? Расскажем ему все, походатайствуем насчет паспорта... «Журавин Игорь Александрович, такого-то года, был женат, растил сына, прописка...» Прописка... А где он будет жить? В двенадцатой палате?

— Всего этого можно было бы избежать, если бы не ваша мягкотелость, Мария Федоровна.

— Вы хотели его убить...

— Выбирайте выражения, коллега. Не забывайте, что с его помощью мы спасли больного Журавина.

— Сказка про белого бычка.

* * *

— Товарищ старший сержант, посмотрите. Вон там, у пакгауза, на двадцать девятой площадке, не он? Не псих ли этот? По ориентировке вроде похож — невысокий, чернявый, брюки тренировочные. Устроился за червонец рулоны катать...

— Погоди, Литин, погоди. Вроде похож. Ты подойди, проверь у него документы, а я здесь у машины подежурю.

* * *

— Димка, не крутись под ногами! Возьми маму за руку.

— Па, а на море сегодня не пойдем?

— Не пойдем.

— А почему?

— Потому.

— А за кем милиционер гонится?

— Где?

— Ну вон, сзади.

— За хулиганом. Дядя хулиганил. Будешь хулиганить, и тебя...
— Папа, а дядя на тебя похож.
— Не болтай глупостей... Наташа, ты что?!

ЧЕРЕЗ ПЯТЬ ДНЕЙ. ВЕЧЕР

— Тетя Вера!
— Кто здесь? Щас свет зажгу...
— Тетя Вера, это я...
— Ты? Ох ты, господи... Тут из-за тебя такое! Зачем, скажи на милость, убежал? Всех докторов переполошил. Тебя уже с милицией ищут.
— С милицией?.. Тетя Вера, принеси поесть чего-нибудь. Только, смотри, не говори никому, слышишь? Не говори...

* * *

— Мария Федоровна! Валентин Петрович! Там у меня в каморке этот... беглый сидит. Голодный прибежал, весь расцарапаный... Просил вам не говорить... А я уже...
— Просил не говорить, а вы сказали.
— Да я...
— Ладно, ладно, погодите... Поесть ему принесите. Просил поесть?
— Просил.
— Вы, Вера Михайловна, принесите ему поесть. Мы подойдем позже...

* * *

...Шаги по коридору. К окну! Кто?.. Так и есть! Валентин Петрович с этой... хирургом и с тетей Верой. Надо удирать. Я сегодня весь день от кого-то удираю... А тетя Вера — зараза!

ЧЕРЕЗ ПЯТЬ ДНЕЙ. НОЧЬ

— Смотри, Литин, он?
— Вроде он, товарищ старший сержант. Теперь не уйдет!
— Молодой человек!.. Да-да, вы. Попрошу вас предъявить документы?
— А я что-нибудь нарушил?
— Молодой человек, предъявите документы!
— А вы, старший сержант, всегда за хлебом с паспортом ходите?
— Я за хлебом в первом часу ночи не хожу.

— А я хожу. Ладно, скажем так: хочу встретиться с одним человеком. Документов с собой не взял. Не видел такой необходимости.

— Скажите вашу фамилию.

— Это что, допрос?

— Это выяснение личности. Вы скажете вашу фамилию или поедем в отделение?

— Журавин Игорь Александрович. Вы довольны?

— Вы вспомнили вашу фамилию?

— Не понял. А вы свою помните?

— С кем вы хотели встретиться?

— Вы и сами знаете.

— Я с вами серьезно разговариваю.

— Я с вами тоже. Вы ведь днем гнались за ним. Я видел.

— Ничего не понимаю...

— И я ничего не понимаю.

* * *

Что им от меня надо? С милицией ищут. Может, он действительно преступник?.. Память они мне не вернут. Это ясно. Будут держать в мединституте в качестве экспоната... «Перед вами — искусственно выращенный организм, случайно выживший после проведения над ним таких-то и таких-то экспериментов. Экспонат не помнит своего имени, не помнит своего возраста, не узнает знакомых. Откликается на кличку «Больной из двенадцатой». Обратите внимание на характерное подергивание щек и конечностей...» ...Есть как хочется... Надо искать Его. Пойти в филармонию? Есть в городе филармония?.. «Здравствуйте, у вас работает пианист, как две капли воды похожий на меня? Фамилии я его не знаю. Нет, мне не нужна контрамарка...» Идиотизм! Который, интересно, час?

— Простите, вы не скажете, который час?

— Без пяти два... Ты?!

— Ты?!

...Туман... Снова кровавый туман... Туман...

— Скажи, прошу тебя, как твое имя?

— Игорь.

— Игорь... Игорь... Игорь... Игорь Журавин!!!

— Что с тобой? Помогите! Кто-нибудь помогите, ради бога!!

ЧЕРЕЗ ШЕСТЬ ДНЕЙ

— Доктор, он умрет?

— Боюсь, что да.

— И ничего нельзя сделать?

— Хирургическое лечение таламического болевого синдрома пока что неэффективно и попросту опасно. Помочь может, пожалуй, только стереотаксическая деструкция неспецифических таламических ядер...

— Таламических...

— Очень велика опасность чрезмерного погружения электрода-канюли... как в случае с вами, то есть с ним, с вашим аналогом... Для успешного проведения операции опять необходимо параллельное введение канюли с небольшим опережением. Но повторное клонирование снова приведет нас к решению... Словом, Игорь Александрович, все возвращается на круги своя...

— Я готов, доктор.

— Нет-нет, что вы! Я имел в виду совсем другой исход.

— Он спас мне жизнь.

— Я бы не называл это так. Его специально создали, чтобы вылечить вас. Это искусственный человек, поймите.

— Доктор, у меня еще не отросли волосы. И дырка на макушке еще не затянулась. Все-таки меньше хлопот.

АЛЕКСАНДР КАЦУРА

Мир прекрасен

Посетитель был бледен и худ. Длинный светлый поношенный плащ застегнут до самого горла. Мягкая рыжеватая бородка, каштановые волосы обрамляют высокий лоб. Войдя, он на секунду растерялся — в нашей маленькой комнате всегдашние суета, гвалт. Затем он спросил что-то тихим голосом, и до меня донесся зычный бас коллеги Чингиза:

— Саша! Луковкин! Это к тебе.

Я встал, жестом увлек незнакомца в коридор и там, в тихом сумраке, сказал как можно приветливее:

— Слушаю вас.

— Вот,— он протянул мне толстую пегую папку,— моя работа об основах устройства мира. Рассчитываю на вашу рецензию.

Я открыл папку, тронул первые листы. Сначала, как это обычно и бывает, шло торжественное письмо в президиум Академии, копии

туда-то и туда-то... «Я уже много лет тружусь над важнейшей проблемой... не признают, затирают...»

Дальше следовал великолепный титульный лист:

«А. Макушка
Трактат
о совершенстве мира,
доказанном в геометрическом
порядке».

— Хорошо, я посмотрю вашу работу,— сказал я без всякого выражения.

Он смотрел на меня спокойно и, мне показалось, чуть снисходительно. Испытывая легкую неловкость, я перевернул еще несколько страниц. Бросился в глаза заголовок: «Теорема. Все идет правильно в этом лучшем из миров». Ну что ж, теорема так теорема. Я хмыкнул и закрыл папку. Посетитель окаменел в вежливом ожидании.

— Когда мне зайти?

— Приходите через неделю. В это же время.

— Спасибо.— Длинная его фигура растворилась в закоулочной тьме нескладного институтского коридора.

Сотрудники нашего института дерзостно полагают, что в его стенах бьется подлинная философская мысль. Так это или нет, несомненно одно — гордое название института привлекает к нему внимание бесчисленной армии самодеятельных философов. Собственно, в этом нет ничего плохого, если не считать того, что штатные работники изнемогают от внештатного потока рукописных статей и целых томов, обсуждающих все мыслимые вопросы земли и неба. Надо заметить, что их авторы, люди, как правило, недипломированные, обладают завидными борцовскими качествами, в силу чего переписка с некоторыми из них затягивается на долгие годы, вовлекая в спор множество различных высоких инстанций. Мне это известно особенно хорошо, поскольку вот уже два года, как на меня возложена почетная общественная нагрузка следить за своевременностью ответов на письма, приходящие в наш отдел.

За это время я успел убедиться, что мои коллеги всеми правдами и неправдами увиливают от чтения подобных произведений. Устав за ними гоняться, на большую часть писем я стал отвечать сам. Принцип таких ответов отработан задолго до меня: надо отвечать вежливо, но так, чтобы у настырного автора не возникло охоты продолжать бесплодную переписку. Конечно, попадаются иногда грамотные и дельные соображения, но нечасто. Зато казусов сколько угодно.

Большей частью труженики-сочинители, выхватив две-три мысли из какого-нибудь простенького учебника философии, загоняют в их прокрустово ложе тьму разнородных проблем. Вот типичная схема:

начав, скажем, с объяснения устройства Вселенной или описания внутренностей электрона (пафос изложения не оставляет обычно сомнений, что автору тут все давно уже ясно), где-нибудь на сотой странице он вдруг сообщает, что его труд открывает способ лечения рака. Помню, один, скромно заявив в начале: «Моя система отвечает на вопрос, почему существуют фотоны, атомы, звездные скопления и Вселенная», дальше писал в таком стиле: «Любые великие явления промежуточно переходят от минус бесконечности к плюс бесконечности» или «Деградирующее разрушающе-сжимающееся плюс-ядро не знает застоя в восхождении». Другой предупреждал о страшном заговоре, угрожающем нашей науке. Экспрессивные его фразы почему-то были лишены подлежащих.

Вы скажете: чокнутый. Дескать, бог с ним. Но когда такой чокнутый, раздраженный долгим молчанием уважаемого института, наведывается лично, то на вид нередко оказывается весьма респектабельным и склонным к длинным диалогам.

Замечу, что почти все подобные авторы дружно клеймят официальную науку за нерадивость и заблуждения. Особенно достается теории относительности. Не знаю уж, чем не угодила эта теория широкой общественности, но отряд ее яростных критиков неисчислим. И хотя все эти ниспровергатели не имели, по всей видимости, и отдаленного представления о современных экспериментах и путях физической теории, неистощимая их фантазия сделала свое дело. Грешным делом и я подумал: черт его знает, а вдруг?

В последнее время я писал ответы скупые и жесткие. Скорее всего потому, что вот уже месяц у меня было скверное настроение. Да, примерно месяц назад я сказал девушке по имени Аля... сказал... ну, в общем, что хотел бы видеть ее своей женой. От этих моих слов облачко набежало на ее смуглое лицо. Она сморщила слегка вздернутый носик. Я мрачно сжал зубы и ждал ответа.

— Ну что же ты молчишь? — выдавил я наконец.

— Ты так сразу огорошил. Подумать надо.

— И сколько тебе нужно думать? — Я попытался вложить в эти слова всю мыслимую иронию, но прозвучали они довольно кисло.

— Ну, неделю.

— Хорошо, пусть будет неделя,— великодушно согласился я.

Прошло три недели. Аля не объявлялась. Я звонил ей трижды. И все три раза не застал. Звонить четвертый раз мне не позволила гордость. Темные думы одолели меня. Сонмы коварных конкурентов чудились повсюду. Даже в общих наших знакомых я стал вглядываться с опасением: который из них? А впрочем, что искать соперников? Не любит она меня...

Все валилось из рук. Дома на захламленном столе который день пылилась незаконченная статья с условным (и несколько пышным)

названием: «Диалектика любви и смерти в философии Плотина». Не знаю, может быть, выбор темы был навеян моим душевным состоянием, но меня действительно на какое-то время увлекла эта грустная философия, философия тоски и отчаяния, для которой материя — зло, а весь мир — лишь «украшенный труп».

Погружаясь в безысходный экстаз античного мыслителя, я все же заметил лукавую его попытку оправдать этот мир, поскольку зло якобы абсолютно необходимо для самоосуществления добра. Да, было бы интересно проследить за развитием этой идеи в истории, и я стал набрасывать план статейки о совершенстве мироздания. Тут вспомнился Блаженный Августин и его оправдание зла и разрушения через понятие свободы — «...свобода сотворенного Я свободна даже разрушить себя самое, без чего не была бы истинно свободной». Последнюю выписку я сделал из Плутарха: «Свет разума последовательно меркнет, углубляясь во мрак мэона — материи, которая и несет ответ за все мировое несовершенство». На этом моя работа заглохла.

Пока мои мысли углублялись во мрак мэона, неделя летела за неделей. О том, что проскочила еще одна, я узнал, случайно выглянув в институтское окно и увидев знакомую фигуру, запакованную в длинный плащ. Холодный октябрьский ветер трепал каштановую гриву. Сомнений не было. А. Макушка шел на свидание, назначенное мною. А я-то про него забыл. Я быстро отыскал в столе пегую папку и на ходу бросил ребятам:

— Тут меня сейчас будет спрашивать один. Скажите, мол, занят, будет через полчаса.

Затем я поспешил в уютный библиотечный закуток, дабы в тишине хотя бы мельком ознакомиться с Макушкиным трудом.

Пролистав несколько страниц, я наткнулся на систему определений и аксиом. Они были забавны, но изложены ясно и четко. Потом пошли теоремы — о параллельных вселенных, о душе и теле и тому подобное. Просматривая их, я добрался до той, что заинтересовала меня еще в прошлый раз.

«Теорема. ВСЕ ИДЕТ ПРАВИЛЬНО В ЭТОМ ЛУЧШЕМ ИЗ МИРОВ.

Лемма 1. Поскольку прогресс человеческой мысли неограничен, будущие разумные творцы с неизбежностью откроют рано или поздно принципы путешествий во времени и создадут соответствующие устройства, давно получившие у фантастов название машины времени.

Лемма 2. Отсюда следует, что с необходимостью встает вопрос о путешествиях в Прошлое, преследующих по меньшей мере две различные цели:

А. Изучение живой и непосредственной истории, скрупулезное

исследование с помощью хроноскопа (сравните с микроскопом и телескопом) конкретных исторических событий.

В. Вмешательство в прошедшие события в нужных размерах по соображениям позитивного воздействия на них, а значит, и на последующие процессы, в конечном итоге — на собственное существование

Королларий * 1. Поскольку мы до сих пор не обнаружили никакого вмешательства в нашу жизнь из Будущего, можно полагать, что пункт В Леммы 2 по каким-то причинам не реализован.

Схолия ** 1. Разумеется, можно предположить, что упомянутое вмешательство уже имело место, однако было осуществлено такими способами, которые для нас принципиально ненаблюдаемы. Если дело обстоит именно так, мы должны полагать наш мир уже в нужной степени исправленным, то есть совершенным, что и утверждает наша теорема.

Королларий 2. Рассмотрим теперь вариант, когда пункт В Леммы 2 не реализован. Это может иметь место в силу одной из двух причин:

А. Какие-либо вселенские законы (пока нам не известные) или принципиальные соображения (пока нам не доступные) запрещают представителям Будущего вмешиваться в дела Прошлого; или же.

В. Означенные представители свободны в своих действиях, однако полагают Прошлое уже настолько совершенным, что не видят никакой необходимости в него вмешиваться.

Доказательство теоремы. Очевидно, нам нужно для этого проанализировать оба пункта Короллария 2. Впрочем, пункт В не требует особого анализа, поскольку, если наши далекие потомки, которые, несомненно, будут умнее нас, сочтут наше Настоящее совершенным, нам просто ничего не остается, как присоединиться к их просвещенному мнению. Противоположная позиция была бы излишне самонадеянной и подрывала бы веру в будущие поколения.

Перейдем к менее тривиальному пункту А. Действительно, а что, если наши потомки хотели бы кое-что подправить в своем Прошлом (Схолия 2. А кто бы не хотел?), да, увы, бессильны это сделать? Заметим по этому поводу, что наличие принципиальных запретов на вмешательство в Прошлое, буде оно установлено будущими теориями и освящено будущим мировоззрением, явится в некотором смысле признанием исторической полноценности и внутренней полноты Прошлого, что одновременно будет означать признание, только в других терминах, необходимой его защищенности от внешних воздействий, причем речь идет о защищенности прямой исторической предтечи совершенного Будущего. То есть мы хотим сказать, что не-

* Королларий — следствие, вывод.

** Схолия — примечание, пояснение к тексту — термины, используемые в сочинениях. Б. Спинозы. Примечание А. Луковкина.

возможно вмешиваться только в Совершенное Прошлое. Всякое иное Прошлое открыто для вмешательства.

Схолия 3. Таким образом, выдвинутое положение можно было бы считать окончательно доказанным, если бы не одно допустимое возражение по пункту В Короллария 2. Дело в том, что признание совершенства нашего теперешнего мира было основано в соответствии с этим пунктом на, так сказать, всеведении Будущего, которое, казалось бы, в общем случае может оказаться вовсе не всеведущим, в частности отнюдь не умеющим правильно оценить Прошлое хотя бы потому, что этому Будущему открыт путь дальнейшего совершенствования, а значит, оно само не является законченным совершенством. И вообще, возможен ли такой этап Будущего, который мы без зазрения совести наградим столь высоким качеством? Это серьезное возражение, тем не менее оно легко снимается методом перспективного взгляда в Будущее. Действительно, если Будущее, скажем, 1-й ступени не сумеет достаточно ясно и трезво оценить свое Прошлое и, ошибочно считая его совершенным, не предпримет соответствующих действий по его коррекции, оно тем самым проиграет в собственном качестве и, стало быть, рано или поздно должно испытать коррекцию со стороны более далекого Будущего 2-й ступени, несомненно, глубже разбирающегося в обстановке. Если же и этот этап будет склонен к заблуждениям и ошибкам, тогда в процесс вынуждено будет вмешаться Будущее 3-й ступени и т. д.

Подчеркнем еще раз, что предположение об абсолютной невозможности путешествий во времени, опрокидывающее значительную часть вышеизложенных соображений, противоречит идее вечного прогресса всемогущего разума, а посему должно быть с негодованием отброшено».

Смотри, как излагает, подумал я, отрывая взгляд от бумаги. Да, случай нетипичный. Налицо и логика, и какой-то достаточно оригинальный подход, и вместе с тем присутствует тут некий психоз. Что-то есть странное в этой псевдонаучной стряпне, не лишенной, однако, литературного изящества. Да, что-то странное, не пойму только, что. Я глянул на часы, схватил папку и побежал в отдел.

Он скромно сидел на стуле в коридорчике. Слабый луч света из приоткрытой двери высвечивал его выпуклый лоб.

— Здравствуйте, извините меня, дела одолели,— забормотал я скороговоркой.

— О, не волнуйтесь, я жду вас недолго,— ответил он.

— Я прочитал вашу работу,— сказал я, присаживаясь рядом,— прочитал с интересом. Видно, что вы много размышляли на эти темы, многое прочли. Ваш стиль свидетельствует о знакомстве со Спинозой, Лейбницем.

— Как вы сказали — знакомство? Да, я с ними знаком.

— Вы выбрали сложную тему,— продолжал я,— которую можно было бы назвать разновидностью Теодицеи или, точнее, Космодицеи, то есть оправдания не столько бога, сколько самого мира. Сейчас такими вопросами, правда, никто не занимается.

— Ну почему же, я, например, читал ваши статьи на сходную тему. Мне показалось, что вы также склонны полагать наш мир совершенным.

— Откуда вы это взяли? — настороженно спросил я.

— Я же говорю, из ваших работ.

Вот врет, подумал я, все они такие, льстиво прикидываются, будто усердно штудируют сочинения дорогого метра. Но уличать его во лжи, говоря, что единственная моя статья на эту тему, едва начатая, валяется дома на столе, я, естественно, не стал. Вместо этого я прямо спросил его, чего он ждет от меня. Он сказал, что ищет поддержки для публикации. Я честно ответил, что публиковать его работу едва ли кто возьмется, а моя поддержка мало чему поспособствует.

— Да и зачем вам это публиковать? — добавил я в конце.

— Как зачем? — возразил он с жаром.— Это новый шаг в философской мысли, стало быть, это будет споспешествовать развитию наук, процветанию человечества и дальнейшему совершенствованию мира. А разве не есть это главная наша с вами забота?

— Простите,— сказал я,— но ведь вы доказали, что мир уже совершенен. Что же добавит ваша публикация?

— Хм, действительно,— произнес он и задумался. Затем сказал с воодушевлением.— В чем-то вы, конечно, правы, однако недооцениваете живой и конкретной борьбы за совершенство.

Очень может быть, подумал я, чуть заметно кивая.

— За доказанное еще надо бороться,— его глаза сверкнули.

— Да, да,— сказал я поспешно,— я полностью с вами согласен.

— Так значит, поможете мне издать это?

— Знаете что, сходите-ка лучше в какой-нибудь популярный журнал. Работа ваша написана забавно, легко, ее можно будет выдать за шутку. Ну, а кому надо, разберется.

— И вы думаете, там возьмут?

— Вообще-то думаю, нет.

— Так что же делать?

— Не знаю. Как видите, мир вовсе не совершенен.

— Но вы-то так не думаете?

— Как раз думаю,— выпалил вдруг я. И тут я начал почему-то говорить о тщете бытия, о суетности, о горестях и боли, о предательстве и лицемерии, о наушничестве и подхалимстве, о низости и грязи, о бессмысленности темных и тусклых лабиринтов жизни.

Мой собеседник несколько секунд смотрел на меня словно бы с испугом. Затем лицо его просветлело, и он сказал:

— Ах, это просто у вас сейчас такое настроение.

— Возможно,— устало согласился я,— какое может быть настроение, когда девушка, единственная на свете, скажет вам вдруг, что не любит вас...

— Простите,— он кашлянул,— не об Алевтине ли Кузьминичне речь?

На секунду я потерял дар речи.

— Откуда вы знаете ее имя? — выдавил я, придя в себя.

Он рассмеялся:

— Если я скажу, что изучал вашу биографию и, стало быть, знаю имя вашей жены, вы ведь все равно мне не поверите.

— У вас своеобразный юмор,— только и мог я сказать.

Он ничего не ответил.

— Скажите,— я взглянул на него,— вы действительно верите в совершенство мира?

— Видите ли, вопрос о вере отпадает сам собою, коль скоро это строго доказано,— ответил он со сдержанным достоинством.— Добавлю к тому же,— он слегка наклонился ко мне и заговорил тихо,— что и Спиноза, и Лейбниц одобрили мою скромную работу. Готфрид-Вильгельм — мне случилось беседовать с ним в библиотеке ганноверского герцога — был просто в восторге. А вот со стариком Вольтером пришлось крепко поспорить.

А он все-таки псих, подумал я запоздало и забормотал, глядя в сторону:

— Да, да, Вольтер, конечно...

— Ну что ж, не буду вас больше задерживать.— Он встал.

— Я вас провожу.— Я тоже поднялся.

Мы спустились по лестнице, вышли на ступеньки перед зданием. Бледное солнце готовилось скатиться за высокие дома на той стороне реки. Мой спутник рассеянно взглянул на него и сказал:

— Да, мне уже пора.

Вот и хорошо, подумал я.

— Благодарю вас, любезный мой друг,— произнес он несколько высокопарно, вновь поворачиваясь ко мне и протягивая руку.

— Что вы, не за что,— невнятно сказал я, протягивая свою.

— О нет, есть за что. Вы невольно подтвердили еще один мой вывод, и очень важный. Вмешательство в прошлое с помощью таких хрупких инструментов, как оригинальные мысли, например, невозможно также и потому, что оно, это самое прошлое, надежно защищено толстой скорлупой собственного самодовольства и тупости. Блаженна глупость, как сказал мне однажды Дезидерий Эразм в славном городе Роттердаме. Истинно так. Похоже, это относится

к любой эпохе. Конечно, всегда находятся тонкие люди вроде того же Эразма или Спинозы, да они, как известно, погоды не делают. Впрочем, всему свое время. Не так ли должно быть в совершенном мире?

Я пожал плечами.

— Мне кажется,— сказал он, глядя мне прямо в глаза и словно бы изучая меня,— что вопросы, о которых мы так славно потолковали, еще долго будут вас занимать.

— Не исключено.

— Что ж, всего вам доброго и прощайте.

Тут я заметил, что все еще держу в руках пегую папку. Ее тесемки болтались.

— Ваша работа, возьмите.

— Ах, да.— Довольно небрежно он сунул свой труд под мышку и легко сбежал по ступенькам. Белый лист выскользнул из папки и, дважды кувыркнувшись, спланировал на нижнюю ступеньку. Я спустился и поднял его, но окликать уже было некого. А. Макушка успел ввинтиться в толпу прохожих и исчезнуть из глаз.

Из задумчивости меня вывел голос Чингиза. Он поднимался по лестнице, румяный и счастливый. Из его портфеля торчал еще влажный дубовый веник.

— Ты чего это здесь торчишь, Саша?

— Так, провожал одного чудака.

— А, того самого. Я его сейчас встретил. Чего он хотел?

— Сказать честно, я так и не понял.

Механически я бросил взгляд на лист бумаги, который все еще держал в руке, и вдруг заметил какой-то текст — несколько строк. Буквы выглядели странно. Они слегка мерцали подобно цифрам в электронных часах. Я впился глазами в бумагу. Вверху красовался причудливый вензель, ниже было написано:

«Д-р Алонз Макушка
Лаборатория
психологической хроноскопии
Институт истории мышления
Департамент
социальной психологии
г. Тарту

План исследований на 2481 год.
Ведущая тема: Космодицея новой цивилизации.
Техническое обеспечение:
Хроноскаф МТ-101-2500, дальность полета 25 веков.

Предусмотрены контакты:

Лукиан, Плотин, Августин, Эразм, Спиноза, Лейбниц, Вольтер, Луковкин, Дашдэндэв, Нямдаваа, Кардоса-и-Арагон...»

По мере чтения я, видимо, настолько побледнел, что Чингиз участливо спросил, что со мною. Я молча протянул ему лист. Он некоторое время сопел, крутя бумагу, а потом сказал:

— Ну и что, не понимаю...

— Ты читай.

— Что?

Я выхватил лист из его рук. Бумага была девственно чиста. Я вертел ее так и здак, смотрел на просвет и даже пробовал дышать на нее. Все было тщетно, надпись исчезла. Мне показалось, что Чингиз смотрит на меня с иронией. Еще немного, и крутанет пальцем у виска. Ничего не объясняя, я сложил лист вчетверо и спрятал его в карман.

Вечером я решил разгрузить кухонную раковину, забитую недельной горой грязной посуды. Текла из крана горячая вода, вздымая из мойки легкие клубы пара. Я тер ершиком кефирную бутылку, размышляя о том, кто такие эти загадочные Нямдаваа и Кардоса-и-Арагон. Звонок в дверь я услышал не сразу.

На пороге стояла Аля. Я застыл с ершиком в руке.

— Мне можно войти? — Она сама сняла пальто, повесила его на вешалку, стряхнула с волос искрящиеся капельки воды и сказала.— Знаешь, по телефону как-то глупо это говорить, вот я и пришла, чтобы сказать: согласна.

И тут я опомнился. Я завопил: «Алька, милая!» Отшвырнул в сторону ершик, схватил ее на руки и закружил. Сначала по тесной прихожей, потом по комнате.

— Милый, прости мне вульгарное желание, но я хочу есть.

Я вскочил, полный энтузиазма, бросился к холодильнику, начал шарить по полкам.

— Аля, есть только яйца. И помидоры.

— Яичница с помидорами. Это грандиозно! — донесся ее веселый крик.

Через несколько минут она с аппетитом поглощала мой кулинарный шедевр — пышный омлет с помидорами. Я сидел и смотрел на нее. На плите тонкую песню начал заводить чайник.

— Ну, как ты жил эти дни без меня, расскажи?

— Да уж жил,— нехотя сказал я,— слушай, Аль, тут со мной случилась такая странная история... Ну, очень странная и забавная. Ты только не сочти меня сумасшедшим.

— Не сочту.— Она кивнула с вполне серьезным видом.

И вдруг я увидел, что ее ореховые глаза смотрят на меня с вниманием и любовью. И тогда я подумал: черт побери, а ведь прав доктор Алоиз Макушка. Мир прекрасен.

ИГОРЬ РОСОХОВАТСКИЙ

Добрые животные

Совсем недалеко от моих все еще полусонных глаз на полу нашей палатки стояла банка сгущенки с голубой этикеткой Полтавского молокозавода. На этой планете я привык ко всяким чудесам, даже к тому, что сбываются желания. Меня ошеломила только этикетка.

— Что у тебя? — послышался хриплый с пересыпу голос Валеры.

Не вылезая из спального мешка, я помотал головой, сначала пытаясь отогнать видение с этикеткой, а потом указывая на него.

— А у меня — пиво. Мое любимое — бархатистое! — Он подбросил и поймал банку пива.

Резанул по ушам пронзительный визг. Это выражал восторг приручаемый нами абориген планеты — карлик с маленьким сморщенным лицом, похожим на резиновую маску. Я назвал карлика Гавриилом Георгиевичем, по имени самого внушительного начальника, которого доводилось встречать,— директора гостиничного комплекса на межрейсовом спутнике-базе. Правда, тот Гавриил Георгиевич выделялся не малым, как наш, а огромным ростом и грозной внешностью, но я считал, что в вопросе о внешности могу воспользоваться законом диалектики о единстве и борьбе противоположностей, тем более что характеры и начальственные повадки обоих Гавриилов Георгиевичей были разительно схожи. Вот и сейчас наш приемыш, провизжав положенное короткое время, одобрительно закивал головой, покровительственно похлопал Валеру по пояснице, повелевая нагнуться. Затем он одним прыжком вскочил на плечи моему товарищу, крепко вцепился паучьими лапками ему в волосы и заколотил пятками по спине. Валера послушно изобразил «бег на месте». В эти минуты карлик напоминал расшалившегося мальчугана, но я уже давненько определил, что он находится в возрасте зрелого мужчины. На контакт с нами он шел неохотно, предпочитая оставаться непонятым, повелевать, вымогать сладости и различные понравившиеся ему предметы. Возня с ним уже начинала мне надоедать.

Величественным жестом карлик указал Валере на выход из палатки.

— Подожди немного, пожалуйста,— ответил тот и получил удар пяткой в спину.

— Угомонись! — прикрикнул я на карлика.

— Ничего, он мне не мешает,— сказал Валера.— Давай лучше вернемся к вопросу о дарах.

Не скрывая подозрения, я пристально смотрел на него, высвобождаясь из спального мешка. Но глаза Валеры были прозрачно

чисты. Эти голубые глаза навыкате и круглая голова с маленькими оттопыренными ушами внушали всем ложное впечатление об этом человеке. Обманывал и его смех — раскатистый, захлебывающийся, с всхлипываниями. Но я знал его с юности. Мы вместе поступили после училища в Академию космических исследований и с тех пор разлучались нечасто. Валера никогда не пробивался в первый ряд, но на подстраховке был незаменим и надежен, как стена отчего дома. Его покладистость, вошедшая в поговорку у курсантов, не была притворством или игрой. Он на самом деле предпочитал не командовать, а выполнять приказы, не давать советы, а прислушиваться к ним. Видимо, он уже давно верно и точно определил свое место в жизни и умел довольствоваться им. Валера позволял собой распоряжаться почти любому, кто этого желал. Если же иногда и не соглашался с приказами, то никогда не оспаривал их. Просто поступал по-своему, а потом внушал кому угодно, что тот хотел именно этого и лишь ошибся в формулировке. Не удивительно, что командиры кораблей всегда с удовольствием зачисляли его в свои экипажи. Он не имел врагов. Над ним иногда беззлобно подтрунивали «ради смеха», и он охотно включался в игру, неизменно выбирая для себя роль простака. Но я знал, что он не так прост, как кажется, и что дело тут совсем в ином. Пожалуй, лучше всего сказал о нем наш командир: «Он кажется нам простаком по одной-единственной причине». «По какой?» — спросил тогда записной ехидец бортинженер, уже готовя какую-то каверзу. «Слишком добр»,— ответил командир, и у бортинженера дернулся кадык, будто он проглотил приготовленную остроту.

Валера по достоинству оценил мой взгляд и миролюбиво улыбнулся:

— Не думаешь же ты всерьез, что я позволил бы себе...

Нет, всерьез я так не думал. Да он и не мог бы этого физически осуществить: не было лишнего места ни на платформах, ни в вещмешках. Просто я был сбит с толку «чудесами» планеты и цеплялся за любую не мистическую догадку.

— Да нет, совсем не то...— промямлил я, отводя взгляд.— Но, может быть, это все же проделки аборигенов?..

Его круглое лицо стало серьезным, даже чуточку удлинилось. Приободренный этой реакцией, я продолжал:

— Возможно, капризы мы принимаем за злость, а примитивность...

— Ты имеешь в виду карликов?

Он так выразительно это сказал, оттопырив губу, что я тут же невольно представил себе, как наш Гавриил Георгиевич бесшумно приносит и раскладывает в палатке банки с пивом и сгущенкой. Это так не вязалось с его предыдущим поведением, что я невольно

улыбнулся. Но все же решил поговорить с Гавриилом Георгиевичем и поманил его пальцем.

Карлик не удосужился слезть с Валериных плеч. Он попросту игнорировал мой жест. Тогда я достал плитку шоколада.

Глаза карлика жадно блеснули, он протянул ко мне лапку и ударил пятками по спине «коня», понукая его на действия.

Валера послушно приблизился, но я спрятал шоколад за спину, второй рукой поднял банку со сгущенкой и протянул ее карлику. Он взял банку, понюхал, лизнул, высунув длинный, раздвоенный на конце язык, поморщился.

— Еда — внутри,— пояснил я, указывая на банку.— Открой.

Глубоко сидящие во впадинах темные глаза не изменили выражения, словно в них и не теплилась мысль. Банка со сгущенкой упала на пол.

Я спрятал шоколадку в карман, поднял банку, пробил дырочку, налил немного в стакан, попробовал сам и дал лизнуть Гавриилу Георгиевичу. Он тут же соизволил выразить удовольствие, похлопав себя по животу, и потянулся за новой порцией.

Я заклеил пластырем отверстие в банке и дал ее карлику. Он повертел банку в руках и сунул ее под нос Валере.

— Не открывай,— сказал я ему.

Карлик обиженно засопел, вырвал банку у Валеры и швырнул ее на пол.

— Сбрось его! — крикнул я.

В ответ Валера улыбнулся и погладил карлика по спине:

— Он моего племянника, Олежку, напоминает. Перестань его мучить. Лучше дай наконец шоколадку. Он не станет открывать банку. Предпочитает, чтобы это делали мы.

— Тоже мне барин! — в сердцах сказал я.— Невероятное везенье. Один шанс из тысячи. Только нам может выпасть такое: искать представителя местного населения и сразу наткнуться на барина!

— Не сердись,— попытался успокоить меня Валера.— Может быть, он просто не хочет поддаваться дрессировке. Предпочитает быть дрессировщиком, как другие...

Нам было непонятно, как карлики смогли создать города и заводы, как заставили на себя трудиться безобидные существа, похожие на горбатых обезьян. Ведь сами карлики по уровню умственного развития недалеко ушли от животных. Но, видимо, имелось неучтенное нами звено, некий загадочный фактор, позволивший их цивилизации подняться на довольно высокую ступень технического развития. Об этом неопровержимо свидетельствовали красивые удобные города и полуавтоматизированные заводы. Мы тщетно пытались разгадать этот феномен. Сравнительно быстро расшифровав отдельные слова-понятия из примитивного языка карликов, пробовали рас-

спрашивать Гавриила Георгиевича. Но он то ли не соизволил с нами откровенно беседовать, то ли не понимал нас. Не удавалось даже однозначно определить, было ли его непонимание искренним или притворным.

Карлику надоело сидеть на спине Валеры, и он забарабанил пятками, подталкивая «коня» к выходу из палатки.

— Нам и в самом деле пора,— извиняюще сказал Валера, в который раз поражая меня своей терпеливой добротой. Он напомнил мне, что нам еще предстоит сегодня отобрать новую партию «образцов местной промышленности» и отправить грузовую ракету на корабль, оставшийся на орбите.

Мы покинули палатку и направились к городу. Высокие здания с куполами словно плавали в мареве. Сине-желтые свечи деревьев цеплялись за облака, используя их, как дождевые шапки.

Навстречу нам попадались группки карликов, иногда такие же группки обгоняли нас, но ни те, ни другие не обращали на нас ни малейшего внимания, вероятно принимая за разновидность обезьян. Иногда они перебрасывались несколькими словами с «седоком» Валеры.

— Тебе там хорошо? — спрашивал прохожий.

— Неплохо, и тебе того желаю,— важно отвечал Гавриил Георгиевич.

— Сыт?

— Сыт.— И карлик радостно хлопал себя по животу.

Дорога становилась все более многолюдной и как-то незаметно перешла в улицу. По обе стороны ее возвышались невысокие дома с раздвижными дверями и цветными стеклами в окнах. Вместе с толпой карликов мы вышли на площадь перед длинным заводским зданием. Здесь уже стояли тележки с высокогорлыми кувшинами. Вот ворота завода раскрылись, и горбатая обезьяна выкатила новую тележку. В кувшинах пенилась белая жидкость. По широкому плоскому лицу обезьяны с маленьким круглым носом и большими ноздрями была разлита приветливая улыбка. Один из карликов что-то приказал обезьяне, махнул рукой, и она поставила тележку на то место, которое он указал. Затем низко поклонилась и, почтительно улыбаясь, исчезла за воротами завода.

Мы уже убедились, что на этой планете работают только обезьяны. По велению карликов они готовили пищу, шили одежду, создавали различные предметы, напоминающие детские игрушки, строили здания.

Мы ни разу не видели, чтобы работал какой-нибудь карлик Разве что отдавал команды, которые обезьяны выполняли со странной снисходительностью.

Как только обезьяна скрылась за резными воротами, карлики быстро выстроились в очередь, каждый брал с тележки по кувшину.

Некоторые тут же прикладывались к сосуду, и по лицам можно было безошибочно определить, что содержимое им нравится. Валера хотел было первым из нас отведать пенистого напитка, но на этот раз я решил «соблюдать демократичность». Мы быстренько потянули жребий, мне досталась короткая зубочистка — и я пригубил из кувшина. Жидкость оказалась кисловатой, хорошо утоляла жажду и, кажется, была к тому же достаточно питательной. Валера покорно ожидал, когда же я разрешу ему приложиться к кувшину, а я выдержал минут двадцать, чутко прислушался к своему желудку, включил индикатор общего состояния, и только затем кивнул Валере на тележку.

Затем мы запаслись съедобными лепешками, которые привозили из другого цеха.

На площадь обезьяны вывезли новые тележки. На них стояли металлические кубики, игрушечные зверюшки, предметы, похожие на вазы для цветов. Пожалуй, это была посуда, хотя мы ни разу не видели, чтобы кто-то ел или пил из нее. Эти предметы карлики разбирали особенно быстро.

Вскоре обезьяны увезли пустые тележки, и вслед за ними мы беспрепятственно прошли на территорию завода. Может быть, этому способствовало то обстоятельство, что Гавриил Георгиевич, все еще восседавший на плечах Валеры, переговаривался со своими собратьями, которые изредка встречались на песчаных дорожках. Вообще на заводе он держался как хозяин, кричал «быстрей!» или «работай лучше!» замешкавшимся обезьянам, и они выслушивали эти ЦУ без удивления, правда и не торопились их выполнять.

Гавриил Георгиевич обнаглел настолько, что, когда Валера устал быть «конем» и попробовал ссадить карлика на пол, тот крутанул его за ухо. Это уже было слишком!

Но Валера отвел мою руку от «седока», сказав со своей обычной мягкой улыбкой:

— Он же не больно...

И я невольно снова вспомнил фразу командира о той единственной причине, из-за которой он кажется нам простаком.

«Неужели доброта может оглуплять человека? — думал я.— Или во всяком случае обманывать тех, кто за ним наблюдает, являться им в отдельных случаях некой маской истинного интеллекта? Но почему? И в чем или в ком тут дело? В наблюдаемом или в наблюдателях?..»

Карликов на заводе было немного. Одни из них сидели в стеклянных будках рядом с обезьянами-операторами, другие разъезжали по цехам подобно нашему Гавриилу Георгиевичу на чужих плечах, да еще подгоняли своих «коней» хлыстами. Вот одна из обезьян, поравнявшись с нами, замешкалась. Она с любопытством осматривала

меня, протянула руку и длинными гибкими пальцами ощупала полу моей куртки. Ее седок безуспешно щелкал хлыстом. Большие, темные, всегда поражавшие нас выражением бесконечной терпеливой доброты глаза обезьяны встретились с моими. Я погладил ее по голове, и она издала звуки, похожие на кошачье мурлыканье.

Седок бил ее хлыстом изо всех сил, заставляя бежать туда, куда ему было нужно, но она и ухом не вела, а подставляла мне голову, приглашая еще раз погладить. Я попытался схватить хлыст, но обезьяна сделала предостерегающий жест, отводя мою руку, и извиняюще улыбнулась — совсем как Валера. Морщинки веером разбежались от ее глаз. Я взглянул на Валеру, и тут он удивил меня больше обычного. Вдруг ни с того ни с сего он мечтательно произнес:

— А знаешь, старина, чего мне хочется? Мороженого! И не какого-нибудь, а ленинградского эскимо, холодненького, сладкого, с орехами и едва ощутимым привкусом парного молока. Помнишь, мы ели такое в Центральном парке на Первое мая?..

У меня рот наполнился слюной, так живо я представил себе коричневый, с холмиками орехов батончик — мечту мальчишек и девчонок, предмет тайного вожделения курсантов Академии космических исследований.

А Валера, неизвестно почему взявший на себя роль искусителя, продолжал, слегка зажмурясь. Его веки трепетали, он как бы вспоминал для самого себя:

— Батончик был на тонкой деревянной палочке. Если раскусить ее, во рту появлялся привкус сосны, горьковатый, терпкий, едва различимый за холодной сладостью... Представляешь, если дать каждому из этих карликов по такому эскимо на палочке?..

Я тут же представил, как все эти шалопаи, любители командовать, получают по батончику в серебристой фольге с опоясывающей его бумажной лентой с яркими разноцветными буквами, каким пронзительным весельем загораются маленькие глазки на морщинистых личиках...

Валера подмигнул мне. Он выглядел как заговорщик, зная что-то, пока неизвестное мне, и указывая взглядом на обезьяну. Она замерла, как в трансе. Кожа на ее голове, особенно у висков, ритмично подергивалась, веки были полуопущены, притеняя тусклые, глядящие внутрь себя глаза...

...Синий луч восходящего светила ласково коснулся моего носа. Я медленно раскрыл глаза и увидел в полуметре от себя на пластиковом полу палатки серебристо поблескивающий батончик. Из него торчала тонкая деревянная палочка. Можно было различить и цветные буквы на бумажной ленте, опоясывающей его.

Я не стал их рассматривать, ведь и так хорошо знал, что на-

писано на ленте. Вместо этого взглядом отыскал круглую, как биллиардный шар, голову, высунувшуюся из спального мешка. Голубые глаза невинно смотрели то на меня, то на батончик. Да, Валера мог быть доволен — эксперимент прошел успешно. Загадки планеты больше не существовало даже для такого, как я. Все стало на свои места: заводы, города, горбатые обезьяны, карлики с морщинистыми лицами... Я вспомнил, как он удивленно спросил меня: «Ты имеешь в виду карликов?» Интересно было бы узнать, давно ли он заподозрил истину?

— Ты, наверное, очень ярко представил себе эскимо,— проговорил Валера.— Поэтому они так четко воспроизвели его.

— Так и это, выходит, моя заслуга? — с деланной радостью поинтересовался я, и он отвел взгляд.

Одним я мог быть доволен: все же Валера недооценивал меня, не подозревал, что я уже давно знаю, кто из нас на самом деле главный и кто кем руководит.

— Карлики — это их дети? — спросил я, нисколько не стесняясь спрашивать у него.

— Может быть, животные, которых они приручают и помогают им стать разумными...— протянул он, продолжая давнюю игру и предоставляя мне возможность вынести категорическое и «окончательное» суждение.

— Вот придурок! — сказал я.— Здоровенный космический придурок!

— Ты так думаешь?

— Да это я о себе! — закричал я.— Ты-то наверняка понял все уже давно... Или хотя бы подозревал...

— Два здоровенных космических придурка! — весело подхватил Валера и залился своим взвизгивающим смехом.

— Не присоединяйся, не выйдет! — сказал я, думая о том, почему воспринимал цивилизацию так искаженно. «Трудно сознаться даже себе,— думал я,— что «обезьяны» казались животными только по одной-единственной причине. Но кто же мы такие и чего стоим, если этой причины достаточно, чтобы принимать разумных за животных?»

— Ладно, ладно, извинимся перед ними — и все дела,— как ни в чем не бывало произнес Валера.

— Дело не в них, а в нас,— сказал я.— Только в нас...

Синее солнце всходило над планетой, и светлые тени бежали от его лучей...

БОРИС РУДЕНКО

Охота по лицензиям

— Почему жестокость? Охотничий инстинкт — один из древнейших. Не стану сравнивать его с инстинктом продолжения рода, однако много тысячелетий продолжение рода прямо зависело от того, насколько удачливы были охотники племени, сколько они приносили добычи.

Лозинский передвигался по холлу гостиницы неторопливыми, мягкими шагами. Такими же мягкими, плавными были его жесты, бархатистый голос искренен и убедителен. Лозинский имел счастливую внешность человека, который просто не может оказаться не прав. Даже прописная истина в его устах казалась откровением. Однако Ратинов упорно не поддавался гипнозу.

— Пустые слова,— сказал он, нетерпеливо дернув плечом.— Просто слова, которыми вы хотите замаскировать основную сущность охоты — убийство. Погоня и убийство. Этим охота была всегда.

— Послушайте.— Лозинский протестующе вытянул руку,— разве я похож на убийцу? Или Вениамин? А Маргарита?

— Не похожи,— согласился Ратинов.— Но это ничего не значит. Индульгенции за убийство у вас в кармане — эти ваши лицензии на отстрел.

Маргарита улыбнулась, посмотрела сначала на Веню, потом на свое отражение в зеркальной поверхности стола.

— Кстати, что вы сегодня ели за обедом? — вдруг спросил Лозинский.

Ратинов пренебрежительно скривил губы.

— Я уже понял, что вы хотите сказать. Совершенно не в этом дело.

Но Лозинский не пожелал отказаться от удовольствия привести заготовленный аргумент.

— Именно в этом. Сегодня за обедом вы кушали филе из говядины. Говядина эта не так давно гуляла по зеленым полям с колокольчиком на шее. У нее была добрая морда и красивые глаза. Может, это действительно ужасно, но перед тем как зажарить на сковородке, ее умертвили. Или убили — это одно и то же.

— Нельзя смешивать добывание пищи с убийством для развлечения.

— Отчего же только для развлечения? Разве вам не нравится одежда из шкурок монсов? Нежнейший, шелковистый мех. Ни одна имитация с ним не сравнится. Это же настоящее чудо природы. Далее. Как прикажете регулировать их численность на планете?

— Сомневаюсь, чтобы они особенно нуждались в такой опеке,— скептически заметил Ратинов.

— И напрасно. Незадолго до первого появления человека на Дорионе популяция монсов была на грани вымирания. У них почти не осталось естественных врагов, и это привело к совершенно пагубным последствиям. Великолепные погодные условия, изобилие пищи — и неизбежная катастрофа — взрывное увеличение численности, регресс и вырождение вида.

— Ты не совсем прав,— негромко сказал Вениамин. Он впервые вмешался в спор.— Я слышал иное мнение о причинах массовой гибели монсов. Предполагается, что виной тому была эпизоотия. Какой-то вирус-мутант... Такое когда-то случалось и на Земле.

— Большинство в данном случае думает иначе.

— Вы сказали: почти не осталось естественных врагов? — заинтересованно переспросил Ратинов.— Что значит «почти»?

— Тут тоже не совсем ясный момент в экологии планеты.— Обрадовавшись возможности прекратить неприятный спор, Лозинский уселся так, чтобы видеть одновременно и собеседника, и Маргариту, и принялся объяснять.

— «Почти» — значит, что вообще-то хищники есть. Только их почему-то немного и сосредоточены они в определенных зонах Леса. Хотя условия в этих зонах ничем не отличаются от условий любых соседних областей.

— Заповедники?

— Заповедники? — Лозинский удивленно поднял брови, потом усмехнулся.— Слегка похоже. Однако представить монсов в качестве заботливых хозяев этих хищников довольно трудно. По уровню развития монсы гораздо ниже земных мартышек, хотя имеют с ними определенное сходство. Хорошо развитые верхние конечности, например. Но мозг примитивен крайне. Собственно, о загадках планеты вы и сами можете немало рассказать. Насколько я знаю, вы прилетели на Дорион не развлекаться, а в связи с обнаружением наскальных рисунков?

— Да,— кивнул Ратинов,— только рассказывать пока нечего. Я еще ничего не видел и потому собственного мнения не мог составить. Знаком с этими рисунками только по фотографиям. Надеюсь завтра в Городе узнать о них несколько больше. Но загадки действительно немалые. Разума ведь на планете нет. А рисунки не так стары.

— ...не обнаружено,— тихо сказал Вениамин.

— Что вы сказали?

— Мне кажется, что, говоря о разуме, уместней было бы употребить слово «не обнаружен».

— Не вижу особой разницы,— возразил Ратинов.— Специалисты по Дориону гарантируют, что разумные существа не смогли бы

остаться на планете незамеченными. Эти рисунки — единственное свидетельство. Разумеется, если они не мистификация.

Двери отворились, и в холл вошли люди в блестящих от влаги накидках, с одинаковыми рюкзаками и зачехленными винтовками. Прибыла еще одна группа охотников. Ратнов поднялся.

— Ну вот, пришел аэрокар из города. Мне пора. Удачной охоты.

* * *

Голос заведующего факторией был монотонен и тягуч, как дождь, безостановочно кропивший из серой небесной тверди на шлемы охотников.

— Каждый из вас имеет право добыть только трех монсов,— говорил Соол,— только трех. Запрещено убивать животных в возрасте до двух лет и самок с детенышами. Запрещено выходить за пределы отведенного для охоты сектора. Запрещено использовать гипноприманки и акустические парализаторы...

— Господи, как надоело,— прошептала Лозинскому Маргарита.— За последние сутки четвертый раз слушаю одно и то же. Хоть бы слова местами поменял.

Лозинский наклонился к уху Маргариты, и Вениамин не услышал, что он ей ответил.

— ...Запрещено продолжение охоты сверх установленного времени, а именно: по истечении двух суток, начиная с настоящего момента.

Соол замолчал и с минуту разглядывал стоящих перед ним охотников. Его равнодушный взгляд переползал с одного на другого, задерживаясь на лице каждого в течение коротких, совершенно равных промежутков времени.

— Так что, мы можем идти? — громко сказала Маргарита.

Соол даже не шевельнулся. Маргарита раздраженно прикусила губу и дернула ремень винтовки.

— Ни один довод в оправдание нарушения любого из перечисленных правил не будет принят во внимание,— произнес наконец Соол тем же лишенным интонаций голосом.— Нарушивший правила охоты навсегда лишается права посещения заказников и немедленно изгоняется с Дориона.

Он поднял руку с хронометром.

— Ваше время началось!

Двенадцать троек охотников, расходясь веером, двинулись к границе леса, обнесенного частой сеткой дождя. Лозинский шел впереди своей тройки, за ним Маргарита, последним — Вениамин. У первых деревьев Вениамин оглянулся, и ему показалось — только показалось, потому что с такого расстояния вряд ли можно было

различить наверняка,— что фигура Соола у ворот Фактории источала презрение к уходящим.

* * *

Утром у молоденькой бурой самки родились два слепых безволосых детеныша, и Сверхмозг наконец проснулся. Он взглянул на лес множеством пар глаз и осознал, что вновь существует. Единственный Разум, рожденный планетой. Первобытный хозяин леса.

«Как долго длилось небытие,— подумал Сверхмозг,— и как оно неприятно».

Стоял прекрасный теплый день, и Сверхмозг, несмотря на вспыхнувшую после длительного периода бездействия жажду мысли, позволил себе на секунду расслабиться и вкусить прелесть существования.

«Отчего наступило небытие? — вспоминал Сверхмозг.— Ведь, кажется, все шло хорошо и правильно. Что ему предшествовало?»

Небытию предшествовала Смерть. Так было всегда, и Сверхмозг это хорошо знал. Но что было раньше? Ведь все складывалось так удачно. Свирепые сурды были отогнаны далеко от границ обитания племени. Молодые побеги кустарников, высаженных в начале сезона теплых дождей, вот-вот должны были дать первый урожай... И что-то случилось.

Сверхмозг вспомнил. Перед Смертью пришла Боль. Когда упал и задергал конечностями самец из Сухой рощи. Вслед за ним еще два монса упали в таких же судорогах, и Сверхмозг перестал видеть мир их глазами, хотя некоторое время еще продолжал ощущать их боль.

Так приходила Болезнь. Как всегда, как и прежде. Но в этот раз ее вспышка истребила большую часть племени, и Сверхмозг умер тоже. Он был мертв очень долго, так долго, что многое успел забыть,— тех, кого миновала болезнь и смерть от старости, оставалось совсем немного.

Сверхмозг осмотрелся. Это было так приятно: видеть все сразу, одновременно сотнями и тысячами пар глаз. На каменном плато осталась лишь одна семья, хотя пищи здесь хватило бы на большую стаю. В этот сезон отлично росли вкусные корни полуночника. А у Черной речки стало тесновато. Появилось много детенышей. Нужно было переселить две семьи с Черной речки на каменное плато. Этим Сверхмозг занялся в первую очередь...

* * *

— Этот лес словно вымер,— сказала Маргарита.— Где же ваши монсы?

— Вы слишком торопитесь, Рита,— усмехнулся Лозинский.— Бе-

рите пример с Вениамина. Он ведь тоже впервые на охоте. Правда, Вениамин не азартен. Ему никогда не понять прелести погони. Ведь верно, Вениамин?

— Не знаю,— ответил Вениамин.— Возможно, ты прав. Просто любопытно.

— Любопытство? Тоже неплохо. Но не только монсы, насколько я понял, интересуют тебя в этом лесу.

— Мы могли бы идти гораздо быстрее, если бы не тратили время на разговоры,— холодно сказала Маргарита.

— Сегодня здорово дождит,— быстро проговорил Вениамин,— ты уверен, что сумеешь заметить следы?

— Своего первого монса я выследил десять лет назад,— небрежно сказал Лозинский.

Он пошел быстрее, двигался упругим, длинным шагом, будто скользил по мокрой траве. Высокий и мощный, с черной курчавой бородой, Лозинский словно сделался частью этого первобытного леса.

Слева от них, шагах в трех, вдруг вспучилась земля. Здоровенный кусок дерна оторвался от своего ложа и понесся скачками меж деревьев. Лозинский быстрым движением перехватил вскинутую Маргаритой винтовку.

— Не надо. Тушканчики не наша добыча.

Маргарита с сожалением опустила оружие.

— Я чуть было не выстрелила.

— У вас отличная реакция,— похвалил Лозинский.— Однако этот выстрел мог стоить лицензии. Может быть, вы отдадите пока винтовку Вениамину?

— Нет,— сказали в один голос Вениамин и Маргарита.

— То есть, конечно, да,— произнес спустя секунду Вениамин, если тебе тяжело и...

— Мне не тяжело,— категорически отрезала Маргарита.

— Можно подумать, ты боишься оружия, Вениамин,— сказал Лозинский.

— Я его не люблю. Не хочу подвергать себя искушению. Не хочу убивать.

— Это не убийство,— терпеливо сказал Лозинский.— Не путай, Вениамин. Это охота. И не только. Санитарный отстрел. Монсы начинают болеть, когда их количество превышает экологический предел, и тогда их погибает гораздо больше.

— Кажется, начинается старый спор,— сказала Маргарита.— Мы опять теряем время.

* * *

Пока длилось Небытие, лес переменился. Перемены касались не только одичавших посадок полуночника или стволов пальм, вы-

тянувшихся далеко в небо,— это не удивило Сверхмозг, ведь он проспал так долго. В лесу появились чужие, совершенно непохожие на все известное ему прежде. Пока еще Сверхмозг их не видел. Только ощущал их присутствие. Чужие не были похожи на тушканчиков, сурд и других обитателей леса. Они обладали разумом. Сверхмозг попытался включить их в нервную систему, но ничего не получилось. Сверхмозг был озадачен. Незнакомые существа не собирались помочь его усилиям, они просто не слышали его. Это было непонятно. Сверхмозг решил обдумать все чуть позже, получше познакомившись с чужими. Сейчас же было много важных дел. Следовало изгнать из леса самца сурды, спустившегося с гор. Быстрого, сильного и очень опасного. Зверь только что сожрал тушканчика и дремал возле изгиба одного из узеньких притоков Черной речки. Стая монсов легко справится с ним, решил Сверхмозг, и три десятка пушистых зверьков из ближайших семейств бесшумно охватили полукольцом спящую сурду...

* * *

Жесткая трава распрямлялась за людьми, не сохраняя следов. Под звон долгих капель дождя сумрачный сырой свет просачивался сквозь густые, переплетенные кроны деревьев.

Приступ внезапного беспричинного беспокойства миновал, прежде чем Вениамин успел удивиться и понять это ощущение.

«Нервы, что ли?» — подумал он, радуясь в то же время, что ни Маргарита, ни Лозинский не заметили его минутной слабости.

Лозинский внезапно остановился, поднял руку.

— Следы,— глухо проговорил он.

На пологом голом склоне глинистого холма отпечатались цепочки полукружий. Ямки уже заполнились дождевой влагой, но очертания их оставались четкими. Лозинский сбросил с плеч винтовку и вещмешок.

— Все. Отдыхаем. Вениамин, ставь палатку под этим деревом.

— Почему? — сказала Маргарита.— Я вовсе не устала.

— Я устал,— коротко усмехнулся Лозинский,— и Вениамин тоже.

Вениамин собрался возразить, но Лозинский жестом остановил его.

— Чтобы настигнуть стаю, нам понадобится много сил. Это настоящая охота. Потому — отдыхать!

Они забрались в палатку и съели по тюбику пищевого концентрата. Потом Вениамин засунул пустые тюбики в утилизатор, включил его ненадолго и через клапан палатки вытряхнул наружу горстку пепла. Теперь шум дождя вызывал ощущение уюта. В полумраке Маргарита казалась маленькой и беззащитной. Вениамин отвернулся, сделал вид, будто поправляет замок рюкзака.

— Венечка, ты не жалеешь, что пошел с нами? — тоненько, по-детски спросила Маргарита.

— Отчего же,— ответил он суховато,— хороший отдых, не хуже чем на курорте.

— Я тебя замучила,— ласково сказала она,— таскаю за собой.

— Думаю, Вениамин не испытывает от этого особого огорчения,— сонно пробормотал Лозинский.

— А ты бы мог застрелить сурду, Веня? — спросила Маргарита.

— Зачем?

— Ну-у, предположим,— она растягивала слова, будто школьница, отвечающая урок,— она на меня нападет.

Лозинский хмыкнул в своем углу.

— Соол говорил, что сурда не нападает на людей,— сказал Вениамин.— Это раньше ее считали опасной. Но она питается тушканчиками и мосами.

— А когда ее преследуют? Она все равно не нападет?

— Не знаю... Возможно, в безвыходном положении.

— У нее такого положения не будет,— успокоил Лозинский,— мы охотимся на мосов. И не стоит портить прекрасный спорт бессмысленными «если». Этак можно далеко зайти.

— Вы слишком практичны, Лозинский,— со скрытой досадой сказала Маргарита.

— Такое состояние более всего соответствует тому, чем мы намерены заняться,— спокойно парировал тот.

— Слышите? — сказал Веня.— Дождь стихает.

* * *

Они бросились вперед, сбившись в тесный визжащий клубок. Этот прием действовал безотказно. Дело никогда не доходило до схватки. Так случилось и сейчас. Сурда подскочила на месте, в панике взвыла, кинулась в воду, из воды — на противоположный берег и прочь из леса громадными скачками, из страшного леса, в котором добыча нападает первой.

Теперь эта сурда не осмелится появиться в лесу несколько полнолуний, пока не сотрется в ее короткой звериной памяти след происшедшего. Мосы еще покричали вслед хищнику для острастки и разбежались по семьям.

Именно в этот момент Сверхмозг впервые увидел чужих. Он увидел их зрением самца с белой полоской на спине. Новые существа, большие, как сурда, с темно-зеленой блестящей от дождя кожей передвигались на задних конечностях, зажав в передних длинные странные палки.

Самец с белой отметиной приподнялся, высунув из травы пушистую мордочку с удивленными, круглыми глазами.

Блеснула молния, и наступила тьма...

* * *

Раздался далекий рокочущий звук. Первый выстрел этой охоты. Кто-то из охотников настиг добычу.

Они остановились только на секунду и снова возобновили бег. Трава здесь была выше и гуще, но Маргарита наотрез отказалась занять место в арьергарде маленького отряда или хотя бы отдать винтовку кому-нибудь из мужчин.

Она выносливая, слышалось в каждом шаге ее сильных стройных ног, такая же, как все, равная среди равных. Поглощенная азартом преследования, раскрасневшаяся, она была сейчас очень хороша.

Лозинский вел их, ориентируясь по одному ему известным признакам. Изредка он останавливался, молча показывал Маргарите осыпавшуюся кору дерева, надломленную ветвь. Оба они будто забыли о существовании Вениамина. К нему снова пришло обидное ощущение бесполезности и ненужности в чужой непонятной игре. Он снова был мальчиком-пажем при королеве и не мог избавиться от этой привычно-унизительной роли. Не мог или никогда не хотел?

Они продрались сквозь сырые кусты и выбежали на поляну возле узенькой речки с медленной темной водой. Лозинский резко остановился и осмотрелся по сторонам.

— Черт,— пробормотал он,— этого не хватало!

— Что случилось? — прерывистым от быстрого бега голосом спросила Маргарита.

— Кончилась охота,— сказал Лозинский.— Черт!

— В чем дело?

— Граница сектора. Дальше идти нельзя. Видишь?

Он показал на противоположный берег речки. Там на деревьях висели желтые кружки. Аккуратный ряд этих кружков тянулся вдоль реки, исчезая справа и слева за деревьями.

* * *

Родился детеныш в Сухой роще. Последний детеныш этого года. Его мозг, маленький и примитивный, в тот же момент стал частью единого целого, той необходимой ячейкой, которой не хватало для восстановления парасвязей нервного конгломерата. Второй раз за этот день Сверхмозг вынырнул из небытия.

Теперь он знал причину: неизвестные существа в лесу, вспышка и смерть — все увязывалось в стройную логическую цепочку.

«Почему они убивают? — подумал каждый монс в лесу. Каждый в отдельности и все племя, как один.— Они тоже разумные. Разве разум может убивать?»

Сверхмозг снова сделал попытку быть услышанным и снова потерпел неудачу. Безмолвие в ответ. Непонимание... Нет... показалось... только показалось... Сверхмозг уловил слабый отклик. Не ответ — надежда. Словно эхо, едва различимое. У Черной речки.

Сверхмозг чувствовал, что от распада его отделяет гибель только одного зверька. Сейчас он еще мог сопротивляться уничтожению, хотя бы пассивно. Племя могло скрыться, уйти. Но смерть лишь одного монса превратит племя в глупых, неразумных животных, подобных тушканчикам или сурдам. И гораздо более беззащитных. Племя потеряет разум.

Так случится, если чужие не успеют понять... Хотя бы кто-то из них. Но все они глухи. Все, кроме, может быть, одного. Того, что почти услышал. Там, у Черной речки...

* * *

— Я не желаю возвращаться,— зло сказала Маргарита,— это наша добыча.

— Не мной установлены границы заказника,— пожал плечами Лозинский.— Они ушли от нас за пределы сектора. Мы не можем преследовать их дальше.

— Считай, что нам не повезло,— подхватил Вениамин, изо всех сил стараясь казаться веселым.

Маргарита повернулась в его сторону нервным, резким движением.

— Ты наконец обрел свое привычное состояние,— неожиданно медленно и спокойно сказала она.— Думаю, теперь оно сохранится надолго.

— Нам следует вернуться в Факторию,— глухо сказал Вениамин.

Лицо Маргариты округлилось выражением детского изумления.

— Разве я тебя держу, Венечка? Ты один заблудишься? Тогда подожди нас тут.

— Нам в самом деле придется вернуться,— сказал Лозинский.— Правила игры следует соблюдать, иначе она теряет привлекательность.

Маргарита смотрела на него несколько секунд, потом смущенно рассмеялась.

— Вы правы. Азартная я,— виновато проговорила она.— Подчиняюсь, руководитель.— Она опустила ресницы, потом вновь скользнула по лицу Лозинского быстрым взглядом, легко коснулась его плеча.— Иногда так приятно подчиняться. Никогда бы не подумала.

— Ну, вот и хорошо,— громко сказал Вениамин. Почти крикнул.

— Лозинский, я вас хочу о чем-то попросить,— сказала Маргарита с той же интонацией.— Давайте их просто догоним. Просто так. Только посмотрим. Ведь в самом же деле обидно. Ну, Лозинский, я вас очень прошу. Столько старались. Что вам стоит? Мы ведь ничего не нарушим, правда?

— Тянете вы меня, Риточка, на скользкую дорожку.— Лозинский подергал себя за бороду.— А если егерь нас поймает?

— Ну и что? — удивилась она искренне.— Мы же не охотимся. Просто так...

— С одним условием,— предупредил Лозинский.— Оружие вы отдадите Вениамину.

— Совсем мне не верите,— обиженно сказала Маргарита, вытащила из винтовки обойму и легонько подбросила на руке.— Лучше я патроны отдам.

Она коротко вздохнула и снова глянула на Лозинского:

— Вам.

— Этого делать нельзя,— сказал Вениамин. Он уже знал, что произойдет. Маргарита всегда умела добиваться своего.— Я не пойду.

— Идемте, Лозинский,— равнодушно сказала Маргарита, вскидывая винтовку на плечо.— Ты подожди нас здесь, Венечка, только никуда не уходи...

«Все было как прежде, как всегда,— подумал Вениамин.— Нелепо, безнадежно и стыдно».

«В последний раз,— шептал он,— довольно!»

Но от многократного повторения смысл слов становился зыбким, терялся, ускользал, как утренний туман. И он не верил этим словам, как не поверит, услышав, Маргарита.

Он скрипнул зубами, отвернулся и увидел монса. Зверек стоял пушистым столбиком на краю поляны, у самой границы кустов. Глаза круглые и темные, смотрели на Вениамина, только на него.

«Почему ты убиваешь?» — сказал монс.

Нет, ничего он не говорил и не мог сказать. Он неподвижно стоял и глядел ему в глаза.

«Почему ты убиваешь? — прошептал лес, каждая ветка и каждый лист, каждая капля дождя.— Не убивай...»

Над плечом ударил выстрел. Слева от зверька жикнуло по траве. Сразу же второй и третий...

— Не смей,— закричал Вениамин, бросился к Маргарите, схватил винтовку и рывком пригнул к земле.

Не сумев или не успев выпустить приклад, Маргарита упала на колени, повернула к Вениамину лицо с расширенными, полусумасшедшими глазами.

— Венечка, милый, я его убила, а тебя я так люблю!

Он отшатнулся, шагнул в сторону, наткнувшись на Лозинского.

— Ну, ну, чудак,— добродушно сказал тот.— Впрочем, понимаю, сам в первый раз испытал нечто похожее. А Рита — молодец! Ты посмотри, какой крупный экземпляр. Красавец!

Он принес мертвого зверька, потряс его, перебрал пушистый мех умелыми, жадными пальцами...

Вдалеке раздался выстрел. За ним еще и еще, справа и слева. Стреляли по всему лесу.

* * *

На обратном пути Маргарита с Вениамином не разговаривала. Делала вид, будто его нет вообще, и впервые это не заставило его страдать. Впервые это ему было безразлично. Собственно, он даже не заметил этого. Еще и еще раз спрашивал себя: что же случилось там, на поляне? Мог ли он услышать в действительности? Слышал ли?

Много и шумно говорил Лозинский. Рассказывал о случаях на охоте здесь, на Дорионе, и в других местах. Он был настоящим охотником. Маргарита слушала и понимающе кивала. Она тоже была охотником. За спиной в мешке несла добычу.

Лозинский, видно, пожалел Вениамина. Остановился, подождал, пока тот с ним поравняется.

— Я тебя понимаю, честное слово. В чем-то ты прав. Но и ты постарайся понять. Эта охота — она необходима. Ты бы видел, что здесь делалось десять лет назад, когда люди только появились на Дорионе. Моисов оставалось вдесятеро меньше, чем теперь... И тогда охотились... Это, конечно, зря, порядок тут быстро навели. Зато сейчас их много... Со следующего сезона, кажется, решено увеличить отстрел. Регулирование численности вида ради его сохранения. Это же абсолютно разумно!

— Разумно,— вяло повторил Вениамин.— Наверное, ты прав... Конечно разумно...

Невдалеке прогремел выстрел.

Последний в этом сезоне.

■ ЗАРУБЕЖНАЯ ФАНТАСТИКА

ПОЛ ЭШ

Контакт

> **Установление контакта с абсолютно чуждой цивилизацией представляет собой сложный процесс. И одно из главных препятствий тут — осознание обеими сторонами трудности этого процесса.**

Вечеринка была в полном разгаре, когда Лоуренс Дэй сбежал с нее, прихватив с собой бутылку. В коридоре он чуть не сбил с ног Директора Проекта.

— Почему не веселитесь, Дэй? Что-нибудь не так?

— Все в порядке, сэр. Да только вечеринке кое-чего не хватает.

— Не хватает?

— Ну да. Инициатива совместная, успех общий, а тут...

— Понимаю, понимаю. Но я, знаете ли, с трудом представляю себе лорнтян на нашем празднике...

...Наконец-то Лоуренс добрался до комнаты контакта. Она была пуста. Лоуренс привычно плюхнулся в кресло напротив экрана и наполнил кружку.

Семь лет, подумал он. Семь лет работали вместе ученые Земли и Лорни, напряженно пытаясь объединить два метода научного познания; но добились ли они успеха — пока еще вопрос.

А теперь, когда проект «Интерконтакт» завершен, когда передача информации на межзвездные расстояния стала реальностью, монтаж оборудования на сорока трех планетах Земли и двух дюжинах лорнтянских колоний подходит к концу, что же это теперь получается? Земляне, работавшие над Проектом, вовсю празднуют его окончание — одни...

Конечно, никому и в голову не могло прийти, что лорнтяне забегут по-дружески выпить стаканчик на прощание. Во-первых, они дышали хлором, а во-вторых, лишь немногие из них могли выдержать в скафандре больше десяти минут. Поэтому осуществление Проекта шло на полностью герметичной базе, построенной для землян на одной из планет Лорни.

Когда пятнадцать лет назад Лоуренс Дэй, еще пятнадцатилетний юнец, начинал свою карьеру в Службе Межпланетных Исследований,

он часто представлял себе такую картину: он, то есть не он, а его зеленый пучеглазый двойник, сидит перед лагерным костром и постукивает себя пальцем по зеленой грудной клетке. Такого рода соблазнительные картины во многом повлияли на выбор им профессии. Но, несмотря на романтический блеск в глазах, Лоуренс твердо стоял обеими ногами на земле. Иными словами, он был реалистом, когда речь шла о том, как трудно довести даже простейшее понятие «Я — друг» до сознания совершенно непохожих на человека существ с резко отличным социальным устройством. Чтобы справиться с такими трудностями, требовался куда больший объем знаний, чем тот, которым обладал Лоуренс. Но успешно преодолев и этот барьер, он в конце концов очутился в Отделе по контактам. Отдел был небольшой, так как разумные миры можно было сосчитать по пальцам; тем более почетным для новичка считалось попасть сюда.

После одиннадцати лет подготовки и нескольких коротких контрольных заданий его назначили Офицером по контактам. Первым местом его работы в этой должности стал проект «Интерконтакт». Каждый день на протяжении семи лет, сидя в этом кресле, он вглядывался в лицо К-к-рискора на экране, и по шесть, восемь, десять часов они работали вместе над очередной порцией информации, необходимой ученым обеих планет. До тех пор, пока не приходили к выводу, что поняли друг друга. «Нет,— подумал Дэй,— это было не взаимопонимание, а лишь обмен информацией. Набор символов, имеющих какой-то смысл для них и для нас, символов, которыми и мы и они можем манипулировать с пользой для себя. Но понимали ли мы друг друга? Я так и не знаю».

Семь лет напряженной работы — и ни единого конфликта, ни слова упрека.

Даже после того памятного всем случая в первый год работы, когда кто-то из землян заметил в присутствии лоритянского коллеги, что денек выдался ясный. Правда, это потребовало затем напряженных шестичасовых исследований, касающихся метеорологических явлений и особенностей их воздействия на органы чувств.

Даже после того, как один из лоритян, не разобравшись, где у нашего ручного лазера рабочее отверстие, изуродовал металлические конструкции, заменявшие К-к-рискору стул.

Впрочем, и с похвалами тоже было не густо. Да вообще хвалят ли лоритяне хотя бы друг друга или обходятся без этого? Интересно, на самом ли деле этот К-к-рискор — такая бездушная счетная машина, какой кажется? Тогда, вероятно, эта яйцеродная сволочь...

«О-па...» Лоуренс весь внутренне подобрался. Называть лоритян оскорбительными кличками, как и издеваться над их внешностью, строго запрещалось даже наедине с собой. Однажды человек такое

подумал, а потом, глядишь, и выскажет. Последствия предугадать трудно.

Невозможно наперед предсказать, что может оскорбить инопланетян. Можно лишь гадать, исходя из довольно приблизительных представлений, об их табу.

Насколько Лоуренс мог припомнить, лоритянин никогда не заговаривал первым о различиях между их расами, будь то способ размножения, психологические особенности или детали социально-политического устройства. Единственное, что они обсуждали свободно, это различия в системе дыхания (кислород против хлора). Если же по ходу перевода требовалось все-таки коснуться одной из запретных тем, К-к-рискор делал это настолько туманно, что они оба совершенно запутывались и с огромным трудом добирались до сути. Правда, Лоуренс со своей стороны начинал в таких ситуациях прибегать к всевозможным экивокам.

Но как ни печально, было уже поздно что-либо предпринимать. Слишком поздно.

Лоуренс поднял кружку, словно намереваясь чокнуться с экраном. «За вас, К-к-рискор,— проворчал он,— и пусть мне больше не попадаются такие, как вы».

Экран перед ним внезапно ожил:

— Привет, Лоуренс,— донеслось через динамик знакомое округлое мурлыканье голоса лоритянина.— Не знал, вы сейчас на месте.

Грамматика даже «упрощенного» языка, даже после семи лет практики в нем, давалась лоритянам плохо.

Семь лет... Семь лет Лоуренс Дэй, опускаясь в это кресло, включал радио- и телеаппаратуру, причем в последние шесть с половиной лет — автоматически, так что два действия слились у него в одно. Вероятно, и сейчас он сделал то же самое.

Глаза Лоуренса не отрывались от экрана. Но никогда еще ни одному землянину не удавалось ничего прочесть на лице лоритянина. Затянутые чем-то черным глаза служили, наверное, прекрасными органами зрения, но выражения в них было не больше, чем в двух неправильной формы кусочках черного вельвета. Единственный, кроме глаз, орган, выделявшийся на куполовидной голове,— трубковидный «рот» — был подвижным и всегда направленным в сторону собеседника. Остальную часть лица покрывала редкая щетина блекло-белого цвета. Такой же щетиной покрыты и маленькое каплевидное туловище — шеи не было вовсе — и четыре жестких подвижных щупальца. Кто-то однажды сравнил лоритянина с обезумевшей морской звездой, вышагивающей на одном щупальце. Сравнение было удачным, но Директор Проекта вкатил его автору выговор.

— Привет, К-к-рискор,— сказал Лоуренс хмуро: ничего хорошего от этого неожиданного разговора он не ждал.

— Вопрос: ваша первая смысловая группа, а именно «за вас, К-к-рискор», означает что?

Вот это да! Хотелось бы, чтобы люди, которым работа Офицера по контактам представляется несложной, поскольку основным языком служит «упрощенный» земной (около половины звуков лоритийского недоступны для человеческого восприятия), хотелось бы, чтобы они попробовали ответить на подобный вопрос!

«Упрощенный» земной обладал обширным словарным запасом и богатым набором технических терминов, но из него были полностью устранены омофоны, синонимы и прочие источники возможной путаницы, равно как и исключения из правил грамматики. Все занятые в проекте лоритяне владели им довольно сносно. Трудности возникали в двух случаях. Во-первых, когда встречались лоритийские реалии, для описания которых словарного запаса не хватало (но к таким вещам офицеров по контактам специально готовили); во-вторых, когда у какого-нибудь олуха вырывалась в присутствии лоритян незнакомая им идиома; такое случалось часто, и офицеры по контактам не уставали этим возмущаться, хотя сами порой грешили тем же.

Лоуренс стал подумывать, не выключить ли ему аппаратуру. А может быть, стоит как следует заехать по экрану ногой? Он ведь не на службе, черт ее дери... Прежде чем он успел сделать то либо другое, сработал условный рефлекс, и ответ вырвался сам собой.

— Выражение «за вас»,— услышал он собственный голос,— означает пожелание благополучия объекту, которому оно адресовано.

— Выражение логически не связано с благополучием,— отозвался К-к-рискор.

«Он что, называет меня лжецом?» — поразился Лоуренс. Но прежде чем Дэй успел задать этот вопрос на «упрощенном» земном, лоритянин уже переменил тему.

— Вопрос: ваше первое утверждение вторая смысловая группа, а именно «пусть мне такие, как вы, больше не попадаются» означает неприязнь к объекту.

Интонации лоритяне не признавали, поэтому речь их всегда звучала бесстрастно и ровно.

Лоуренс выкатил глаза.

«Ну и ну...— подумал он беспомощно.— Вот ведь вырвалось, а он это понял, как...»

Ему совершенно не хотелось получать о лоритянах новые сведения, наблюдая, как один из них реагирует на оскорбление. Понял ли К-к-рискор, в чем дело? Если б только удалось отвлечь его от этой фразы!

— Собственно, я не знаю,— сказал он осторожно,— является ли понятие неприязни однозначным у наших рас.

— Для моей расы понятие «неприязнь» подразумевает желание

остановки и прекращения деятельности объекта, на который оно обращено,— быстро отозвался К-к-рискор.— У нас данное понятие сопровождают также физиологические явления, а именно непроизвольное подергивание кончика щупальца, непроизвольное волнообразное движение шерсти.

Кончик верхнего щупальца внезапно сморщился и опять распрямился.

— Вопрос: однозначно ли понятие неприязни для наших рас,— добавил К-к-рискор.

— Понятие неприязни для наших рас однозначно,— понуро согласился Лоуренс,— однако наши физиологические реакции различны.

— Ваше первое высказывание, первая смысловая группа означает пожелание благополучия, второе высказывание, вторая смысловая группа означает неприязнь. Высказывание противоречиво.

— Нет! Черт... Непроизвольное высказывание... — Лоуренс уставился в кружку, ища там вдохновения, и внезапно оно пришло: — Мое первое высказывание, первая и вторая смысловые группы принадлежат к классу выражений, логически неоправданных, оно употребляется за столом. Перед тем, как пить (Лоуренс собирался сказать «совместно», но вовремя заметил возможную ловушку и заменил слово) алкоголь. Этиловый спирт. Разбавленный.

— Вррргозррт! — верхние щупальца К-к-рискора на добрых две трети свились в нечто вроде часовых пружин.— Непроизвольное высказывание,— сказал, помолчав, лоритянин. Его щупальца медленно распрямились.— Утверждение: этиловый спирт вредно действует на обмен веществ у лоритян. Вопрос: этиловый спирт не оказывает вредного воздействия на организм землян.

— Оказывает,— чувствуя облегчение, что удалось уйти от темы «любишь — не любишь», Лоуренс сделал хороший глоток.— Утверждение: этиловый спирт в крупных дозах оказывает очень вредное воздействие на организм землян. Маленькие дозы не очень вредны.

Кончики щупалец лоритянина беспокойно задвигались:

— Вопрос: земляне добровольно вводят в свой организм ядовитые вещества: причина.

Лоуренс сначала сформулировал мысль про себя: «Поглощение слабоядовитых веществ производит определенный физиологический эффект... э... землянам нравится...»

Лоритяне никогда не выглядели прилизанными, землянам их неровная тускло-белая шерсть представлялась как будто жеваной, но до этого момента К-к-рискор казался все-таки довольно гладким. Теперь он весь беспокойно пульсировал.

«Непроизвольный спазм кончика щупальца, непроизвольные волнообразные движения шерсти»,— вспомнил Лоуренс.

— Вопрос: лоритяне не любят...— Лоуренс подался вперед. Если Директор Проекта дознается когда-нибудь об этих переговорах, он не объявит ему благодарности, но в данный момент это беспокоило Офицера по контактам меньше всего.

— Лоритяне это не любят,— быстро сказал К-к-рискор,— лоритяне очень не любят. Земляне...— Он замолчал, потом добавил: —Авврррт!

— Я думаю «отвратительно» — вот то слово, которое вы ищете.

— Отффратительно!

— Годится и «мерзко».

— Мерррсссско!

— Именно так.— Лоуренс сделал еще один глоток.— Ладно, только не сочтите мой вопрос неучтивым... Вы утверждаете, что лоритяне не вводят в организм веществ, вредных для печени. Ну, тогда вопрос: друг мой, К-к-рискор, как же вы тогда веселитесь?..

...Присутствие на вечеринке Директора Проекта оказало на всех отрезвляющее действие. Не особенно сильное, но достаточное для того, чтобы он мог спокойно с нее уйти.

Можно было лечь спать. Но... Конечно, отсеки компрессоров и генераторов силового поля, которые, учитывая неконтролируемое состояние персонала, стали источниками повышенной опасности, были надежно заперты. Однако не стоило недооценивать изобретательность команды...

Мечтая о нескольких минутах покоя, Директор отворил звуконепроницаемую дверь комнаты Контакта.

— Не надо! — услышал он крик Лоуренса.— Это отталкивающе! В смысле отвратительно! Убери их!

Лоуренс Дэй, ссутулясь и прикрыв глаза руками, сидел в кресле.

— Капитан Дэй! Вы в своем уме?! — властно спросил Директор.

Лоуренс чуть не упал с кресла:

— Нет. Я только... Это важно, сэр! Я объясню...

— Гав! — послышался чей-то писклявый голос от двери.— Лоуренс, плут, что ты тут... Ух ты! Виноват, сэр!

Директор холодно взглянул на вошедшего:

— Вильямс, я полагаю, вы не один.

— Так точно, сэр.

— Я приказываю вам и вашим спутникам забрать отсюда капитана Дэя и привести его в чувство.

— Слушаюсь, сэр.

Вошли трое здоровяков и деловито направились к Лоуренсу.

— Стоп! — Лоуренс схватился за кресло обеими руками, зацепившись для верности еще и ногами.— Важный разговор! Важный, понимаете вы, олухи! Первый настоящий контакт! Сэр, велите им остановиться. Я должен...

— Вопрос: существует у землян Танец Большой Щекотки! — прогремел динамик: К-к-рискор, очевидно, прибавил громкости.— Утверждение: Лоуренсу не нравится. Стоп. Назад. Отмерший. Авуррт!

— Эй, Лоуренс, ты же слышал приказ! — гаркнул Вильямс.

— Погодите! — Директору Проекта стоило большого труда вернуть на место отвисшую челюсть.— Что это было? Э... Повторение вопроса!

К-к-рискор повторил еще громче.

Тинк Вильямс выругался.

— Вильямс, все вы можете идти,— сказал Директор,— я разберусь. И никому ни слова. Понятно?

Четверо кивнули и вышли.

— Ну? — обратился Директор к Лоуренсу.

— Значит, так...— Лоуренс поправил помятую форму.— Сэр, мы с К-к-рискором просто разговаривали, вот и все. Просто треп. На прощание.

— Тогда почему вы... Нет, постойте. Что это за Танец Большой Щекотки?

— Отфффратительно! — проревел динамик.

— Требуется понизить громкость, К-к-рискор. Понимаете, сэр, у лоритян там тоже пирушка. Но они ни в каком виде алкоголь не принимают и другие возбудители тоже.

— Мерррсссско!

— Они, как бы это сказать, ну, кайфуют с помощью своих органов осязания. Когда им хочется повеселиться по-настоящему, они сплетаются в клубок. Как щетинистые черви, завязанные в узел.

— Дэй, надеюсь, мне не надо напоминать вам...

— Нет, сэр. Я прекрасно помню, как следует реагировать на явления чужой цивилизации. Помню и то, что подходить к ним с земными мерками недопустимо. Но когда такое явление все время перед тобой маячит, оно начинает действовать на нервы. И как себя ни контролируй, напряжение все же остается.

— Капитан Дэй, я все это понимаю и не исключаю возможности нервного срыва, но откровенная демонстрация, которую я здесь застал...

— Нет, сэр, вы не понимаете. Дело в том, что у лоритян та же история. Они к этому точно так же относятся.

— К-к-рискор! Повторение вашего последнего вопроса (Лоуренс быстро сосчитал в уме — сказались годы тренировки): повторите высказывание семнадцатое.

— Вопрос: Директор землян запрещает им высказывать неприязнь к лоритянам, как Директор лоритян запрещает им высказывать неприязнь к землянам.

— Вот,— гордо сказал Лоуренс,— поняли?

— Нет. Что я должен понять?

— Ну...— Лоуренс собирался с мыслями: — Нам всем было запрещено говорить о том, что могло бы обидеть лоритян. Мы не представляли себе, чем именно их можно обидеть, поэтому нам приходилось избегать множества тем. Все, что казалось нам у них необычным или неприятным или могло быть у них табу. Секс или... или вылупление из яйца, или обычаи, ну да вы знаете список. Нам сказали: если они первые начнут разговор на ту или другую тему, тогда о'кэй — можете продолжить и вы. А они таких разговоров не начинали. Мы их считали чересчур щепетильными. Но они рассуждали так же, как и мы. Они были осторожны...

— Вопрос: щепетильный означает что.

Лоуренс оставил вопрос К-к-рискора без внимания.

— Дело в том, сэр, что и их и нас такая осторожность в подборе слов просто изматывала. Конечно, нельзя работать вместе, непрерывно оскорбляя друг друга, и все равно, каким щепетильным ни будь, то и дело наткнешься на что-нибудь... Вот, например, Танец Большой Щекотки, который К-к-рискор только что мне показал. А ему кажется, что нет ничего ужаснее веселья, от которого портится обмен веществ.

— Мерррсссько! — высказался К-к-рискор.

— Штука в том, сэр, что мы можем понять друг друга. Мои привычки хороши для меня, его — для него, и мы можем совершенно спокойно рассказывать о них друг другу. А вот если один начинает тянуть резину, другой сердится. Ясно?

Тут по экрану перед ними прокатился беспорядочно спутанный клубок с торчащими во все стороны щупальцами, на вид примерно из пяти особей, прокатился — и поглотил К-к-рискора.

— До свидания, Лоуренс! — прокричал лоритянин, исчезая в безумном танце.

— До... до свидания, К-к-рискор.— Закрыв глаза, Лоуренс торопливо потянулся к пульту. Когда экран потух, он приоткрыл их и наклонился за бутылкой.— Если вид того, как я пью спиртное, действует на К-к-рискора так же, как картина его развлечений на меня, ему сейчас понадобится хорошая доза. Налить вам, сэр?

— Нет, благодарю.— Директор выглядел слегка озадаченным.— Неужели вы хотите сказать, Дэй, что все наши предосторожности были ни к чему, что мы могли свободно говорить с лоритянами о... ну, скажем, о различиях между ними и нами и наших реакциях на эти различия?

— Нет, сэр, не совсем так. На подобные темы большинство землян даже между собой не говорят. Я уверен, что понятие «отвратительно» означает для К-к-рискора в точности то же самое, что и для меня, и ввести его в состав слов языка Проекта не мешает.

Может быть, при работе над новым общим Проектом те, кто заменит К-к-рискора и меня, договорятся снять некоторые табу. Но определенные правила необходимы, даже если они нас иногда раздражают.

— Понимаю. Да-да. Понимаю... Кажется, я могу понять, почему вам так хотелось разок нарушить инструкции... И К-к-рискору тоже. Ну я, пожалуй, пойду взгляну, как они там веселятся.

Он вышел.

Лоуренс вылил остатки в кружку и поставил ее охладиться. Затем он убедился, что все клавиши стоят в положении «выключено», и бросил взгляд на дверь. Она была плотно притворена. Лоуренс протянул кружку к экрану.

— За тебя, К-к-рискор, яйцеродная ты сволочь,— нежно сказал он и выпил до дна.

Перевод с английского М. Шевелева

РОБЕРТ СИЛВЕРБЕРГ

Увидеть невидимку

И меня признали виновным и приговорили к невидимости на двенадцать месяцев, начиная с одиннадцатого мая года Благоволения, и отвели в темную комнату под зданием суда, чтобы, перед тем как выпустить, наложить печать на мой лоб.

Работой занимались два государственных наемника. Один швырнул меня на стул, другой занес клеймо.

— Это совершенно безболезненно,— заверил громила с квадратной челюстью и отпечатал клеймо на моем лбу, и меня пронзил ледяной холод, и на этом все кончилось.

— Что теперь? — спросил я.

Но мне не ответили; они отвернулись от меня и молча вышли из комнаты. Я мог уйти или остаться здесь и сгнить заживо — как захочу. Никто не заговорит со мной, не взглянет на меня дважды, увидев в первый раз знак на лбу. Я был невидим.

Вы должны понять, что моя невидимость — абсолютно метафорична. Я все еще обладал телесной вещественностью. Люди **могли** видеть меня — но не имели права.

Абсурдное наказание? Возможно. Но и преступление было абсурдным. Холодность. Отказ отвести душу перед ближним. Я был четырехкратным нарушителем. В должное время прозвучала — под присягой — жалоба, прошел суд, наложено клеймо.

Я стал невидим.

Я вышел наружу, в мнр тепла. Полуденный дождь уже закончился Улнцы города подсыхали, в воздухе стоял запах свежей зеленн Мужчнны н женщнны спешнлн по своим делам. Я шел среди них, но меня никто не замечал. Наказание за разговор с Невнднмкой — невнднмость на срок от месяца до года н более в завнсимостн от тяжести нарушення.

Я ступнл в шахту лнфта н вознесся в блнжайшнй нз Внсячнх Садов. То был Однннадцатый, сад кактусов, н прнчудливые уродлнвые формы как нельзя лучше соответствовалн моему настроенню. Я прнблизился к кассе, собнраясь купнть входной жетон, н предстал перед розовощекой, пустоглазой женщиной.

Я положнл перед ней монету. Какое-то подобне нспуга промелькнуло в ее глазах н тут же нсчезло.

— Один, пожалуйста,— сказал я.

Ннкакого ответа. Сзадн образовалась очередь. Я повторнл свою просьбу. Женщнна беспомощно подняла глаза, затем уставнлась за мое левое плечо. Протянулась рука, положила еще монету. Женщнна взяла ее н достала жетон. Мужчнна за мной опустнл жетон в автомат н прошел.

— Дайте мне жетон,— решительно потребовал я.

Другне отталкивали меня. И нн слова извнннення. Я начал ощущать на себе первые следствня своей невнднмости. Онн в полном смысле относнлнсь ко мне, словно к пустому месту.

Однако налнцо н пренмущества. Я зашел за стойку и попросту взял жетон, не заплатнв. Так как я невиднм, меня иельзя остановить.

Я сунул жетон в прорезь автомата н вошел в сад.

Но кактусы раздражалн меня. Нахлынула какая-то необъяснимая хандра н отбила охоту гулять. На обратном путн я прижал палец к торчащей колючке, выступнла капля крови. Кактус по крайней мере еще прнзнавал мое существование. Лишь для того, чтобы пускать кровь.

Я вернулся в свою квартнру. Там меня ждали книги, но я не чувствовал к ннм влечення. Я растянулся на узкой постелн н включнл тоннзатор, чтобы побороть овладевшую мной странную апатню. Невидимость...

Собственно, это ерунда, твердил я себе. Мне ннкогда не приходнлось зависеть полностью от другнх людей. Иначе как бы я вообще был осужден за холодность к блнжним? Так что же мне надо от них сейчас? Пускай себе не обращают на меня вннмання!

Только на пользу. Невнднмкн не работают. Как могут онн работать? Кто обратнтся к невнднмому врачу, или наймет иевнднмого адвоката, илн передаст документ невиднмому служащему? Итак, ннкакой работы. С другой стороны, н ннкакого дохода, разумеется.

Но хозяин не берет плату с невидимых постояльцев. Невидимки ходят куда им заблагорассудится бесплатно. Я только что доказал это, в Висячем Саду.

Невидимость — замечательная шутка над обществом, решил я. Меня приговорили не более чем к годичному отдыху. Я был уверен, что получу массу удовольствия.

Однако существовали реальные неудобства. В первый вечер своей невидимости я пошел в лучший ресторан города. Закажу самую изысканную еду, обед из ста блюд, и удобно исчезну в момент предоставления счета.

Я ошибся. Мне не удалось даже сесть. Полчаса я стоял в холле, а метрдотель снова и снова проходил мимо. Ничего не даст, если я сам сяду за столик. Официант просто не примет мой заказ.

Можно, конечно, пойти на кухню и угоститься, чем душа пожелает. Я могу вовсе нарушить работу ресторана. Впрочем, этого делать не стоит. У общества наверняка есть способы защиты от невидимок. Разумеется, никакого прямого возмездия, никакого намеренного отпора. Но в чем обвинить повара, если тот вздумает облить стену кипятком, не заметив человека возле стены? Невидимость есть невидимость, палка о двух концах.

Я покинул ресторан.

Я поел в столовой самообслуживания поблизости и поехал на автотакси домой. Машины, как и кактусы, признавали подобных мне. Однако я сомневался, что их общества на протяжении года будет достаточно.

Спалось мне плохо.

Второй день невидимости был днем дальнейших испытаний и открытий.

Я отправился на долгую прогулку, предусмотрительно решив не сходить с тротуара. Мне часто доводилось слышать истории про мальчишек, с наслаждением переезжающих тех, кто несет клеймо невидимости. Их и судить не могли. Такие опасности умышленно создавались моим наказанием.

Я шагал по улицам, и толпа передо мной расступалась. Я рассекал толчею, как нож масло. В полдень я повстречал первого сотоварища-невидимку, высокого мужчину средних лет, коренастого и преисполненного достоинства, несущего печать позора на выпуклом лбу. Наши глаза встретились лишь на миг. Невидимка, естественно, не может видеть себе подобных.

Я был изумлен, не больше. Я до сих пор смаковал новизну этого образа жизни. И никакое пренебрежение не могло меня задеть. Пока не могло.

* * *

На третьей неделе я заболел. Недомогание началось с лихорадки, затем появилась резь в животе, тошнота и другие угрожающие симптомы. К полуночи мне стало казаться, что смерть близка. Колики были невыносимы; еле дотащившись до ванной, я заметил в зеркале свое отражение — лицо перекосившееся, позеленевшее, покрытое каплями пота. На бледном лбу маяком пылало клеймо невидимости.

Долгое время я лежал на кафельном полу, безвольно впитывая его холод. Потом подумал: что если это аппендицит?! Воспалившийся, готовый прорваться аппендикс?

Мне требовался врач.

Телефон был покрыт пылью. Никто не удосужился его отключить, но с момента ареста я никому не звонил и никто не смел звонить мне. Кара за умышленный звонок невидимке — невидимость. Мои друзья — те, которые считались моими друзьями,— остались в прошлом.

Я схватил трубку, затыкал пальцем в кнопки. Зажегся экран, и заговорил справочный робот.— С кем желаете беседовать, сэр?

— Врач,— прохрипел я.

— Ясно, сэр.

Льстивые, вкрадчивые механические слова. Робота не накажешь невидимостью! И он мог разговаривать со мной.

Раздался заботливый голос:

— Что вас беспокоит?

— Боль в животе. Наверное, аппендицит.

— Мы пришлем человека через...— Он запнулся. Я сделал ошибку, приподняв свое сведенное судорогой лицо. Его глаза остановились на клейме, и экран потемнел так быстро, словно я протянул к нему для поцелуя прокаженную руку.

— Доктор...— простонал я.

Голова моя бессильно упала. Это уже было чересчур. А как же клятва Гиппократа? Неужели врач не придет на помощь страдающему?

Гиппократ ничего не знал о невидимках. Для общества в целом меня попросту не существовало. Врач не может поставить диагноз и лечить несуществующего человека.

Я был предоставлен сам себе.

Это одна из наименее привлекательных черт невидимости. Никто не препятствует вам зайти в женское отделение бани, если вы того хотите, но корчиться от боли вы будете равно беспрепятственно. Одно связано с другим. И если ваш аппендикс прорвется — что ж, это послужит уроком остальным, которые могли бы пойти вашим преступным путем.

Мой аппендикс не прорвался. Я выжил. Человек может выдержать год без общения. Можно ездить в автоматических такси и есть в забегаловках-автоматах. А автоматических врачей нет. Впервые за свою жизнь я ощутил себя изгоем. К заболевшему заключенному в тюрьме приходит врач. Мое преступление недостаточно серьезно, оно не удостоено тюрьмы, и ни один врач не станет облегчать мои страдания. Это несправедливо! Я проклинал дьяволов, придумавших такую жестокую кару. И каждый новый рассвет я встречал один, в таком же одиночестве, как Крузо на необитаемом острове, здесь, в центре города в двенадцать миллионов душ.

* * *

Как описать мои частые смены настроения в те месяцы?

Бывали периоды, когда невидимость казалась величайшей радостью, утехой, сокровищем. В те сумасшедшие моменты я упивался свободой от всех и всяческих правил, опутывающих обыкновенного человека.

Я крал. Я входил в магазин и брал, что хотел, а трусливые торговцы не смели остановить меня или позвать на помощь. Будь мне известно, что государство возмещает подобные убытки, воровство приносило бы мне меньше удовольствия.

Я подсматривал. Я входил в гостиницы и шел по коридору, открывая наугад двери. Некоторые комнаты были пусты. Другие нет.

Богоподобный, я наблюдал все. Дух мой ожесточился. Пренебрежение обществом — преступление, принесшее мне невидимость,— достигло небывалого размера.

Я стоял на пустынных улицах под дождем и поливал руганью блестящие лица вознесшихся зданий.

— Кому вы нужны? — ревел я.— Не мне! Ну кому вы нужны?!

Я смеялся, издевался и бранился. Это был некий вид безумия, вызванный, полагаю, одиночеством. Я врывался в театры, где развалились в креслах любители развлечений, пригвожденные мельтешением трехмерных образов, и выделывал антраша в проходах. Никто не шикал на меня, никто не ворчал. Светящееся клеймо на моем лбу помогало им держать свое недовольство при себе.

То были безумные моменты, славные моменты, великие моменты, когда я исполином шествовал среди праха земного, и каждая моя пóра источала презрение. Да, сумасшедшие моменты, признаю открыто. От человека, несколько месяцев поневоле невидимого, нельзя ожидать душевного равновесия.

Но маятник несся головокружительно. Дни, когда я чувствовал лишь презрение ко всем зримым идиотам вокруг, сменялись днями невыносимой тяжести. Я бродил по бесконечным улицам, стоял под

изящными аркадами, глядел на серые полосы шоссе с размытыми штрихами стремительных автомобилей. И даже нищие не подходили ко мне. А вам известно, что у нас есть нищие, в наш просвещенный век? До того, как меня объявили невидимым, я этого не знал. До того, как мои долгие прогулки привели меня в трущобы, где пропадал внешний лоск, где опустившиеся шаркающие старики просили подаяния.

У меня не просил никто. Однажды ко мне приблизился слепой.

— Ради всего святого,— взмолился он,— помогите купить новые глаза...

Первые слова, обращенные ко мне за многие месяцы! Я полез в тунику за деньгами, готовый отдать ему в благодарность все, что есть. Почему нет? Что мне деньги? Но не успел я их достать, как какая-то кошмарная фигура, отчаянно перебирая костылями, втерлась между нами, прошептала слово «невидимый», и тут же они оба заковыляли прочь, словно перепуганные крабы. А я остался на месте, глупо сжимая деньги.

Даже нищие... Дьяволы! Придумать такую пытку!

Так я снова смягчился. Моя надменность исчезла. Я остро чувствовал одиночество. Кто мог обвинить меня тогда в холодности? Я размяк, был готов впитывать каждое слово, каждый жест, каждую улыбку, патетически жаждал прикосновения руки. Шел шестой месяц моей невидимости.

Теперь я ненавидел ее страстно. Все радости ее оказались на поверку пустыми, а муки непереносимыми. Я сомневался, что сумею прожить оставшиеся шесть месяцев. Поверьте, мысли о самоубийстве не раз приходили мне в голову.

И наконец, я совершил глупый поступок. Как-то раз я повстречал другого Невидимого, третьего или четвертого за полгода. Наши взгляды настороженно скрестились на миг; затем он опустил глаза и обошел меня. Это был стройный молодой человек, не старше сорока, со взъерошенными каштановыми волосами и узким печальным лицом. Он имел вид ученого, и я еще удивился, что он такого совершил, чтобы заслужить невидимость. Мною завладело желание догнать его и спросить, и узнать его имя, и заговорить с ним, и обнять его.

Все это запрещено. С Невидимым нельзя иметь никаких дел — даже другому Невидимому. Особенно другому Невидимому. Общество вовсе не заинтересовано в возникновении неких секретных связей среди своих отверженных.

Я знал это.

И все равно я повернулся и пошел следом.

На протяжении трех кварталов я держался шагах в пятидесяти позади. Повсюду, казалось, сновали роботы-ищейки, быстрые на рас-

познавание любого нарушения своими чуткими приборами, и я не смел ничего предпринять. Потом он свернул в боковую улочку, серую грязную улочку полутысячелетней древности, и побрел ленивым шагом никуда не стремящегося Невидимки. Я поравнялся с ним.

— Постойте,— тихо сказал я.— Здесь нас никто не увидит. Мы можем поговорить. Мое имя...

Он резко повернулся, охваченный неописуемым ужасом. Его лицо побелело. Какую-то секунду он пораженно смотрел в мои глаза, затем рванулся, намереваясь обойти меня.

Я загородил ему путь.

— Погодите,— попросил я.— Не страшитесь. Пожалуйста...

Он шевельнулся. Я опустил руку ему на плечо, и он судорожно дернулся, стряхивая ее.

— Хоть слово...— взмолился я.

Даже ни слова. Даже ни глухого «оставьте меня в покое!» Он обогнул меня, побежал по пустой улице, и топот его ног затих за углом. Я смотрел ему вслед и чувствовал, как нарастает внутри меня великое одиночество.

Потом пришел страх. Он не нарушил закон, а я... Я увидел его. Таким образом, я подлежал наказанию, возможно, продлению срока невидимости. По счастью, вблизи не было ни одного робота-ищейки.

Повернувшись, я зашагал вниз по улице, стараясь успокоиться. Постепенно я сумел взять себя в руки. И тут понял, что совершил непростительный поступок. Меня беспокоила глупость моей выходки и еще более ее сентиментальность. Потянуться так панически к другому Невидимому — признать открыто свое одиночество, свою нужду. Нет. Это означало победу общества. Я не мог смириться с этим.

Случайно я вновь оказался рядом с садом кактусов. Я поднялся наверх, схватил жетон и вошел внутрь; там отыскал гигантский, восьми футов высотой, уродливо изогнутый кактус, колючее чудовище. Я вырвал его из горшка и стал ломать и давить; тысячи игл впились в мои руки. Прохожие делали вид, будто ничего не замечают. Так, скривившись от боли, с кровоточащими ладонями, я спустился вниз, снова утонченно высокомерный в своей невидимости.

* * *

Прошел восьмой месяц, девятый, десятый... Весна сменилась летом, лето перешло в ясную осень, осень уступила место зиме с регулярными снегопадами, до сих пор разрешенными по эстетическим соображениям. Теперь зима кончилась. Деревья в парках выпустили зеленые почки. Синоптики стали устраивать дождь трижды в день.

Мой срок близился к концу.

В последние месяцы иевидимостн меня охватило оцепеиение. Одии деиь моиотонно сливался с другим словио в тумаие. Мой истощенный ум отказывался переваривать прочитанное. Брал я, что попадалось под руку: Аристотеля, учебник механики... Когда я переворачивал страницу, содержание предыдущей ускользало из моей памятн.

Честно говоря, я совершенно не следил за ходом времени. В день окончания срока я лежал у себя в комнате, леннво листая книгу, когда в дверь позвонили.

Мне не звонили ровно год. Я почти забыл значение зтого звука.

Передо мной стоялн представители закона. Не говоря нн слова, они сломали печать, крепящую знак к моему лбу. Эмблема невидимости упала и разбилась.

— Приветствуем тебя, гражданин,— сказали они мне.

Я медленно кивнул.

— Да.

— Май, одиннадцатое, 2105. Твой срок кончился. Ты отдал долг и возвращен обществу.

— Спасибо. Да.

— Пойдем, выпьем с нами.

— Я бы предпочел воздержаться.

— Это традиция. Пойдем.

Я пошел с ними. Лоб мой казался странно наг; в зеркале на месте змблемы виднелось бледное пятно. Меня отвели в близлежащий бар и угостилн эрзац-виски, грубым, крепким. Бармен ухмыльнулся мне. Сидящий рядом за стойкой хлопнул меня по плечу и спросил, на кого я ставлю в завтрашних реактивных гонках. Я ответил, что не имею ни малейшего понятия.

— В самом деле? Я за Келсо. Четыре против одного, но у него мощнейший спурт.

— К сожалению, не разбираюсь,— извиннлся я.

— Он уезжал на долгое время,— мягко сказал государственный служащий.

Эвфемизм был недвусмыслен. Мой сосед кннул взгляд на бледное пятно и тоже предложил выпить. Я согласился, хотя уже почувствовал действие первой порции.

Однако я не посмел осадить его. Это могут истолковать как проявление холодности. Я снова стал человеческим существом. Я был видим.

* * *

Возвращение к видимости вызвало, разумеется, множество неловких ситуаций. Встречи со старыми друзьями, возобновление былых знакомств... Естественно, никто не упоминал о невидимости. К ней

относились как к несчастью, о котором лучше не вспоминать. Безусловно, все старались щадить мои чувства. Разве говорят человеку, чьего престарелого отца только что повели иа эфтаназию: «Что ж, все равно он вот-вот преставнтся»?

Нет. Конечно, нет.

Так в нашем совместно разделяемом опыте образовалась зта дыра, зта пустота, зтот провал. Мне трудио было поддерживать беседу с друзьями, особенно учитывая, что я вышел из курса всех современных событий, мне трудно было приспособиться. Трудно.

Но я не отчанвался и не опускал рук, ибо я уже не был тем равнодушным и надменным человеком, каким был до наказаиия. Самая жестокая из школ научила меня смиреиню.

То и дело я замечал на улицах невндимок. Но глаза мон быстро скользили в сторону, словно наткнувшись на некое мерзкое гноящееся чудовище из потустороннего мира.

Полный смысл моего наказания, однако, я постиг на четвертый месяц нормальной жизни. Я находился неподалеку от Городской Башни, шел домой со своей старой работы в архиве муниципалитета, как вдруг из толпы меня схватила рука.

— Пожалуйста,— мягко произнес голос.— Подождите минуту. Не бойтесь.

В нашем городе незнакомые не обращаются друг к другу. Я пораженно поднял взгляд.

И увидел пылающую змблему невндимости. Затем я узнал его — тот стройный юноша, к которому я подошел более чем полгода назад на пустыиной улице. Ои одичал, глаза его приобрели безумный блеск, в каштановых волосах появилась седииа. Тогда, вероятио, его срок только начался. Сейчас он, должно быть, отбывал последнне недели.

Он сжал мою руку. Я задрожал. Это была не пустынная улица. Это была самая оживленная площадь города. Я вырвал руку и стал поворачиваться.

— Нет, не уходите! — закричал он.— Неужели вы не сжалитесь надо миой?! Вы самн были на моем месте!

Я сделал нерешительный шаг и вспомнил, как я взывал к иему, как молил не отвергать меня. Я вспомнил свое страшное однночество.

Еще один шаг назад.

— Трус! — выкрикнул он.— Заговори со мной! Заговори со мной, трус!

Это оказалось выше моих сил. Я был тронут. Слезы неожиданно брызнулн нз моих глаз, и я повернулся к нему, протянул руку. Прнкосновение словио произило его током. Через миг я сжимал его в объятиях, стараясь успоконть, облегчить страдания.

Роботы-ищейки сомкнулись вокруг нас. Его оттащили. Меня взяли под стражу и снова будут судить за преступление, на сей раз не за холодность — за отзывчивость. Возможно, они найдут смягчающие обстоятельства и освободят меня. Возможно, нет.

Все равно. Если приговорят, я с гордостью понесу свою невидимость.

Перевод с английского В. Баканова

ТЕОДОР СТАРДЖОН

Бизнес на страхе

Что там ни говори, а Джозеф Филипсо — избранник судьбы. Вам нужны доказательства? А его книги? А Храм Космоса?

Избраннику судьбы, хочет он того или нет, на роду написано совершить что-нибудь великое. Взять, к примеру, Филипсо. Да у него и в мыслях никогда не было ввязываться в эту историю с Неопознанными (никем, кроме Филипсо) Летающими Объектами. Иными словами, в отличие от некоторых не столь идеально честных (по словам Филипсо) современников, он никогда не говорил себе: «Сяду-ка я за письменный стол, понавру с три короба про летающие тарелочки, да подзаработаю деньжат». Нет, случилось то, что должно было случиться (Филипсо в конце концов и сам в это поверил), и просто так уж случилось, что это случилось именно с ним. Кто угодно мог оказаться на его месте. Вот так, одно за другое, другое за третье, третье за четвертое, словом, прогуляешь денек, да устроишь себе ожог на руке ради, так сказать, алиби, а глядишь — цепочка событий приводит тебя прямиком к Храму Космоса.

Если уж вспоминать по чести все как было (только, пожалуйста, не требуйте этого от Филипсо), то приходится признать, что и алиби-то было убогое, и повод для него тоже был никчемным. Сам Филипсо ограничивается скромным упоминанием, что начало его карьеры ничем не примечательно, а о прочем попросту умалчивает. А началось с того, что в один прекрасный вечер он без всякого основания напился до умопомрачения (если только не считать основанием сорок восемь долларов, которые он получил в агентстве за рекламное объявление для «Дешевой Распродажи»).

На следующий день он, само собой, в агентство не пошел, а чтобы оправдаться, наврал боссу про то, как он поехал накануне за город навестить свою престарелую мамочку, а на обратном пути испортилось зажигание, и он всю ночь как проклятый копался в

моторе, и только к утру... ну и так далее. На другой день он действительно поехал за город навестить свою престарелую мамочку, и что вы думаете?.. На обратном пути машина вдруг встала как вкопанная, и он всю ночь... ну, как будто в воду вчера глядел. Снова надо было оправдываться, а как? Пока Филипсо перебирал в уме да проверял на правдоподобие один вариант за другим, небо вдруг ярко осветилось, а от скал и деревьев побежали быстрые тени. Но все исчезло, прежде чем он успел поднять голову. Это мог быть метеорологический зонд или болотный огонь, а может быть, шаровая молния — это не имеет значения. Филипсо посмотрел на небо, где уже ничего не было видно, и тут его осенило.

Его автомобиль стоял на обочине, заросшей густой травой. Справа на лужайке виднелись круглые валуны самых разных размеров. Филипсо быстро отыскал три камня — каждый около фута в поперечнике,— образующие правильный треугольник и примерно одинаково глубоко сидящие в земле. Не следует только думать, что камни глубоко сидели в земле, поскольку трудолюбие Филипсо сильно уступало его изобретательности. Осторожно ступая, чтобы не примять траву, Филипсо по-одному перетащил камни в лес и спрятал их в пустой норе, которую завалил сверху сухими ветками. Затем он поспешил к машине, достал из багажника паяльную лампу (допотопная ванна в доме его матушки дала течь, и Филипсо одолжил лампу, чтобы заделать прохудившийся шов) и старательно опалил огнем оставшиеся от камней углубления.

Бесспорно, что судьба взялась за дело еще сорок восемь часов назад. Но только сейчас стал явственно виден ее перст, ибо едва успел Филипсо мазнуть огнем по тыльной стороне ладони, погасить лампу и спрятать ее в багажник, как на дороге показался автомобиль. Он принадлежал репортеру, писавшему для воскресных приложений, и у этого самого репортера по фамилии Пенфильд в данный момент не только не было темы для очередного номера, но к тому же он своими глазами видел полчаса назад вспышку на небе. Филипсо и сам собирался зайти в городе в какую-нибудь газету, а затем вернуться на место происшествия с репортером и фотографом, чтобы на следующий день показать боссу заметку в вечернем выпуске. Но судьба взялась за дело с куда большим размахом.

Освещенный первыми проблесками зари, Филипсо стоял посередине шоссе и размахивал руками, пока приближающаяся машина не затормозила около него.

— Они меня чуть не укокошили,— хрипло простонал он.

С этого момента материал пошел раскручиваться сам собой, как любят говорить в редакциях воскресных приложений. Филипсо не пришлось выдумывать никаких подробностей. Он только отвечал на вопросы, а остальное доделало воображение Пенфильда, которому

во всей этой историн было ясно только одно: перед ннм не очевидец, а голубая мечта репортера.

— Они опустились на Землю на огненной струе?

— На трех огненных струях.— Фнлипсо повел его вннз по склону и показал на обугленные, еще теплые углубления.

— Вам угрожали?

— Не только мне... всей планете. Они грозили уннчтожить Землю.

Пенфнльд едва успевал записывать. К тому же он сам сделал снимки.

— Ну а что вы ответнлн? Что не бонтесь их угроз?

Фнлипсо подтвердил, что так оно и было. И так далее.

Исторня эта попала, как Фнлнпсо н хотел, в вечерний выпуск, но он и не подозревал, что она наделает столько шуму. А шума было столько, что Фнлипсо уже и не вернулся в рекламное агентство. Он получнл телеграмму от одного издателя, в которой тот спрашивал, не возьмется лн он написать книгу.

Филнпсо взялся и напнсал. Его сочиненне отлнчалось лнхостью стнля (зто ведь ему принадлежал горящий неоновым пламенем над сотнямн магазннов девиз «Дешевой Распродажи» «МНОГО ТРАТИШЬ — МАЛО ПЛАТИШЬ»), изысканностью манер деревенского увальня и непрнтязательностью обстановки крупного банка. Оно называлось «Человек, который спас Землю» н за первые семь месяцев разошлось тиражом двестн восемьдесят тысяч зкземпляров.

С тех пор деньгн сами потекли к нему. Не только за книги. Он получал их от Лнги Приблнжающегося Конца Света, от Союза Борьбы за Моральное Возрожденне Человечества н от Ассоцнации Защнты Земли от Космических Прншельцев... Со всех сторон к нему неслнсь призывы «Спаси нас» и оседали на его банковском счету денежнымн чекамн. Хочешь не хочешь, пришлось основать Храм Космоса, чтобы как-то придать делу законный характер, и разве Фнлнпсо виноват, что его лекцни половина прнхожан, простнте, слушателей, принимала за богослужения?

Появилась на свет его вторая книга. Вначале она была задумана как приложенне — ведь ему было просто необходимо уточннть отдельные противоречия н неточности, на которых его поймалн дотошные критнки. Кннга называлась «Нам Незачем Капитулнровать», была на треть длиннее и содержала еще больше протнворечий, чем первая; за первые девять недель она разошлась тиражом триста десять тысяч зкземпляров. Тут уже те, другие деньги хлынули такнм потоком, что Фнлипсо прншлось срочно зарегистрировать себя как некоммерческую органнзацию и [illegible] все поступления на ее счет. Признаки благоденствия были [illegible] в самом Храме, причем самым заметным была большая ра[illegible]ина, купленная

со списанного броненосца и установленная на куполе. Антенна круглые сутки вращалась вокруг оси, и хотя она не была ни к чему подключена, с первого взгляда на нее становилось ясно, что Филипсо начеку и люди могут спать спокойно. В хорошую погоду антенна была видна даже из Каталины, особенно по ночам, когда на ней включали яркий оранжевый прожектор. Когда эта штука вращалась, она была похожа на автомобильный дворник, увеличенный до космических размеров.

Кабинет Филипсо помещался в куполе, прямо под антенной, и попасть туда можно было только при помощи автоматического лифта. Отключив лифт, в этом кабинете можно было без помех предаваться размышлениям. А поразмышлять было о чем. Например, не прогорит ли он, арендовав для следующей лекции зал Колизеума, или что делать с чеком на десять тысяч долларов от Астрологического Союза, раз уж эти олухи напечатали в газетах точную сумму своего дара. Но главной заботой была следующая книга. Поведав человечеству, что ему грозит опасность и что, объединившись, оно может себя спасти, Филипсо отчаянно нуждался теперь в свежей идее. Идея должна быть созвучна времени и доступна пониманию рядового читателя газет. А ждать, пока его осенит, Филипсо не мог — чудесам этого сорта удивляются девять дней, а на десятый о них забывают.

Филипсо сидел у себя в кабинете, отрезанный от всего мира и погруженный в эти размышления, как вдруг он с изумлением услышал позади себя легкое покашливание. Обернувшись, он увидел рыжего невысокого человечка. Неизвестно, что бы сделал Филипсо в первый момент — обратился в бегство или вцепился незнакомцу в горло, если бы у того в руках не оказалось средства, которое со времен появления письменности гарантированно успокаивало разъяренных авторов.

— Я прочитал ваши книги,— сказал незнакомец и протянул вперед ладони, на каждой из которых лежало по знакомому тому.— Я нашел их **не** лишенными искренности и логики.

Расплывшись в улыбке, Филипсо оглядел лишенное особых примет лицо незнакомца и его заурядный серый костюм.

— Общим у искренности и логики является то,— продолжал незнакомец,— что они могут не иметь никакого отношения к истине.

— Послушайте, кто вы такой? — потребовал от него Филипсо.— И как вы сюда попали?

— Никак я сюда не попадал,— ответил незнакомец,— потому что меня здесь нет.

Он показал вверх, и вопреки собственной воле Филипсо посмотрел туда, куда указывал палец незнакомца.

На небе уже сгущались сумерки, и оранжевый прожектор кромсал их со все возрастающей решительностью. Сквозь прозрачный купол

было видно, как прожектор выхватил из темноты какое-то большое серебристое тело, зависшее над землей в пятидесяти футах от поверхности и в ста футах к северу от Храма — как раз в той точке неба, куда повелительно указывал палец гостя. Оно было видно всего одно мгновение, но его изображение осталось на сетчатке глаза как после яркой вспышки. Когда прожектор, описав круг, вернулся на прежнее место, там уже ничего не было.

— Я нахожусь в этой штуке,— проговорил человек с песочными волосами,— здесь, в этой комнате, я всего лишь иллюзия.— Он вздохнул.— Но ведь каждый из нас вправе сказать это о себе.

— Перестаньте говорить загадками,— завопил Филипсо, чтобы заглушить дрожь в голосе,— а не то я возьму вас за шиворот и выкину вон.

— Этого сделать нельзя. Вы не можете выкинуть меня отсюда, потому что, как я уже сказал, меня здесь нет.

Незнакомец двинулся к Филипсо, стоявшему посредине кабинета. Филипсо отступил на шаг, затем еще на шаг, пока не уперся в стол. Незнакомец продолжал идти. С невозмутимым лицом он подошел вплотную к Филипсо, прошел сквозь него, затем сквозь стол и кресло, но единственным, что пострадало от этого столкновения, оказалось самообладание Филипсо.

— Я вовсе не хотел вас напугать,— проговорил незнакомец, озабоченно наклонившись к лежащему на полу Филипсо. Он протянул руку, словно пытаясь помочь ему встать на ноги. Филипсо, увернувшись, бросился в сторону, но тут вспомнил, что незнакомец не может его коснуться. Забившись в угол, он испуганно глядел на гостя. Тот сокрушенно покачал головой.

— Мне очень жаль, Филипсо.

— Кто вы?

В первый момент незнакомец даже растерялся. Он недоуменно посмотрел Филипсо в глаза и затем почесал у себя в затылке.

— Об этом я как-то не подумал,— задумчиво пробормотал он.— Разумеется, это важно. Необходима этикетка.— Глядя на Филипсо более твердым взглядом, гость продолжал: — У нас есть специальное название для людей вроде вас. Приблизительно его можно перевести как этикеточники. Не обижайтесь. Это класс существ, которые называют себя разумными, но не в состоянии воспринять предмет или явление, предварительно не наклеив на них словесную этикетку.

— Кто вы?

— Ах, да! Прошу прощения. Зовите меня... гм... ну хотя бы Хуренсон. Надо же вам как-то меня называть, а как — не имеет ни малейшего значения. К тому же, выслушав, вы, возможно, назовете меня еще более скверным именем.

— Не понимаю, что вы хотите сказать?

— А вы послушайте и поймете.

— Что ппло-сслушать?

— Хотите, я еще раз покажу вам мой корабль?

— Нет, нет, пожалуйста, не надо,— быстро отозвался Филипсо.

— Не надо меня бояться. Сядьте поудобнее и разожмите челюсти. Я вам сейчас все объясню. Вот так. А теперь сидите и слушайте.

Филипсо, все еще дрожа, опустился в кресло. Хуренсон присел на стул, стоявший сбоку от стола. Филипсо с ужасом увидал, что между гостем и стулом остался просвет в полдюйма. Просидев несколько секунд, Хуренсон поймал взгляд Филипсо, посмотрел вниз и, пробормотав извинение, опустился на стул, заняв более привычное для глаза положение.

— Забываешься порой,— объяснил он.— Столько вещей приходится держать в памяти одновременно. Стоит только задуматься, и глядишь, уже выскочил наружу без генератора невидимости или полез купаться без гипнопроектора, вроде того дурака в Лох-Нессе.

— Так, вы, правда, вне... вне...

— Вот именно. Внеземной, внесолнечный, внегалактический, все, что угодно.

— Но вы совсем не похожи... то есть, я хочу сказать...

— Да, не похож. Но и на это,— гость дотронулся кончиками пальцев до жилета на груди,— на это я тоже не похож. Я мог бы показать вам, как я выгляжу на самом деле, но поверьте, лучше этого не делать. Такие попытки уже были, и ни к чему хорошему они не привели.— Он печально покачал головой и повторил: — Да, лучше этого не делать.

— Чче... чего вы хотите?

— Ага. Вот мы и добрались до сути. Как вы относитесь к тому, чтобы поведать миру правду о нас?

— Но ведь я уже...

— Я сказал: правду... Вот уже много лет, как мы прилетели на эту крохотную планетку и принялись изучать вашу маленькую, но очень интересную цивилизацию. Она подает большие надежды, настолько большие, что мы решили помочь вам.

— Кому нужна ваша помощь?

— Кому нужна наша помощь? — повторил Хуренсон и умолк с таким видом, словно ему не хватает слов. После долгой паузы он заговорил снова:

— Нет, вам этого не понять. Как бы я ни старался объяснить, вам мои объяснения покажутся тысячи раз слышанными банальными истинами. Тысячи раз уже было сказано, почему вы нуждаетесь в помощи, но вы обладаете даром отвергать очевидное. Неужели вы не понимаете. Филипсо, что́ именно я хочу сказать и почему я

говорю это именно вам. Вы — один из тех, кто превратил страх в товар, в источник дохода. Страх — вот ваше ремесло. Пока человечество робко раздвигает границы познанного, вы ищете новое неведомое, чтобы сеять новые страхи. Вы наткнулись на благодатную почву. Угроза из Космоса... тема нескончаемая, как сам Космос. Стоит только вспыхнуть свету разума и немного рассеять мрак, вы уже тут как тут.

Выслушайте меня внимательно, Филипсо. Боюсь, это наш последний разговор. Независимо от того, нравится это вам или нет — вам, разумеется, нравится, а нам нет — вы превратились в главный источник сведений рядового человека о Неопознанных Летающих Объектах. Ваш Храм построен на лжи и страхе, но сейчас это уже не имеет значения. Ваши последователи прислушиваются к вам. А к ним прислушивается больше народу, чем можно было бы предположить. И в первую очередь все те, кто напуган вашим сегодняшним миром, кто чувствует себя на Земле маленьким и беззащитным. Вы говорите им, как силен враг, и они в страхе жмутся друг к другу. А вы в это время внушаете им, что вы и только вы можете их спасти.

— А что, разве не так? — спросил Филипсо.— Заставил же я вас прийти ко мне...

— Нет, не так,— ответил Хуренсон.— Спасать надо тех, кому что-то грозит. А вам никто не угрожает. Мы хотим вам помочь. Освободить вас.

— Вот как?! Освободить? От чего же?

— От войн, от болезней, от нищеты, от неуверенности в завтрашнем дне.

— Это уже тысячу раз говорили.

— Вы не верите?

— Сам не знаю. Я просто еще не думал об этом,— признался Филипсо.— Так почему вы пришли именно ко мне?

Хуренсон протянул руки ладонями вверх, и на них появились две книги. Вид их приятно защекотал авторское самолюбие Филипсо. Он подумал, что сами книги, должно быть, находятся на корабле.

— Вот они, ваши книги. Вам придется взять их назад.

— Каким это образом?

— Вам придется написать новую книгу. Вы ведь так и так собирались это сделать.

Филипсо не понравилось легкое ударение, которое было сделано на слове «придется», но он промолчал.

— В этой книге будут новые открытия. Можете, если хотите, назвать их откровениями. Или самыми новыми и последними интерпретациями.

— А если я не смогу?

— К вашим услугам будет вся помощь, какая только возможна на Земле. Или вне ее.

— Хорошо, а зачем?

— Затем, что ложь — это сильный яд, и человечеству необходимо противоядие, пока действие яда не зашло слишком далеко. Чтобы мы могли показаться людям, не вызвав паники. Чтобы нас не встретили выстрелами.

— Неужели вы этого боитесь?

— Пуль и снарядов — нет. Мы боимся страха, который заставляет человека нажимать на курок.

— Допустим, я пойду вам навстречу?..

— Тогда человечество позабудет про бедность, преступления, страх...

— Да, но и Филипсо оно тоже забудет.

— Вот оно что? Хотите знать, что это даст вам лично? Неужели вам не хочется превратить Землю в новый Эдем, где люди смогут свободно творить и смеяться, любить и работать, где дети будут расти, не изведав страха, и где впервые один человек сумеет понять другого. Неужели вам не будет приятно сознавать, что всем этим мир обязан вам.

— Как же,— язвительно усмехнулся Филипсо,— Земля станет большой лужайкой, на которой человечество пустится в пляс, а я поведу хоровод. Нет, это не по мне.

— Что-то вы вдруг стали чересчур задиристы, мистер Филипсо,— спокойно проговорил Хуренсон.

— А чего мне бояться,— хрипло ответил Филипсо,— вы ведь всего лишь призрак, и я сейчас выведу вас на чистую воду.— Он засмеялся.— Призраки. Удачное название. Ведь именно так называют вас...

— ...операторы радаров, когда видят на своих экранах,— закончил за него Хуренсон.— Я это знаю. Ближе к делу.

— Что ж, сами напросились, так не пеняйте.— Филипсо встал.— Вы просто шарлатаны, и все тут. Согласен, у вас получаются всякие фокусы с зеркалами, вы даже умеете так спрятать зеркало, что его и не найдешь, но все ваши штучки — это только иллюзия, обман зрения. Да если бы вы и впрямь могли сотую долю того, что вы здесь наговорили, черта с два стали бы вы умолять меня о помощи. Вы бы... вы бы попросту взяли все в свои руки, не спрашивая ни у кого дозволения, и дело с концом. На вашем месте я так бы и поступил. Ей-богу.

— Вы бы так и поступили,— повторил Хуренсон с интонацией то ли крайнего удивления, то ли просто брезгливого отвращения. После длительного молчания он заговорил снова:

— Вы никак не возьмете в толк одного — мы не можем сделать

многого из того, что умеем. В нашей власти взорвать вашу планету, изменить ее орбиту, направить ее на Солнце. Физически для нас это вполне осуществимо, так же как для вас физически возможно проглотить паука. Но вы не едите пауков. Говоря образно, вы утверждаете, что не в состоянии их есть. Точно так же и мы не в состоянии заставить человечество сделать что-нибудь против его желания. Все еще не понятно? Хотите, я открою вам, до каких пределов доходит наше бессилие. Мы не в состоянии принудить к чему-либо даже одного-единственного человека. В том числе и вас.

— Выходит, я могу отказаться? — недоверчиво спросил Филипсо.

— Ничего нет проще.

— И мне за это ничего не будет?

— Ровным счетом ничего.

— Но тогда...

Хуренсон отрицательно покачал головой.

— Нет, мы просто уйдем. Слишком уж вы нам испортили все дело. Если вы сами не захотите исправить тот вред, который ваши писания нанесли проблеме контактов, то нам останется лишь одно — пустить в ход силу, а это исключается. Жаль, конечно, бросать дело на полдороге. Четыреста лет наблюдений, и все впустую... Если бы вы только знали, каких трудов нам это стоило, сколько усилий нам пришлось приложить, чтобы остаться незамеченными. Разумеется, после того как Кеннет Арнольд поднял такую шумиху вокруг «летающих тарелочек», нам стало гораздо проще маскироваться.

— Проще?

— О, господи! Ну, разумеется, проще. У вас, людей, удивительная способность, просто талант не верить собственным глазам и находить взамен очевидного самое неправдоподобное объяснение. Например, нам здорово помогла гипотеза о метеорологических зондах. Проще простого замаскировать «тарелочку» под метеорологический зонд. Это так просто, что даже скучно. Но лучшим для нас подарком была выдумка о температурных инверсиях. Нужно большое искусство маскировки, чтобы сделать корабль похожим на отсвет автомобильных фар на горном склоне или на планету Венера, но замаскироваться под температурную инверсию? Никто ведь не знает, что это такое. Под этой маркой можно делать все, что угодно, и сойдет. Мы-то воображали, что у нас есть неплохое тактическое руководство по маскировке, но когда мы ознакомились с памяткой ВВС США по Неопознанным Летающим Объектам, нам осталось только развести руками. Мы нашли в ней рациональные и правдоподобные объяснения всех ошибок и промахов, которые мы когда-либо совершали... Например, тот идиот, что полез купаться в Лох-Нессе...

— Постойте,— взмолился Филипсо.— Дайте мне сообразить, что будет, если я исполню вашу просьбу. Я думаю, а вы мне мешаете своей болтовней. Этот ваш рай на Земле... Сколько времени уйдет на его создание? И как вы думаете приступить к делу?

— Самым лучшим началом будет ваша новая книга. Вам надо будет обезвредить две первые книги, но при этом не потерять ваших читателей. Если вы просто круто повернете в другую сторону и начнете рассказывать о том, какие мы славные и мудрые ребята, то все ваши последователи от вас отшатнутся. Вот что я придумал. Я подарю вам оружие против этих... как вы их назвали... против призраков. Простенький генератор поля, который каждый сможет изготовить сам, а в виде наживки используем кое-что из вашего прошлого вздора... виноват, из ваших прошлых заявлений. Вот, мол, оружие, которое спасет Землю от тех, кто угрожает ее погубить.— Хуренсон улыбнулся.— Самое интересное, что это будет чистая правда.

— Не понимаю.

— Мы заявим, что радиус действия этого оружия пятьдесят футов, а на самом деле он будет равен двум тысячам миль, чертежи его будут приложены к каждой книге, и оно будет простым в изготовлении... вы скажете, что выкрали его у нас...

— Что это за устройство?

— Устройство? Ах, да...— Хуренсон словно очнулся от глубоких размышлений.— Снова этикетка, черт бы ее побрал. Дайте мне подумать. В вашем языке нет соответствующего слова.

— Но что оно делает?

— Оно позволяет людям общаться друг с другом.

— Мы прекрасно обходимся и без него.

— Вздор! Вы общаетесь при помощи этикеток. При помощи слов. Ваши слова — это куча пакетов под рождественской елкой. Вы знаете от кого они и какой у них размер или форма, а иногда вам даже слышно, как внутри что-то звенит или тикает. Но вы никогда не знаете точно, что внутри, пока не вскроете пакет. Вот для этого-то и предназначено наше устройство. Оно вскрывает слова и показывает, что в них содержится. Если каждое человеческое существо независимо от возраста, происхождения и языка сумеет понять, чего именно хочет другое человеческое существо, и к тому же будет знать, что и оно в свою очередь будет понято, то не успеешь и оглянуться, как мир станет совсем иным.

Филипсо задумался.

— Торговля станет невозможна,— сказал он наконец.— Нельзя будет даже объяснить... если сделаешь что не так...

— Объяснить-то как раз будет можно,— возразил Хуренсон.— соврать будет нельзя.

— Вы хотите сказать, что каждый загулявший супруг, каждый напроказивший школьник, каждый бизнесмен...

— Совершенно верно.

— Но это же хаос,— прошептал Филипсо.— Развалятся сами устои нашего общества.

— Понимаете ли вы, Филипсо, что вы сейчас сказали? — добродушно рассмеялся Хуренсон.— Что ваше общество держится на лжи и полуправде и что, лишившись этой опоры, оно развалится. Вы правы. Возьмем, к примеру, ваш Храм Космоса. Что, по-вашему, произойдет, когда ваша паства узнает всю правду о своем пастыре и том, что у него на уме.

— И этим вы меня пытаетесь соблазнить?!

В ответ Хуренсон торжественно обратился к нему, в первый раз назвав его по имени:

— Да, Джо, и от всего сердца. Ты прав, что наступит хаос, но в вашем обществе он все равно неизбежен. Многие величественные сооружения падут, но на их развалинах не окажется желающих поживиться на чужой беде. Никто не захочет воспользоваться своим преимуществом.

— Уж я-то знаю человеческую натуру,— обиженным тоном отозвался Филипсо.— И я не желаю, чтобы разные проходимцы наживались на моем падении. Особенно, когда у них самих ломаного гроша за душой нет.

— Тогда ты плохо знаешь людей, Джо,— печально покачал головой Хуренсон.— Просто тебе никогда не доводилось заглядывать в сокровенные тайники человеческой души, где нет места страху и где живет стремление понять и быть понятым.

— А вам?

— Доводилось. Я видел это во всех людях. Я и сейчас это вижу. Мой взгляд проникает в глубины, не доступные вашему зрению. Помоги мне, Джо, и ты тоже это увидишь.

— А сам я при этом лишусь всего, чего я с таким трудом добился?

— Что стоит эта потеря по сравнению с тем, что ты выиграешь? И не только для себя, но для всего человечества. Или, если так будет понятнее, посмотри на дело с другого конца. С того момента как ты откажешься мне помочь, каждый человек, убитый на войне, каждый умерший от болезни, каждая минута мучений больного раком — все это будет на твоей совести. Подумай об этом, Джо. Прошу тебя, подумай!

Филипсо медленно поднял глаза от своих стиснутых рук и посмотрел на взволнованное сосредоточенное лицо Хуренсона. Затем он поднял глаза еще выше и посмотрел сквозь купол в ночное небо.

— Простите,— вдруг сказал он, показывая рукой,— но ваш корабль снова виден.

— Черт меня побери,— выругался Хуренсон,— я так сосредоточился на разговоре с тобой, что перестал следить за генератором невидимости, и у него перегорел омикрон. Мне понадобится несколько минут, чтобы починить его. Я еще вернусь.

С зтими словами он исчез. Он не сдвинулся с места. Его просто не стало.

Двигаясь словно во сне, Джозеф Филипсо пересек круглую комнату и, прижавшись к плексигласовому куполу, посмотрел на сверкающий корабль. Его очертания были красивы и пропорциональны, а поверхность переливалась чешуйками, как крыло бабочки. Он слегка фосфоресцировал, ярко вспыхивая в оранжевом блеске луча прожектора, и постепенно угасал, когда луч уходил в сторону.

Филипсо посмотрел мимо корабля на звезды, а затем умственным взором увидел звезды, видимые с зтих звезд, а за ними еще звезды и целые галактики, которые так далеки, что сами кажутся крохотными звездочками. Затем он посмотрел вниз, на шоссе, огибавшее Храм, и дальше вниз по крутому склону, где на дне долины еле заметно мерцали огоньки жилищ.

— Даже все зти Небеса не смогут сделать так, чтобы мне поверили, если я скажу правду,— подумал он.— Что бы я нн сказал, моим словам не будет веры. Я не гожусь для такого дела, и в том, что не гожусь, виноват только я один. А ведь это всего лишь правда. У меня с правдой одинаковая полярность, и она отталкивается от меня — таков закон природы. Я преуспел без помощи правды, и мне зто ничего не стоило, кроме потери способности говорить правду.

Что если попытаться. Как зто он сказал? «Сокровенные тайники человеческой души, где нет места страху и где живет желание понять и быть понятым». О ком зто он говорил? Разве я знаю таких людей? «Здравствуйте»,— говорим мы при встрече людям, здоровье которых нам совершенно безразлично. «Как поживаете?» — спрашиваем мы, и не слушаем ответа. «Спасибо»,— говорим мы, а зто значит «спаси вас бог», но часто ли это пожелание бывает искренним? Мы лжем и лицемерим на каждом шагу, и сразу же забываем об зтом, и ни капельки не чувствуем себя виновными.

Неужели он вправду читает в тайниках моей души?.. При таком остром зрении можно увидать паутинку за сотню ярдов.

— Если я им не помогу,— вспоминал Филипсо,— то они ничего не предпримут. Они просто уберутся восвояси... и предоставят нас нашей участи (с какой иронией зто было сказано).

— Но ведь я никогда не лгал! — простонал он вдруг громким плачущим голосом.— Я не хотел лгать! Как вы не понимаете, меня спрашивали, а я только отвечал да или нет в зависимости от того,

чего от меня хотели. А потом я пытался объяснить, почему я сказал да или нет, но ведь это еще не ложь!

Никто не ответил ему. Он почувствовал себя очень одиноким. «Я могу попробовать,— подумал он... и затем тоскливо: — Разве я смогу?»

Зазвонил телефон. Филипсо смотрел на него отсутствующим взглядом, пока тот не прозвонил вторично. Тогда подошел к столу и снял трубку.

— Филипсо слушает.

— Ладно, трюкач,— проговорили в трубку,— твоя взяла! И как это только тебе сходит с рук?

— Кто это говорит? Пенфильд?

Пенфильд после их первой встречи тоже пошел в гору. В качестве главного редактора местной сети газет, он, разумеется, давно уже отрекся от Филипсо.

— Он самый,— раздался в трубке насмешливый голос.— Тот самый Пенфильд, который как-то поклялся, что его газета никогда больше ни строчки не напечатает про весь этот твой космический бред.

— Так что же вам надо, Пенфильд?

— Я же сказал, твоя взяла. Нравится мне это или нет, но ты вновь стал сенсацией. Нам звонят со всего округа. Тысячи людей смотрят в бинокли и подзорные трубы на твою летающую тарелочку. Телевизионная установка мчится через перевал, чтобы показать ее миллионам телезрителей. Мы уже получили четыре запроса от Национального центра по наблюдению за космическим пространством. С ближайшей военной базы в воздух поднято звено реактивных истребителей. Не знаю, как уж тебе это удалось, но раз ты попал в новости, так выкладывай, что у тебя заготовлено.

Филипсо оглянулся через плечо на корабль. Вот он ярко вспыхнул в оранжевом луче прожектора, погас, еще раз вспыхнул, а из телефонной трубки раздавалось призывное блеянье. Прожектор вернулся еще раз, и... Ничего. Корабль исчез.

— Подождите,— хрипло прокричал Филипсо. Но корабль уже исчез.

Телефон продолжал блеять. Медленно Филипсо вернулся к нему.

— Подождите,— сказал он в трубку. Положил ее на стол и протер глаза. Затем снова взял трубку.

— Я видел сам,— сказала трубка тоненьким голосом.— Что это было такое? Как вы это сделали?

— Корабль,— ответил Филипсо.— Это был космический корабль.

— Это был космический корабль,— повторил за ним Пенфильд тоном человека, пишущего под диктовку.— Давайте дальше, Филипсо. Что произошло? Пришельцы спустились на своем корабле и встретились с вами лицом к лицу, верно?

— Они... в общем, да.

— Так. Лицом... к лицу... готово... Что им было нужно? — Пауза. Затем сердитым голосом: — Филипсо, вы меня слышите? Черт возьми, у меня нет времени на болтовню. Мне надо написать заметку. Чего они от вас хотели? Они просили у вас пощады, умоляли, чтобы вы прекратили свою деятельность?

Филипсо облизнул губы.

— Видите ли... в общем, да.

— Сколько их было, этих существ?

— Их?.. только одно...

— Только одно существо... пусть так. Дальше? Что это из вас каждое слово надо как щипцами тащить? Как оно выглядело? Чудовищно и уродливо?

— Напротив.

— Понял,— возбужденно повторил Пенфильд.— Прекрасное существо. Девушка неземной красоты. Значит так? Раньше они вам угрожали. Теперь они решили вас подкупить. Так?

— Видите ли, дело в том...

— Цитирую ваши слова: «неземной красоты... но я... гм... устоял против искушения...»

— Послушайте, Пенфильд.

— Нет уж, хватит с вас и этого. У меня нет времени слушать ваш вздор. Одно я вам скажу. Расценивайте мои слова как дружеское предупреждение. Я хочу, чтобы эта история продержалась хотя бы до завтрашнего вечера. Завтра ваш Храм будет кишеть агентами ФБР и Центра космической разведки, словно кусок гнилого мяса мухами. Поэтому припрячьте-ка получше ваш аэростат. Когда дело доходит до реактивных истребителей, то подобные рекламные штучки уже не кажутся властям такими забавными.

— Дайте мне сказать, Пенфильд.

На том конце провода дали отбой. Филипсо положил трубку на рычаги, повернулся.

— Вот видите,— проплакал он пустой комнате,— на что они меня толкают?

Он устало присел. Телефон зазвонил вновь.

— Вас вызывает Нью-Йорк,— сказала телефонистка. Это оказался Джонатан, его издатель.

— Джо! Полчаса не могу тебе дозвониться. Твоя линия все время занята. Отлично сработано, приятель. Я только что услышал сообщение в срочном выпуске новостей. Как тебе это удалось? Впрочем, неважно. Дай мне только основные факты. Завтра надо будет сделать заявление для прессы. Послушай, сколько времени тебе нужно, чтобы написать новую книгу? Две недели? Три? Ладно, пусть три. Но ни днем больше. Я сниму последний роман Хемни... или.. впрочем,

это неважно. Я пущу тебя вне очереди. А теперь, валяй. Включаю диктофон.

Филипсо посмотрел на звезды. В трубке раздался короткий сигнал включенного диктофона. Филипсо подвинул трубку ближе ко рту, набрал полную грудь воздуха и начал:

— Сегодня меня посетили Пришельцы из Космоса. Это не было случайностью, вроде нашей первой встречи. Нет, на этот раз они долго и тщательно готовились. Они решили остановить меня, но не силой и не убеждением, нет, они пустили в ход последнее, самое сильное средство. Внезапно среди излучателей и кабелей антенны моего радара появилась девушка неземной красоты. Я...

За спиной Филипсо раздался негромкий отрывистый звук — такой звук мог бы издать человек, которому отвращение мешает говорить и при этом нестерпимо хочется плюнуть.

Филипсо бросил трубку и обернулся. Ему показалось, будто он видит тающее изображение рыжего человечка. Что-то колыхнулось в той части неба, где был корабль, но и там больше ничего не было видно.

— Меня задергали звонками,— плачущим голосом проговорил Филипсо,— я не знал, что вы уже починили свой омикрон. Я не хотел. Я ведь как раз собирался...

Постепенно до него дошло, что он один. Никогда прежде он не чувствовал себя таким одиноким. Рассеянно подняв трубку, Филипсо поднес ее к уху и услышал возбужденный голос издателя:

— ...так и назовем ее: «Последнее средство». А на обложке шикарная блондинка в чем мать родила вылезает из радарной антенны. Здорово, Джо. Это единственное, чего ты еще не пускал в ход. Вот увидишь, это будет взрыв бомбы. Твой Храм тоже не прогадает. Напиши мне книгу в две недели, и ты сможешь открыть у себя филиал казначейства США.

Медленно, без единого слова, не дождавшись, пока издатель кончит говорить, Филипсо опустил трубку. Вздохнув, он повернулся и зажег свет над пишущей машинкой. Вложил два чистых листа, переложенные копиркой, прокрутил валик, передвинул каретку в среднее положение и написал:

Джозеф Филипсо
ПОСЛЕДНЕЕ СРЕДСТВО

Его пальцы легко, уверенно и быстро заскользили по клавишам.

Перевод с английского Ю. Эстрина

■ ПУБЛИЦИСТИКА

ВСЕВОЛОД РЕВИЧ

«Мы вброшены в невероятность»

К 60-летию выхода в свет романа А. Н. Толстого «Гиперболоид инженера Гарина»

Назвав в предыдущей статье[1] «Аэлиту» «несравненной», мы не только отдали дань замечательному мастерству и фантазии Алексея Николаевича Толстого. Роман этот в ранней советской фантастике действительно не с чем сравнивать; у него не было жанрово-тематического окружения, не говоря уже о конкуренции по изобразительной части. Сам автор считал, что «в русской литературе это первый такого рода фантастический роман». «Гиперболоид инженера Гарина», второй роман того же жанра, написанный А. Толстым через два года после «Аэлиты», напротив, имеет довольно многочисленных родственников, даже по нескольким линиям.

Первая ниточка к нему протянулась от возникшей в первой половине 20-х годов весьма своеобразной литразновидности, смеси фантастики с детективом, которая именовалась несколько диковато звучащим на наш сегодняшний слух словосочетанием — «красный (или революционный) Пинкертон».

Нет ничего более легкого, чем с теперешних высот высмеять этот гибрид, который и впрямь не блистал высоким классом, но и сам был знамением времени, штрихом, ну, пусть не штрихом, штришком в многоцветной картине рождающейся советской литературы. Новая действительность, новый читатель требовали новых книг, и они появились, даже скорее чем можно было ожидать, но все же не сразу. Шли активные поиски, плодотворные и неплодотворные.

Наряду с выработкой нового предпринималась «подгонка» старых, испытанных образцов под требования дня: вероятно, самый быстрый способ ответить на запросы читателей. Отсюда и возник парадоксальный на первый взгляд лозунг «революционного Пинкертона». Для нас Пинкертон и пинкертоновщина стали нарицательным обозначением бульварщины, но в то время этот лозунг поддерживала, между прочим,

---

[1] Имеется в виду статья в сборнике НФ 28, посвященная 60-летию первого издания романа «Аэлита».

«Правда», призывая создать увлекательную приключенческую литературу для юношества на таком необозримо богатом приключениями материале, как революция, гражданская война, международная солидарность трудящихся, борьба с зарождающимся фашизмом... Об этом свидетельствует М. С. Шагинян в статье «Как я писала «Месс-Менд».

На призыв, или, как тогда любили говорить, на социальный заказ, откликнулись многие литераторы. Далеко не всегда опыты этого рода были удачны, даже если они принадлежали весьма уважаемым перьям. Но литература была молода, и писатели были молоды, они охотно брались пробовать свои силы на чем угодно, здесь был момент литературной забавы, даже озорства. Мы имеем любопытное свидетельство Льва Успенского о том, как они с приятелем сочиняли в те годы подобный роман: «Ни разу нас не затруднило представить себе, что было там, во мраке чернильной ночи: там всегда обнаруживалось нечто немыслимое. Мы обрушили из космоса на Баку радиоактивный метеорит. Мы заставили «банду некоего Брегадзе» охотиться за ним. Мы заперли весьма положительную сестру этого негодяя в несгораемый шкаф, а выручить ее оттуда поручили собаке.

То была неслыханная собака, дог, зашитый в шкуру сенбернара, чтобы между этими двумя шкурами можно было переправлять за границу драгоценные камни и шифрованные донесения мерзавцев. При этом работали мы с такой яростью, что в одной из глав романа шерсть на спине этого пса дыбом встала от злости — шерсть на чужой шкуре!..»

Вышеупомянутый роман М. Шагинян был лучшим в компании и в отличие от большинства или даже, пожалуй, от всех аналогичных сочинений дожил до наших дней. «Месс-Менд, или Янки в Петрограде» вышел в 1923 году и имел шумный успех. Перед нами веселый и лихо закрученный роман-сказка о борьбе рабочих разных стран против международной реакции — может быть, первое в нашей стране антифашистское литературное произведение. И эту ноту подхватит «Гиперболоид...».

Конечно, многое в «Месс-Менд» сегодня кажется наивным. Но наивность шла во многом от замысла романтической сказки, и хотя новое издание —1960 года — М. Шагинян основательно переработала, главное в своем раннем романе она оставила нетронутым, а главное — аромат «тех годов большой молодости нашей литературы, когда и наша великая страна, и мы, и читатели наши переживали раннее утро нового мира...».

Еще более тесно с «Гиперболоидом...» соседствовала другая, более солидная группа романов, получившая название «романы о катастрофах» или просто «романы-катастрофы».

Они повествовали о крупном, желательно (только для сюжета, разумеется) глобальном стихийном бедствии. Еще лучше (опять-таки

только для сюжета), если это бедствие было вызвано человеческими руками, впрочем, инопланетяне тоже годились. С легкой руки Г. Уэллса эта тема утвердилась в мировой фантастике и практически не исчёзала, она и по сей день пользуется большой симпатией у фантастов и не только у фантастов. Недавно, например, по мировым экранам прокатилась серия «фильмов-катастроф». В том же ключе сделана советская картина «Экипаж». Привлекательность ситуации ясна: в момент смертельной опасности, в момент максимального напряжения сил люди раскрываются полнее всего и с лучшей, и с худшей сторон, торжествует самоотверженность, отвага, находчивость; вылезает на свет подлость, трусость, эгоизм. И не только люди, самые разные общественные институты словно попадают под рентгеновские лучи.

Одним из первых приступил к «катастрофам» Илья Эренбург. В 1923 году он написал свой «Трест Д. Е. История гибели Европы» («Д. Е.» и есть «Destruction of Europy» — «разрушение Европы», хотя эти буквы расшифровываются в романе по-разному, например, как клич атакующей конницы: «Даешь Европу!»). «Трест Д. Е.» — фантастическая сатира про то, как Европейский континент целеустремленно и злонамеренно был уничтожен специально созданным американским трестом. Кроме желания покончить с конкурентами, был у организаторов операции и особо милый их душам мотив — вызревание в Старом Свете «красной заразы» нужно выжигать с корнем.

Книга эта — о великой опасности, которую несет людям обезумевший империализм, способный к уничтожению целых материков, если его подталкивают идеологические или меркантильные пружины. Многие картины военных ужасов, нарисованные в романе, довольно точно совпали с реальностью второй мировой войны, вот только зачинщицей европейской бойни оказалась не Франция, а Германия, но в то время именно французская буржуазия выглядела в глазах писателя наиболее отвратительной. А уже в 60-х годах, работая над мемуарами «Люди, годы, жизнь», И. Эренбург скажет о своей давней книге: «Я бы мог ее написать и сейчас с подзаголовком — «Эпизоды третьей мировой войны». Как тут не вспомнить, что и в наши дни американская военщина снова пытается превратить древний и перенаселенный край в свою заложницу, подвергая народы Европы смертельной опасности.

Попробовал свои силы в фантастике и другой молодой, а впоследствии тоже ведущий советский писатель — Валентин Катаев. В романе «Повелитель железа» он попытался представить себе, что случится, если будет осуществлена мечта всех пацифистов: изобретена машина, делающая невозможными военные действия. Ничем хорошим для изобретателя-одиночки такая затея, разумеется, не кончилась. Этот роман никогда не переиздавался, но все-таки есть в книге образ, который заставляет об этом пожалеть,— юмористическая фигура пле-

мянника великого Холмса — тоже сыщика Стенли Холмса. Откуда у Шерлока взялся родственник, отсутствующий у Конан Дойля? Как вы помните, у Шерлока был брат Майкрофт. Так вот этому брату и подбросили ребеночка, его собственного, впрочем. На семейном совете было решено, что отдавать мальчика в приют безнравственно, он воспитывался в доме на Бейкер-стрит, воспринял все манеры, стиль Шерлока и пытается ему во всем подражать; так, Стенли повсюду носит скрипку и, главным образом в самые неподходящие моменты, начинает, полузакрыв глаза, играть, правда не Сарасате, а в ногу со временем вальс «На сопках Маньчжурии». Множество забавных приключений придумал автор для своего незадачливого спеца. Чтобы изловить вождя индийских коммунистов Рамашчандру, Стенли гримируется под него, но сам попадает в ловушку и, связанный, с кляпом во рту передается полиции за большой выкуп...

Второй фантастический роман тех лет «Остров Эрендорф» автор включает в новейшие собрания сочинений, хотя можно было бы поступить и наоборот. В этом романе на Землю надвигается беда погрознее: вся суша должна погибнуть в пучине вод за исключением одного маленького островка.

Разумеется, к концу повествования окажется, что из-за ошибки арифмометра, подведшего старого ученого, в катаклизмах погибнет только отмеченный островок, а остальная твердь останется незыблемой. Но можно представить себе, какая паника царила в мире и как рвались толстосумы захватить местечко на острове. Как и «Повелитель железа», книга написана в пародийном стиле. Это чувствуется прямо с заглавия, ведь «Эрендорф» откровенно образован от «Эренбурга»: в романе выведен образ плодовитого прозаика, собирающегося организовать питомник своих читателей, «выбранных из самых выносливых сортов безработных»... Впрочем, насмешка автора над коллегой вполне дружелюбная, порой даже льстящая...

В 1927 и 1928 годах вышли в свет два романа Владимира Орловского «Машина ужаса» и «Бунт атомов», книги посерьезнее. В первой из них мы снова находим изобретателя-одиночку, сконструировавшего машину, посылающую на людей волны беспричинного ужаса, только на этот раз перед нами не идеалист-миротворец — у миллионера Эликота зловещие намерения захватить власть над миром; впрочем, в отличие от инженера Гарина он успевает сделать только полшага.

В «Бунте атомов» германский ученый Флиндиер зажигает в своей лаборатории атомный огонь, который не может погасить. Немаловажное значение имеет то обстоятельство, что Флиндиер и его сын Эйтель реваншисты. «Мы напитали бы этой силой прежде всего наши орудия и наши броненосцы, наши аэропланы и наши танки»,— прервал отца Эйтель, когда тот поделился с ним своими планами. Спасти планету от гибели удается советским физикам: они изловили огнедышащий

клубок в электромагнитный капкан (очень современно выглядящий способ!) и гигантским зарядом взрывчатки выбросили его за пределы атмосферы. Удача этого романа не только в отличной научной предпосылке, но и в тщательно разработанных социальных последствиях случившегося. Так, когда был предложен проект спасения, в некоторых правительствах начинается торговля: да разве же можно лишиться всего запаса взрывчатых веществ?

Роман этот давно заслуживает переиздания,однако перед В. Орловским уже был образец, на который можно было ориентироваться. Речь как раз и идет о «Гиперболоиде инженера Гарина», лучшем произведении в круге тех книг, которые рассказывают о мировых потрясениях, вызванных чьей-то злой волей. Его публикация началась в 1925 году на страницах журнала «Красная новь», затем роман несколько раз переделывался и дописывался.

В период между написанием «Аэлиты» и «Гиперболоида...» А.Толстой еще дважды обращался к фантастике — в «Бунте машин», переработке знаменитой пьесы К. Чапека «RUR», и в «Союзе пяти», повести, предварившей некоторые идеи «Гиперболоида...», но значительно уступающей будущему роману. Ученые утверждают, что даже математическая формула должна обладать внутренней красотой, точно так же и любая гипотеза или действие в фантастике должны выглядеть логически и художественно стройными, что вряд ли можно сказать о попытке ошалевшего миллиардера в «Союзе пяти» расколоть Луну ракетами, чтобы вызвать на Земле панику и под шумок захватить единоличную власть. Вряд ли даже самые оголтелые магнаты станут посягать на наши естественные светила. В такие гипотезы невозможно поверить даже в рамках условной фантастической игры. А при чтении «Гиперболоида...» (как и любого другого создания истинно художественной фантастики) все время попадаешь под воздействие странного ощущения: будто многое из того, про что там написано, случилось или могло случиться на самом деле, настолько сочно вылеплены детали, подробности, эпизоды, скажем, сцены расправы с бандитами или уничтожения химических заводов.

Впрочем, по сравнению со стройной «Аэлитой» «Гиперболоид...» представляется менее цельным, менее крепко скомпонованным, более разностильным. Наряду с прекрасными страницами в нем немало непереваренных кусков из западного авантюрно-детективного романа, заметно влияние не столько кинематографа, сколько «киношки»: невероятный галоп событий, их стыковка и расстыковка в самых неожиданных местах, погони, преследования, пиратские рейды изящной яхты «Аризона», кодированные телеграммы и изысканные бандитско-джентльменские разговорчики...

Писавшие о «Гиперболоиде...» за редкими исключениями (которые все-таки были) подчеркивали его антиимпериалистическую направлен-

ность, приобретшую вскоре четкое антифашистское осмысление, что сказалось как на восприятии романа читателями, так и на усилении подобных мотивов в тексте романа самим писателем от издания к изданию. Но «Гиперболоид...» часто принимался слишком всерьез, что ли. Между тем как и в основных сюжетных линиях романа, так и в отношении к большинству действующих в нем лиц явственно прослеживается насмешка, издевка; так, сам Петр Петрович Гарин, «сверхчеловек», диктатор, злодей — типичный герой приключенческого боевика, но его честолюбие, стремление к власти, изворотливость, безнравственность поданы с такими перехлестами, что он же воспринимается и как пародия на такого героя.

Однако основные идеи романа не пародийны.

Петр Петрович Гарин сам склонен считать себя гением, но если он в чем-то и преуспел, так это в организации злых дел. Ведь изобретение гиперболоида не принадлежит ему, он украл идею у старого русского инженера Манцева. Заслуга Манцева и в открытии оливинового пояса, в котором под тонкой земной корой кипят расплавленные металлы, в частности золото; пробив с помощью всемогущего луча гиперболоида сверхглубокую шахту, Гарин оказался владетелем несметных количеств «всеобщего эквивалента стоимости», что и позволило ему очень быстро пустить под откос мировую капиталистическую экономику.

В сценах биржевой паники, хозяйственного хаоса писатель предугадал экономический кризис, разразившийся над западным миром через несколько лет. (И между прочим, по замыслу писателя действие этих глав романа относится как раз к 1930 году.)

Великие открытия в истории человечества часто служили и войне, и миру, и добру, и злу. Уже первая палка, взятая в руку нашим обезьяноподобным предком, могла быть и мотыгой и дубиной. А что такое атомная энергия — проклятие или благословение? А космоплавание? А лазер?..

Манцев предназначал свой гиперболоид для мирных целей, в частности, для тех же горных разработок. Гарин делает из аппарата прежде всего боевое оружие. Манцев хочет добывать из недр неограниченное количество металла, Гарин пробивается к золоту, только к золоту, его больше ничто не волнует.

В романе четко обозначен тезис: слишком могучие «игрушки» нельзя оставлять в руках маньяков и диктаторов; для того чтобы силы природы служили только на благо людям, необходимо вмешательство народных масс.

Сама по себе идея ответственности ученых за судьбу изобретения, сопоставление целей друзей и врагов мира не раз впоследствии ложилась в основу многих произведений советской фантастики.

Вернемся к фигуре Гарина. Вовсе не с потолка взято его стрем-

ление стать мировым диктатором. Личностей с такими «скромными» замашками немало в человеческой истории, их создал не XX век, но XX век сделал их бесконечно более опасными для людей, чем раньше. Бесноватый фюрер — первый приходящий на ум пример, и, между прочим, в одном из вариантов главы «Гарин-диктатор» портрет главного персонажа содержал выразительный штрих — прядку волос, спущенную на лоб...

Гаринский образ — конечно, в рамках приключенческого романа — довольно полно моделировал подобные судьбы и потрясения, с ними связанные. Особо следует выделить союз Гарина с химическим королем Ролингом, союз милитаризма с наиболее правыми, наиболее алчными представителями крупного капитала, того, что сейчас мы назвали бы военно-промышленным комплексом. Можно отметить и такую точно предусмотренную подробность: вскормленное Ролингом чудовище вышло из повиновения, и Ролинг пострадал, может быть, больше всех. Связываться с авантюристами и гангстерами весьма опасно, но в своей классовой слепоте упомятутые круги опираются и будут опираться на всякого рода гитлеров и пиночетов, ничего не воспринимая из уроков истории в тщетных попытках затормозить ее ход. Однако в борьбе за мир, за счастье всех людей на нашей прекрасной, голубой и зеленой планете, за создание справедливого общества необходимо, чтобы как можно больше жителей Земли осознавало те скрытые пружины, которые движут развитием человечества. Публицисты и философы делают это своими способами, авторы реалистических эпопей — своими, приключенческие романисты — своими, и пусть социологи скажут, чье воздействие может оказаться более эффективным.

Гарин не останавливается на личном диктаторстве, его амбиции простираются дальше, а дальше — это уже чистейший фашизм, стремление поставить небольшую элитарную кучку над остальными «недочеловеками» (термин не из романа), которых приведут к безропотному повиновению и беспросветному труду с помощью небольшой операции на мозге. Новейших свидетельств, подтверждающих прозорливость писателя, можно привести немало. Вот два из них. Говорит известный испанский нейрофизиолог Хозе Дельгадо, много лет преподававший в Йельском университете, но — любопытная деталь! — еще при Франко согласившийся принять пост декана медицинского факультета в Мадриде: «Дальнейшее совершенствование и миниатюризация электронной техники позволяют создать маленький компьютер, который можно будет вживлять под кожу. Таким образом, появится автономный прибор, который будет получать информацию от мозга, обрабатывать ее и выдавать мозгу. Такое устройство... будут выдавать стимулирующие сигналы по определенным программам в зависимости от характера биотоков мозга». А вот и практическое применение подобных научных проектов: «...Условия атомной войны требуют от нас создания

специальных подразделений солдат, начисто лишенных таких эмоций, как страх, не знающих колебаний... Управляя ими на расстоянии с помощью электрических сигналов, посылаемых в мозг через систему электродов, можно в самой сложной обстановке, в гуще ядерного взрыва, вести наступление на позиции противника и добиваться успехов. Эксперименты такого рода необходимо начинать уже сегодня, рассматривая в деталях возможности быстрого и безошибочного вживления электродов в те отделы мозга, которые создают настроение оптимизма и бесстрашия...» Нужны ли комментарии к этой цитате из одной речи на закрытом заседании в Мичиганском университете? Вот вам и фантастика!

В финале А. Толстой с большой силой живописует падение новоявленного диктатора, крах всей его лавочки. Восстание возмущенных народных масс, не пожелавших, чтобы их превращали в рабов с вживленными электродами, сметает всемогущего Гарина со всеми его гиперболоидами. Бывший властелин мира (капиталистического) и его любовница оказываются на необитаемом острове, где даже не разговаривают друг с другом, потому что разговаривать им не о чем; разоблачение суперменства, крайнего индивидуализма возводится здесь в степень символа.

Такова идейная сущность образа Гарина. Но Гарин — вовсе не ходячий порок, это — личность, темная, но не примитивная. Он аморален, он с легким сердцем отправляет на смерть своих друзей-двойников, но умен, дерзок, предприимчив, не чужд земных радостей. В неудавшихся экранизациях романа, о которых пойдет речь дальше, образ самого Гарина получался совсем неплохо, исполнители его «видели». Может быть, лучше всего автору удалось показать его противоречивую сущность в сценах наивысшего торжества своего героя: Гарин добился задуманного, он провозглашен всемирным диктатором. И Петр Петрович, который успешно схватывался с целыми флотилиями, оказался сраженным предрассудками того общества, которым он возжаждал верховодить. Он бесится, он воет от тоски, но вынужден подчиняться дурацким условностям, ритуалам и этикетам, вынужден изображать собой сонм всех мыслимых добродетелей: ведь другим и не мог быть в глазах обывателя первый человек. И тут Гарин ничего поделать не в состоянии, это ведь его общество; революционизировать, изменять социальную структуру он ведь не собирался.

Еще одна черточка, тоже придающая образу объемность, даже противоречивость. Гарин всюду тащит за собой самого непримиримого своего противника — советского гражданина Василия Витальевича Шельгу. Зачем ему Шельга, зачем он упорно сохраняет жизнь чекисту, прекрасно зная, что Шельга немедленно бы его уничтожил, если бы получил такую возможность? Гарин тщеславен; ему нужны зеркала — покрасоваться. И не только зеркала из льстецов и подчиненных; он

способен рассмотреть в Шельге те достоинства, которых лишен сам,— прямоту, честность, бескомпромиссность. И ему очень хочется, чтобы именно такой враг видел его возвышение.

Образ Шельги представляется недооцененным. Ведь это «сыщик» нового типа, которого в нашей (а не о нашей и говорить нечего) литературе до «Гиперболоида...» не было. Сыщик в мировой детективной литературе уже к тому времени фигура, в достаточной степени подпорченная героями типа Ника Картера и Ната Пинкертона, «красный детектив» тоже изображал работников следствия в самом упрощенном виде, чаще всего подражая заграничным моделям. А тут впервые появился агент, в котором главное не профессиональная выучка, не сверхъестественные криминалистические способности «серого вещества», не крепкая служебная добросовестность. Шельга прежде всего человек идеи, решения и поступки которого обусловлены убежденностью в том, что его служба, его риск нужны и полезны родной стране и всему революционному миру. Он начинает как простой инспектор угрозыска, расследующий загадочное убийство на Крестовом острове в Ленинграде, но затем, следуя за Гариным сначала по доброй воле, потом по недоброй, вырастает в прообраз Разведчика с большой буквы, которые оказались особенно необходимыми во время минувшей войны. Закономерно видеть такого человека во главе восставших рабочих.

А вот с американским миллиардером Ролингом у Толстого явно не получилось, хотя он опять-таки верно подметил пресмыкательство международного капитала перед экспансией Соединенных Штатов: «Американский флаг опояшет землю, как бонбоньерку, по экватору и от полюса до полюса»... В образе химического короля писатель не сумел преодолеть существующие трафареты, а может быть, и создал свои. Во всяком случае, надо признать, что в изображении империалистических акул наша литература со времен «Гиперболоида...» не очень продвинулась вперед.

«Распознать буржуя
просто
(Знаем
их иную орду!):
толстый,
низенького роста
и с сигарою во рту»,— иронизировал в те годы Маяковский.

О научно-технических идеях «Гиперболоида...» написано довольно много, тем более что сам писатель давал для этого поводы, охотно пускаясь в научные или псевдонаучные рассуждения и даже рисуя схемы изобретенных приборов. У него есть любопытное сообщение, по поводу которого до сих пор никто не может сказать, правда это или нет: «Когда писал «Гиперболоид инженера Гарина», старый знакомый

Оленин рассказал мне действительную историю постройки такого двойного гиперболоида; инженер, сделавший это открытие, погиб в 1918 году в Сибири...» Впрочем, если удариться в ретроспекцию, то, очевидно, первооткрывателем идеи испепеляющего луча следует считать неизвестного автора легенды о зеркалах Архимеда, которыми он якобы сжег неприятельский флот в Сиракузах. Предание это появилось вовсе не в античные времена, а в средние века, когда проверить его достоверность было уже затруднительно. Впоследствии изобретатель «камеры-обскуры» Жан-Батист делла Порта попытался даже описать конструкцию подобного «сжигателя». Конечно, это было чистейшее прожектерство.

Ссылки на роман А. Толстого участились после появления квантовых генераторов — лазеров, которые хотя бы в отдельных чертах и вправду напоминают гаринские, точнее толстовские гиперболоиды, прежде всего нерасширяющимся, тонким как нить лучом света огромной мощности, способным жечь и резать. Первыми на это сходство обратили внимание сами ученые. «Для любителей научной фантастики я хочу заметить, что игольчатые пучки атомных радиостанций представляют собой своеобразную реализацию идеи «Гиперболоида инженера Гарина»,— заявил высокий авторитет в данной области академик Л. А. Арцимович. Практически ни один из пишущих об открытии лазерного излучения не смог обойтись без упоминания об А. Толстом. Один из физиков, открывших это явление, ныне академик Н. Г. Басов, в те годы писал: «...Уже действуют генераторы, излучающие остро направленный пучок интенсивного света. Правда, мощность этого пучка пока не столь велика, как у «гиперболоида», созданного фантазией А. Н. Толстого...» А писательница И. Радунская так и назвала свою книгу об этом выдающемся открытии —«Приключения гиперболоида инженера Гарина».

Такое признание — большая честь для фантаста, тем более что в те-то времена об игольчатых пучках слыхом не слыхивали. Строго параллельные, нерасходящиеся лучи света в традиционной оптике принципиально невозможны, что с блеском и доказал в вышедшей десятилетия через два автор книги «О возможном и невозможном в оптике» профессор Г. Слюсарев. Фантастику А. Толстого он категорически назвал «недопустимой». Поучительно отметить, что в конечном итоге истина оказалась скорее на стороне необузданной фантазии художника, нежели строгих знаний ученого. Так еще раз одержали победу творчество, воображение.

В тоне научного комментирования можно говорить о многих фактах из книги Толстого. Тот же Г. Слюсарев, отрицая идею целиком, все же не преминул покритиковать некоторые детали гаринской конструкции. По его мнению, вместо гиперболоидов надо было применить параболоиды и исправить положение фокуса второго зеркала. Ин-

тересно, что бы это изменило? Всем понятно также, что мощности шамотовой пирамидки, как бы жарко она ни горела, недостаточно для того, чтобы разрезать крейсер или хотя бы располосовать человеческое тело «напополам», как это проделал Петр Петрович с подвернувшимся Гастоном Утиным Носом, большим негодяем, впрочем.

Можно подробно поговорить о том, есть или нет в недрах Земли оливиновый пояс, попутно изложив современные взгляды на строение земного шара. Подобный анализ фантастических произведений распространен довольно широко, раскройте, например, сопроводительные статьи к собранию сочинений Ж. Верна. Но эти комментарии, сами по себе, конечно, небезынтересные, должны все-таки иметь вспомогательное значение, нельзя забывать, что, несмотря на всю специфичность фантастики, мы имеем дело с произведением словесности, а не науки, и в первую очередь обязаны подумать и понять: зачем все это автор придумал, какова идейная функция научно-фантастической гипотезы.

Обращаясь к книгам фантастов 20-х годов и даже дореволюционных, легко убедиться, что писатели прошлого делали поразительные предсказания: и телевидение, и антигравитацию, и плазму, и компьютеры, и ядерную бомбу. Такие факты всегда охотно отмечаются, в удачных прогнозах есть, право, что-то таинственное: в одной книге, вышедшей в 1926 году, написано, что первый атомный взрыв на Земле произойдет в 1945-м! Поневоле вздрогнешь! И тем не менее в большинстве случаев и самих авторов этих прогнозов, и их книги сейчас мало кто помнит.

Любая литература, фантастика в том числе, ценна прежде всего своей человеческой, «человековедческой» стороной, своей социально-философской сутью, она исследует поведение человека в необычных условиях. И любая научно-фантастическая гипотеза придумывается или вводится в хорошее произведение вовсе не самоцельно. Так по крайней мере должно быть. Повторим, что она (гипотеза) нужна для раскрытия идейного содержания, идейного богатства произведения. А. Толстому необходимо было найти оружие необыкновенной разрушительной мощи, но в то же время компактное, которое он мог бы вложить в руки одного человека, чтобы этот малый начал грозить всему миру,— и вот появляется гиперболоид. Писателю понадобилось много золота, чтобы с его помощью подчинить капиталистическую экономику. Где взять? Ж. Верн с подобными же целями доставил драгоценный металл в романе «В погоне за метеоритом» прямо из космоса, а у А. Толстого возникает оливиновый пояс и пробуривается сверхглубокий ствол. На первый взгляд убедительнее, чем астероид из чистого золота, а на деле ничуть не научнее, только подано с более серьезным видом. Опять-таки Манцев открывает оливиновый пояс потому, что автору понадобились огромные количества золота, а не потому, что

А. Толстой решил заняться популяризацией одной из существовавших гипотез о внутренностях нашей планеты. Он просто приспособил ее для своих целей, а мог бы выдумать что-то и совсем новое, небывалое, ничего бы не изменилось. Точно так же, если бы А. Толстой захотел отправить героев «Аэлиты» на Марс с помощью какого-нибудь местного кэйворита или даже из пушки, то и от этого роман немного бы потерял, хотя мы с удовлетворением отмечаем, что писатель был знаком с принципами космонавтики Циолковского.

Но попробуйте убрать, заменить Гарина, Зою Монроз, Шельгу, а тем более Гусева, Лося, Аэлиту и от романов не останется ничего. Про роль науки в научной фантастике наговорено много путаного. Нелепо, конечно, отбрасывать любопытное, смелое, точное предсказание или красивую научно-техническую придумку как нечто несущественное. Никто не собирается отказываться и от научного комментирования фантастических идей, когда оно уместно и содержательно; речь идет только о том, что считать в фантастике главным.

Как раз романы А. Толстого стали примером верного соотношения между наукой и литературой, именно в изображении человека они дают сто очков вперед множеству произведений так называемой научной фантастики, в которой герои превращаются в неощутимок, именно в этом секрет долгой жизни книг выдающегося писателя, хотя как раз в адрес «Гиперболоида...» было высказано немало критических упреков по этой части, и не все из них следует считать несправедливыми...

В заключение остановимся на экранизациях знаменитого романа. Их было две, и обе они относятся к сравнительно недавнему времени. Увы, с «Киногариным», как и с «Киноаэлитой», Алексею Николаевичу явно не повезло, хотя не всегда взаимоотношения писателя и кинематографа складывались печально, вспомним такой монументальный фильм, как «Петр Первый». А вот фантастика (что относится не только, конечно, к А. Толстому) по разным причинам оказалась для искусства экрана слишком крепким орешком, и даже в мировом кинематографе подлинные удачи можно пересчитать буквально по пальцам.

Но это, однако, не означает, что кинематограф должен отступиться от фантастики, как от неприступной крепости. Крепость эту вполне можно взять, и победитель будет вознагражден сполна; интерес зрителей к кинофантастике и ее могучие идеологически-воспитательные возможности — вне всяких сомнений.

Первую из киноверсий «Гиперболоида...» осуществил в 1965 году режиссер А. Гинцбург по сценарию И. Маневича. Несмотря на редкостный по звучности имен актерский состав, фильм не удался. Была совершена типичная ошибка экранизаторов больших произведений прозы. Стремление не упустить основные сюжетные ходы приводит к беглости — мелькнул персонаж, пролетело событие — и дальше, дальше, скорее; экранного времени не хватает, чтобы всмотреться в лица, ра-

зобраться в сути событий. Но несмотря на максимальную сжатость, авторы были вынуждены совсем отказаться от целой части романа — исчезла мировая паника, исчез Гарин-диктатор. В результате получился событийно-приключенческий боевик с весьма поверхностной философией. Трудно даже сказать, зачем, собственно, этот фильм ставился; видимо, ответ должен быть тавтологическим: чтобы экранизировать популярный роман. После грандиозных бедствий второй мировой войны злодеяния экранного Гарина (его играл Е. Евстигнеев) стали выглядеть смехотворными, даже опереточными. Очевидно, современное кинопрочтение романа должно быть другим.

Вторую попытку воссоздать «Гарина» на свой лад предприняла в 1974 году группа кинематографистов во главе с Л. Квинихидзе. На их создании стоит задержаться чуть подольше, поскольку на этот раз мы имеем дело с масштабной многосерийной телепостановкой, которую видели миллионы людей.

Да, постановщики известного произведения должны иметь собственную и современную концепцию, иначе их работа может оказаться вообще ненужной. Но даже в картинах, поставленных «по мотивам», должно же быть что-то от первоисточника, в противном случае, зачем было к нему обращаться? Что поделаешь: искусство всегда есть хождение по лезвию, в данном случае между иллюстративностью и произволом; и срыв как в одну, так и в другую сторону ничего хорошего сорвавшемуся не обещает. Поэтому сравнение картины Л. Квинихидзе с романом А. Толстого понадобилось не для того, чтобы грозно восклицать: как посмели авторы вносить те или иные изменения в классику, а чтобы понять, какую же цель они преследовали, внося эти изменения, в каком направлении шло приспособление романа к требованиям сегодняшнего дня.

Однако осмыслить необходимость или хотя бы целесообразность трансформаций, которые произвели авторы фильма над основными идеями и основными героями романа, нелегко. Фильм называется «Крах инженера Гарина», и в таком изменении заголовка, естественно, никакого преступления нет, но «крах»— слово громкое, и для того чтобы потерпеть его, надо, чтобы было чему рушиться, потребны какие-то претенциозные замыслы, сумасшедшие авантюры. Именно такими и были те авантюры, которые затевал П. П. Гарин в романе, потому и громким был крах, который он потерпел. Это не было провалом частного лица, «загремела» прежде всего его диктаторская идея, его притязания на мировое господство. И рухнула гаринская авантюра не в силу непредвиденных случайностей — она была сметена движением масс, решительными революционными действиями пролетариата, взявшего, в частности, под контроль золотую шахту.

Ничего подобного в фильме нет. Перед нами совсем другой Гарин (его играет О. Борисов). Никаких всепланетных акций он не затевает,

а намерен, по возможности не привлекая особого внимания, отправиться в Южную Америку, чтобы там добыть побольше золота с помощью своего аппарата. Хотя инженер и произносит громкие слова о жажде власти, но если разобраться, в фильме он оказался довольно незлобивым пареньком. Он, правда, порешил двух человек, но исключительно в целях самообороны. Заводы взорвал вообще не он. Разве что любовницу увел у миллионера, но, согласитесь, что это все же совсем иное дело, нежели бредовые, подлинно фашистские планы романного Гарина. Крах такого Гарина и крах мелкого индивидуалиста, мечтающего обогатиться с помощью своего открытия,— это, как говорят, две большие разницы. Прикажете видеть в таком измельчании характера главного героя осовременивание романа?

Отказавшись от масштабной фантастической ситуации, авторы выдвинули на первый план придуманную ими тривиальную детективную интригу; за аппаратом Гарина охотится международная фашистская организация, руководимая неким Шефером. В итоге фашисты остаются ни с чем, так что если уж кто и потерпел крах в этом фильме, то не Гарин, а Шефер.

Если центр тяжести переносится на борьбу с нацистской шайкой, то, во-первых, не совсем понятной становится роль самого Гарина и совсем непонятными действия — или точнее бездействия — Шельги, который пассивно наблюдает за происходящим и только время от времени принимается читать мораль Петру Петровичу. Ларчик открывается просто: Шефер действует в сценарии С. Потепалова, а Шельга продолжает оставаться в сохранившихся обрывках романа А. Толстого, поэтому С. Потепалов не знает, что ему делать с этим посторонним товарищем и почти на полкартины укладывает его мирно спать в больнице.

В соперничестве с А. Толстым авторы фильма весьма последовательны. Взглянем на немаловажный для романа образ Зои Монроз. Зоя проститутка и авантюристка, но, так сказать, авантюристка с размахом, глобального масштаба. Она все ставит на карту: встречные мужчины — и Ролинг, и капитан Янсон, и сам Гарин — лишь пешки в ее собственной крупной игре. Она, конечно, дрянь, но в образе, созданном большим писателем, есть какое-то зловещее очарование, напоминающее очарование «трехмушкетерской» Миледи. Даже первый рецензент «Гиперболоида...» Ник. Смирнов, сурово обошедшийся с романом в журнале «Новый мир» за 1926 год, все-таки отметил: «Зоя — живая, читатель видит и капризные гримасы ее красивого лица, и мягкие складки ее шелкового платья, и ее напряженную дрожь в ту критическую минуту, когда Гарин убивает смертоносными лучами Гастона»... Авторы фильма выдают нам другую Зою — взбалмошную, слабонервную дамочку, которая чуть что принимается рыдать или молиться. Трудно удержаться от сравнения. В упомянутой сцене нападения Гастона Утиного Носа Зоя из романа хладнокровно протягивает

Гарину спички, чтобы тот мог зажечь свои пирамидки и располосовать убийц, подосланных ею же самой. А теле-Зоя в этой сцене кричит: «Ой, не надо! Не надо!»— и боязливо прижимается к Гарину. Можно, конечно, сыграть и такой характер, но все-таки: какую же цель преследовали авторы? Ведь их стараниями главная героиня романа превратилась в проходной, не оказывающий никакого влияния на сюжет персонаж, настолько необязательный, что опять-таки авторы не знают, что с ним делать, и убирают Зою из жизни и из фильма в начале четвертой серии.

А уж вся четвертая серия представляет собой стопроцентно самостоятельное сочинение, к которому было нетрудно придумать столь же самостоятельное начало, дать героям другие фамилии и перенести действие в современность, что было бы значительно сподручнее для постановщиков. Хороший бы это получился фильм или нет, мы поговорили бы отдельно, можно допустить, что он был бы лучше выпущенного, так как сценарист освободился бы от мешающих ему обрывков романа, и, может быть, тогда свел бы концы с концами. Ведь выбросили же авторы из фильма даже само слово «гиперболоид».

Вместо толстовского гиперболоида у них задействован совершенно на него непохожий аппарат, смахивающий на нынешний лазер. Вероятно, именно в этом авторы видят осовременивание «устаревшего» романа...

Конечно, не хотелось бы заканчивать юбилейную статью на такой грустной ноте, но и умалчивать о киноверсиях «Гиперболоида...» не стоит, потому что они тоже стали частью его славной шестидесятилетней судьбы. Но никакие неудачи кинематографа не бросают тени на само это замечательное произведение, к тому же будем надеяться, что толстовский роман еще найдет современное и адекватное воплощение на экране.

■ МЕРИДИАНЫ ФАНТАСТИКИ

Хроника событий*

ПО СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ

В марте 1983 года в Москве побывали представители польского журнала «Фантастика»: главный редактор Адам Холланек и член редколлегии Яцек Родек. Гости посетили редакции журналов «Знание — сила» и «Техника — молодежи» и редакцию фантастики издательства «Молодая гвардия». Во Всесоюзном агентстве по охране авторских прав (ВААП) с польскими фантастами встречались: сотрудник ВААП С. Н. Михайлова, писатели Д. А. Биленкин, Г. И. Гуревич, В. Д. Михайлов, Е. И. Парнов, члены московского семинара молодых фантастов Э. В. Геворкян, В. В. Покровский, Б. А. Руденко, А. В. Силецкий и другие.

Лауреатом ставшей уже традиционной премии «Аэлита», учрежденной советом по приключенческой и научно-фантастической литературе СП РСФСР и журналом «Уральский следопыт», в 1983 году стал известный фантаст Владислав Петрович Крапивин за книгу «Дети синего фламинго». Примечательно, что В. П. Крапивин одновременно стал и лауреатом любительского приза за лучшее научно-фантастическое произведение года по результатам голосования среди КЛФ, проведенного волгоградским клубом любителей фантастики «Ветер времени».

В апреле 1983 года в Доме творчества кинематографистов «Репино» под Ленинградом прошел первый Всесоюзный семинар по кинофантастике, организованный советом по приключенческому и научно-фантастическому кино Союза кинематографистов СССР. В работе семинара приняли участие заместитель председателя совета по приключенческой и научно-фантастической литературе СП СССР Н. М. Беркова, писатели-фантасты А. и Б. Стругацкие, К. Булычев, критики Е. Брандис, Вл. Гаков и В. Ревич.

В июне 1983 года в Душанбе прошла неделя научной фантастики, организованная секцией научной фантастики Союза писателей Таджикской ССР. Гостями недели были представители совета по приключенческой и научно-фантастической литературе СП СССР Н. М. Беркова, Л. А. Антипина, Д. А. Биленкин, Е. Л. Войскунский, Г. И. Гуревич.

---

* В сборнике научной фантастики НФ 27 (М., 1982) в разделе «Хроника» помещена информация о создании при правлении Добровольного общества любителей книги РСФСР общественного совета по пропаганде научно-фантастической литературы. Однако в связи с образованием общественного совета по клубной работе создание самостоятельного общественного совета по пропаганде научно-фантастической литературы было признано нецелесообразным.

С июля по сентябрь 1983 года на ВДНХ СССР проходила выставка фантастической живописи «Время — Пространство — Человек», организованная ЦК ВЛКСМ и журналом «Техника — молодежи».

В ноябре 1983 года по приглашению редакции польского журнала «Фантастика» в Польшу выезжала делегация деятелей советской фантастики в составе: сотрудник ВААП С. Н. Михайлова, писатели-фантасты Д. А. Биленкин и М. Г. Пухов. В рамках программы поездки состоялись встречи с польскими писателями-фантастами, издателями, критиками и любителями фантастики.

Состоялись уже два Всесоюзных семинара молодых писателей, работающих в жанрах приключений и научной фантастики, которые ежегодно проводятся советом по приключенческой и научно-фантастической литературе СП СССР в Доме творчества писателей им. А. С. Серафимовича («Малеевка») под Москвой. И на первом, и на втором семинаре занятия проводили известные писатели Н. М. Беркова, Д. А. Биленкин, Е. Л. Войскунский, Л. Т. Исарова. За два года «выпускниками» «Малеевки» стали более пятидесяти молодых фантастов, среди них В. Бабенко, Э. Геворкян, В. Покровский, Б. Руденко, А. Силецкий (Москва), С. Логинов и В. Рыбаков (Ленинград), Н. Блохин (Ростов-на-Дону), О. Корабельников (Красноярск), Е. Лукин (Волгоград), В. Пирожников и Е. Филенко (Пермь), Л. Кознинец, Ю. Пригорницкий, Б. Штерн (Киев), Д. Клугер (Симферополь), Е. Филимонов (Харьков), М. Веллер (Таллин), Л. Синицына (Душанбе), А. Фазылов (Ташкент).

В апреле 1984 года в Тбилиси прошла неделя научной фантастики, на которой были подведены итоги любительского литературного конкурса на лучшее антивоенное произведение НФ под девизом «Не дадим взорвать мир!», объявленного Тбилисским КЛФ «Фаэтон» и организованного ЦК ЛКСМ Грузии, Союзом писателей Грузинской ССР, республиканским отделением общества «Знание» и секцией космонавтики Грузинской ССР.

ЮБИЛЕИ 1984 ГОДА

60 лет исполнилось Владлену Ефимовичу Бахнову, прозаику и сценаристу. В фантастике выступает в жанре памфлета, сатирического и юмористического рассказа. Наиболее известна книга «Внимание: Ахи!»

100 лет со дня рождения Александра Романовича Беляева (1884—1942), одного из основоположников советской научной фантастики.

75 лет со дня рождения Ильи Иосифовича Варшавского (1909—1974), одного из наиболее ярких представителей НФ рассказа в советской литературе, автора книг «Молекулярное кафе», «Человек, который видел антимир», «Солнце заходит в Дономаге», «Тревожных симптомов нет».

50 лет исполняется Игорю Всеволодовнчу Можейко, выступающему в фантастике под псевдонимом Кнр Булычев, автору НФ книг «Последняя война», «Чудеса в Гусляре», «Люди как людн», «Девочка с Землн», «Перевал» н др. По его сценариям сняты фильмы «Через тернии к звездам» (Государственная премия СССР), «Тайна Третьей планеты» и др.

ЗА РУБЕЖОМ

Великобритания

Первый номер за 1984 год журнала «Фаундейшн» (еднıнственное в Великобрнтанин специалнзированное академическое издание по критике НФ) посвящен нсследованию английской фантастики. Среди работ иностранных авторов номера — статья советского критика В. Л. Гопмана «Категория временн в творчестве Д. Г. Болларда».

50 лет нсполняется Джону Браннеру, вндному фантасту, автору более 30 романов, нз которых наиболее известны «Город на шахматной доске», «Стоять на Занзибаре», «Воззрели агнцы горé», «Оседлавший волну шока», н многнх сборннков рассказов. Некоторые из рассказов переведены на русскнй язык.

125 лет со дня рождения Артура Конан Дойла (1859—1930), автора вошедших в золотой фонд мнровой НФ литературы романов «Затерянный мир», «Отравленный пояс», «Маракотова бездна», «Когда Земля вскрнкнула».

90 лет со дня рождення Олдоса Хаксли (1894—1963), чьн романы «Прекрасный новый мир», «Обезьяна и сущность», «Остров» оказали значительное влияние на развнтне НФ лнтературы второй половины XX века.

ГДР

В ноябре 1983 года в ГДР состоялось совещание писателей-фантастов социалистнческих стран. По замыслу организаторов совещания, такие встречн должны проводнться ежегодно. От Союза писателей СССР на совещании присутствовала делегацня в составе председателя совета по приключенческой н научно-фантастической литературе СП СССР А. П. Кулешова н заместнтеля председателя совета Н. М. Берковой.

Канада

Июньский номер канадского журнала «Амернкзн-кзнедиен славнк стадпз» за 1984 год посвящен фантастнке СССР и социалнстнческнх стран. В числе авторов номера — советские крнтики н лнтературоведы Е. П. Брандис, Вл. Гаков, Т. А. Чернышева.

США

С 1 по 5 сентября 1983 года в Балтиморе (США) проходила 41-я Всемирная конвенция (съезд) по научной фантастнке, получившая

название «Созвездие». От Союза писателей СССР там присутствовала делегация в составе заместителя председателя иностранной комиссии Правления СП СССР В. С. Коткина и заместителя председателя совета по приключенческой и научно-фантастической литературе СП СССР писателя-фантаста Е. И. Парнова.

80 лет со дня рождения исполняется Эдмонду Гамильтону (1904—1977), одному из основоположников «Космической оперы» (наиболее известны в этом жанре романы «Звездные корабли», «Преследуемые звезды», «Разрушенные солнца», «За пределами Вселенной»). Некоторые произведения написаны в соавторстве с женой, писательницей Ли Брэккет. На русский язык переводились повесть «Сокровища Громовой Луны», рассказы.

100 лет со дня рождения Хьюго Гернсбека (1884—1967), писателя (на русский язык переведен НФ роман «Ральф 124С 41 +»), основателя первого в США специализированного журнала по научной фантастике «Удивительные истории» (1926). В знак признания заслуг Гернсбека в развитии жанра именем Хьюго названа премия, ежегодно присуждаемая Всеамериканским съездом любителей фантастики.

70 лет со дня рождения Генри Каттнера (1914—1958), автора НФ романов «Ярость», «Колодец миров», «Мутант», «За вратами земными», повестей в духе «фэнтези», более десяти сборников рассказов, многие из которых написаны в соавторстве с женой, писательницей Кэтрин Мур. На русском языке выходил сборник рассказов «Робот-зазнайка».

175 лет со дня рождения Эдгара Аллана По (1809—1849), одного из основоположников жанра научной фантастики.

80 лет исполняется Клиффорду Саймаку, автору более сорока НФ книг (романы, сборники рассказов), неоднократному лауреату премий Хьюго и Небьюла. Широко популярен в СССР.

60 лет исполняется Харлану Эллисону, одному из самых ярких представителей поколения «бунтарей-реформаторов» (движение «новая волна») в англоязычной НФ литературе 60-х годов. Автор более десяти сборников рассказов, многих телевизионных сценариев НФ тематики, составитель антологий «Опасные видения», «Снова опасные видения». Неоднократный лауреат премий Хьюго и Небьюла.

Япония

60 лет исполняется Кобо Абэ, автору НФ романа «Четвертый ледниковый период» и нескольких НФ рассказов, переведенных на русский язык. Широкую известность приобрели переведенные на русский язык и изданные в нашей стране философско-аллегорические романы «Женщина в песках», «Чужое лицо», «Сожженная карта», «Человек-ящик».

Материал подготовлен В. Бабенко,
В. Гопманом

СОДЕРЖАНИЕ

СБОРНИК НАУЧНОЙ ФАНТАСТИКИ

ВЫПУСК 29

Составитель
Роман Григорьевич Подольный

Главный отраслевой редактор В. Демьянов
Редактор В. Климачева
Мл. редактор Н. Терехина
Худож. редактор Т. Егорова
Художник Г. Басыров
Техн. редактор Н. Лбова
Корректор А. Новиков

ИБ № 6448

Сдано в набор 11.03.84. Подписано к печати 03.08.84. А 12049. Формат бумаги $84 \times 108^1/_{32}$. Бумага книжно-журнальная. Гарнитура журнально-рубленая. Печать высокая. Усл. печ. л. 11,34. Усл. кр.-отт. 11,76. Уч.-изд. л. 14,60. Тираж 100 000 экз. Заказ 4—727. Цена 1 р. 20 к. Издательство «Знание». 101835, ГСП, Москва, Центр, проезд Серова, д. 4. Индекс заказа 847725.

Головное предприятие республиканского производственного объединения «Полиграфкнига», 252057, Киев-57, Довженко, 3.







1 р. 20 к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЗНАНИЕ»




НФ
29